

МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА

2021 / ТОМ 12 / НОМЕР 2



СТРАНЫ ВОСТОКА В ПОСТБИПОЛЯРНУЮ ЭПОХУ

12–30

Я.В. ЛЕКСЮТИНА

«Китайская мечта»
или «американский
кошмар»: к чему
пришли американо-
китайские
отношения за три
десятилетия

31–48

А.Н. ЛАНЬКОВ

Северокорейское
чудо: 30 лет
выживания
в условиях
кризиса и изоляции

74–92

А.В. КУПРИЯНОВ,
Г.Г. МАКАРЕВИЧ

Индия
в постбиполярную
эпоху:
тридцатилетие
поиска места в мире

130–152

П.В. ШЛЫКОВ

Внешняя политика
Турции в
постбиполярной
системе координат



2021 / VOLUME 12 / No. 2

CHIEF EDITOR**Sergey M. Markedonov**

MGIMO University (Russia, Moscow)

DEPUTY EDITOR**Akhmet A. Yarlykapov**

MGIMO University (Russia, Moscow)

EDITORIAL BOARD**Andrew Kuchins** – American University of Central Asia (Kyrgyzstan)**Benedikt Harzl** – University of Graz (Austria)**Erkin Baydarov** – R.B. Suleimenov Institute of Oriental Studies (Kazakhstan)**Irina M. Busygina** – Higher School of Economics (Russia, St. Petersburg)**Kimitaka Matsuzato** – University of Tokyo (Japan)**Marlene Laruelle** – George Washington University (USA)**Mitat Celikpala** – Kadir Has University (Turkey)**Richard Sakwa** – University of Kent (UK)**Sanjay Deshpande** – University of Mumbai (India)**Sayed Kazem Sajjadjpour** – Institute for Political and International Studies (Iran)**Viacheslav Morozov** – University of Tartu (Estonia)**Zhao Huasheng** – Fudan University (China)**Alexander L. Chechevishnikov** – MGIMO University (Russia, Moscow)**Andrey A. Sushentsov** – MGIMO University (Russia, Moscow)**Dmitriy I. Pobedash** – Ural Federal University (Russia, Ekaterinburg)**Ilya N. Tarasov** – Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia, Kaliningrad)**Larisa V. Deriglazova** – Tomsk State University (Russia, Tomsk)**Lyubov A. Fadeeva** – Perm State University (Russia, Perm)**Michael I. Rykhtik** – Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Russia, Nizhni Novgorod)**Natalya V. Eremina** – Saint-Petersburg State University (Russia, St. Petersburg)**Oleg Yu. Mikhalev** – Voronezh State University (Russia, Voronezh)**Pavel B. Parshin** – Moscow State Linguistic University (Russia, Moscow)**Valeriy N. Konyshchev** – Saint-Petersburg State University (Russia, St. Petersburg)**Viktor Yu. Apryshchenko** – Southern Federal University (Russia, Rostov-on-Don)**Viktor L. Larin** – Institute of History, Archaeology and Ethnology, the Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences (Russia, Vladivostok)**Yakov Ya. Grishin** – Kazan Federal University (Russia, Kazan)**SCOPE**

Journal of International Analytics focuses on current problems of international relations, theory and methodology of international politics based on a collection of regional materials. From 2010 to 2016, the journal was called the Institute for International Studies Yearbook.

Published since 2010 quarterly.

INDEXING

The Journal is included in the unified electronic catalog of the Russian State Library, included in the Russian Science Citation Index (RSCI), indexed in Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), the Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Crossref. The Editorial Board is continuing to advance the Journal in international databases.

Mass media registration certificate

PI No. FS77-65736 of May 20, 2016

DOI Prefix 10.46272

ISSN (print) 2587-8476

ISSN (online) 2541-9633

PUBLISHER

Institute for International Studies, MGIMO University, Russia

ASSOCIATE EDITORS

Dmitry N. Tkach

Grant A. Beglarian

Natalya A. Samoylovskaya

Nikita Ya. Neklyudov

Vladimir V. Pavlov

COMPUTER LAYOUT

Alexey V. Talalaevsky

DESIGN

Veronika E. Levitskaya

2021 / ТОМ 12 / № 2

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Сергей Мирославович Маркедонов
МГИМО (Россия, Москва)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Ахмет Аминович Ярлыкапов
МГИМО (Россия, Москва)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Бенедикт Гарцль – Университет Граца (Австрия)
Вячеслав Евгеньевич Морозов – Тартуский университет (Эстония)

Еркин Уланович Байдаров – Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова (Казахстан)

Ирина Марковна Бусыгина – НИУ ВШЭ (Россия, Санкт-Петербург)

Кимитака Мацузато – Токийский университет (Япония)

Марлен Ларюэль – Университет Джорджа Вашингтона (США)

Митат Челикпала – Университет Кадир Хас (Турция)

Ричард Саква – Кентский университет (Великобритания)

Сайед Казем Саджадпур – Институт политических и международных исследований (Иран)

Санджай Дешпанде – Университет Мумбаи (Индия)

Чжао Хуашэн – Фуданьский университет (КНР)

Эндрю Качинс – Американский университет в Центральной Азии (Киргизия)

Александр Леонидович Чечевишников – МГИМО (Россия, Москва)

Андрей Андреевич Сушенцов – МГИМО (Россия, Москва)

Валерий Николаевич Конышев – Санкт-Петербургский государственный университет (Россия, Санкт-Петербург)

Виктор Лаврентьевич Ларин – Институт истории археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (Россия, Владивосток)

Виктор Юрьевич Апрыщенко – Южный федеральный университет (Россия, Ростов-на-Дону)

Дмитрий Иванович Победаш – Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург)

Илья Николаевич Тарасов – Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Россия, Калининград)

Лариса Валерьевна Дериглазова – Томский государственный национальный исследовательский университет (Россия, Томск)

Любовь Александровна Фадеева – Пермский государственный национальный исследовательский университет (Россия, Пермь)

Михаил Иванович Рыхтик – Нижегородский государственный национальный исследовательский университет имени Н.И. Лобачевского (Россия, Нижний Новгород)

Наталья Валерьевна Еремина – Санкт-Петербургский государственный университет (Россия, Санкт-Петербург)

Олег Юрьевич Михалёв – Воронежский государственный университет (Россия, Воронеж)

Павел Борисович Паршин – Московский государственный лингвистический университет (Россия, Москва)

Яков Яковлевич Гришин – Казанский федеральный университет (Россия, Казань)

ЦЕЛИ

В журнале поднимаются актуальные вопросы современных международных отношений, а также теории и методологии изучения международно-политических процессов с опорой на страновой материал.

В 2010–2016 годах издание носило название «Ежегодник Института международных исследований».

Издается с 2010 г.
Выходит 4 раза в год.

ИНДЕКСИРОВАНИЕ

Журнал входит в единый электронный каталог Российской государственной библиотеки, включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), индексируется в Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), the Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Crossref.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77–65736 от 20 мая 2016 г.

DOI Prefix 10.46272
ISSN (print) 2587-8476
ISSN (online) 2541-9633

ИЗДАТЕЛЬ

Институт международных исследований
МГИМО МИД России.

РЕДАКТОРЫ ВЫПУСКА

Владимир Владимирович Павлов
Грант Артурович Бегларян
Дмитрий Николаевич Ткач
Наталья Александровна Самойловская
Никита Яковлевич Неклюдов

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Алексей Владимирович Талалаевский

ДИЗАЙН

Вероника Евгеньевна Левицкая



СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Новая заря Востока?

С.М. МАРКЕДОНОВ

7

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАТЬИ

«Китайская мечта» или
«американский кошмар»:
к чему пришли американо-
китайские отношения за три
десятилетия

Я.В. ЛЕКСЮТИНА

12

Северокорейское чудо: 30 лет
выживания в условиях кризиса
и изоляции

А.Н. ЛАНЬКОВ

31

Стратегическая автономия
Республики Корея:
интеллектуальная химера или
политическая реальность?

К.В. АСМОЛОВ, А.В. СОЛОВЬЕВ

49

Индия в постбиполярную
эпоху: тридцатилетие поиска
места в мире

А.В. КУПРИЯНОВ, Г.Г. МАКАРЕВИЧ

74

Есть ли у АСЕАН нормативная
власть? Глобализация азиатских
ценностей и ее пределы

К.А. ЕФРЕМОВА

93

Российско-японские
отношения на рубеже веков:
закономерности, маршруты,
лидеры

О.Г. ПАРАМОНОВ

107

Внешняя политика Турции
в постбиполярной системе
координат

П.В. ШЛЫКОВ

130

Особенности внешней
политики персоналистских
режимов (на примере
Туркменистана)

С. ГОРАК

153

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

Азербайджан: укрепление
«малой силы» или
переходный период в
становлении «средней»?

Р.Ф. ИБРАГИМОВ

170

Эволюция и внутренняя
логика международных
отношений Киргизии периода
независимости

И.В. ПОДОБЕД

182

CONTENT

EDITORIAL NOTE

A New Dawn of the East?

S. MARKEDONOV

7

RESEARCH ARTICLES

The “Chinese Dream” or the “American Nightmare”: Where Did the U.S.-China Relations Come in Three Decades

YA. LEKSYUTINA

12

North Korean Miracle: 30 years of Surviving Crisis and Isolation

A. LANKOV

31

Strategic Autonomy for ROK: Intellectual Pipe Dream or Political Reality?

K. ASMOLOV, A. SOLOVIEV

49

India in the Post-Bipolar World: 30 Years of Searching the Place

A. KUPRIYANOV, G. MAKAREVICH

74

Normative Power ASEAN? Globalisation of Asian Values and Its Limits

K. EFREMOVA

93

Russian-Japanese Relations at the Turn of the Century: Patterns, Routes, Leaders

O. PARAMONOV

107

Turkey’s Foreign Policy in the Post-Bipolar System of Coordinates

P. SHLYKOV

130

On Peculiarities of the Foreign Policy of Personalist Regimes (Example of Turkmenistan)

S. HORÁK

152

RESEARCH ESSAYS

Azerbaijan: From Small to Middle Regional Power

R. IBRAHIMOV

170

Evolution and Internal Logic of Kyrgyzstan’s International Relations during the Period of Independence

I. PODOBED

182

Новая заря Востока?

В декабре 1988 года в беседе с индийским премьер-министром Радживом Ганди Дэн Сяопин констатировал: «Ни один подлинно азиатско-тихоокеанский или азиатский век не может наступить до тех пор, пока Китай, Индия и другие соседние страны не будут развитыми. Точно так же не могло бы быть латиноамериканского века без развитой Бразилии». Более того, архитектор китайских реформ предложил тезис о совместной ответственности Пекина и Дели за их развитие перед человечеством. «Почему так? Потому что две наши страны имеют население 1,8 млрд человек, что составляет более трети от всего населения мира», – резюмировал он¹.

За последние три с небольшим десятилетия в международной политике произошли тектонические сдвиги. Биполярная система перестала существовать, а Индия и Китай, словно реализуя заветы Дэн Сяопина, выдвинулись на первые роли в мире. И если в начале XXI века Пекин и Дели демонстрировали прежде всего экономические амбиции, то сегодня без учета позиций этих государств проблематично выстраивать любые конфигурации в сфере региональной и международной безопасности. В то же самое время США и их союзники, убедившись по окончании холодной войны в том, что их ценности, политическая организация и экономическая модель способны стать универсальной международной повесткой дня, с каждым годом демонстрируют все меньше готовности нести бремя ответственности за поддержание стабильности и урегулирование различных кризисных ситуаций. Самым ярким доказательством этого стал уход США из Афганистана, а также хаотизация Ближнего Востока – региона, который Вашингтон долгие годы рассматривал как своеобразный полигон по проверке теории и практики демократизации².

Как следствие, рост популярности дискурса о «пробуждении Азии» и наступлении в мировой политике «азиатского века» не только в ведущих мировых медиа, но и в академической литературе. Известный сингапурский исследователь и дипломат Кишор Махбубани обосновывал тезис о «сдвиге мирового центра

1 “A New International Order Should Be Established With The Five Principles Of Peaceful Coexistence as Norms,” December 21, 1988, accessed July 21, 2021, <http://en.people.cn/dengxp/vol3/text/c1930.html>.

2 Dalacoura, Katerina. “US Democracy Promotion in the Arab Middle East since 11 September 2001: A Critique.” *International Affairs* 81, no. 5 (October 2005): 963–79. doi:10.1111/j.1468-2346.2005.00497.x.

силы» с Запада на Восток апелляциями к высокому темпу экономического роста Индии и КНР. По его оценкам, такой взрывной рост не имел прецедентов в истории¹. Параг Ханна определил двадцать первый век как «азиатский», а основной мировой тенденцией будущего считает «азиатизацию» (в противоположность «европеизации» девятнадцатого и «американизации» двадцатого столетия). Но, по его мнению, возвышение Востока сегодня происходит не только благодаря технологическим достижениям, но и в том числе возвращению Азии к своим культурным моделям, «которые процветали задолго до европейского колониализма и американского господства»². С намного большей нюансировкой о «новом веке» в мировой политике высказался Амитав Ачария. В своей фундаментальной книге «Конец американского мирового порядка» он пришел к выводу о «мультиплексном мире», который придет на смену глобальной гегемонии США. В новом раскладе азиатский фактор будет весьма значимым. Однако, по мнению Ачарии, такие проекты общемирового значения, как «Один пояс – один путь», вряд ли смогут сделать КНР глобальным лидером на том уровне, на каком были США после холодной войны или Великобритания, когда она считалась «мастерской мира»³.

Но означает ли упадок американоцентричного мира приход «эры бесположности», как определял ее Ричард Хаас⁴, неизбежность «азиатизации»? Думается, ответ на этот вопрос совсем не так прост, как кажется на первый взгляд. Амитав Ачария справедливо замечал, что отсутствие глобальной гегемонии одного из игроков не отменяет ни неравенства ресурсов, ни порождаемой этим иерархичности, в то время как увеличение игроков на мировой арене не делает ситуацию стабильной и предсказуемой⁵. По мнению премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна, написавшего для *Foreign Affairs*, «страны Юго-Восточной Азии [...] обеспокоены тем, что, находясь в точке пересечения интересов крупных держав, могут оказаться меж двух огней и будут вынуждены делать трудный выбор. Статус-кво в Азии должен измениться. Но будет ли новая конфигурация способствовать дальнейшему процветанию или принесет опасную нестабильность?»⁶.

И здесь самое время критически посмотреть на построения Парага Ханны по поводу возвышения Азии. Ведь внутри этого конструкта, под которым понимают либо в узком смысле страны Азиатско-Тихоокеанского региона, либо широкие географические пространства, начиная от Дальнего и заканчивая Ближним Востоком, имеются значительные противоречия. И многие из них связаны не только с американским гегемонизмом или европейским влиянием. Не говоря уже о значительных этно-конфессиональных и ценностных различиях между азиатскими странами.

Доминированием США по-своему недовольны Китай, Индия, Иран, Турция, Пакистан. Но представить себе их коалицию, объединенную общей стратегией и

1 Mahbubani, Kishore. *The New Asian Hemisphere: the Irresistible Shift of Global Power to the East*. N.Y.: Public Affairs, 2008.

2 Khanna, Parag. *The Future Is Asian: Commerce, Conflict, and Culture in the 21st Century*. N.Y.: Simon & Schuster, 2019.

3 Acharya, Amitav. *The End of the American World Order*. Cambridge: Polity, 2018. P. XI–XII, 16.

4 Haass, Richard N. "The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance." *Foreign Affairs* 87, no. 3 (2008): 44–56.

5 Acharya 2018, 16.

6 Lee Hsien Loong, "The Endangered Asian Century. America, China, and the Perils of Confrontation," *Foreign Affairs*, July–August 2020, <https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2020-06-04/lee-hsien-loong-endangered-asian-century>.

системой ценностей, весьма проблематично. Ведь что бы кто ни говорил о закате либерального миропорядка, а Запад по-прежнему сохраняет значимые военные и технологические позиции, в торговле с ним заинтересованы и те, кто готов не принимать его ценности и не соглашаться с его ролью мирового жандарма. Как бы ни мешали США турецкому геополитическому ревизионизму на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, а Анкара не собирается выходить из НАТО. Как бы ни были близки позиции Дели, Москвы и Пекина по многим стратегическим проблемам, российско-китайско-индийский альянс пока видится скорее как привлекательная перспектива или альтернатива натовскому доминированию, но не как реально работающая система. И не в последнюю очередь потому, что кооперация с Западом даже поверх имеющейся конфронтации остается важным приоритетом для Индии, КНР и России.

О растущих противоречиях между США и КНР в регионе АТР и за его пределами сегодня говорят многие политики, дипломаты, исследователи¹. Однако внутри самой Азии есть игроки, заинтересованные в сохранении особых отношений с Вашингтоном, начиная от Японии и заканчивая Республикой Корея. И здесь «реальная политика» означает никак не меньше (если не больше), чем культурно-цивилизационную солидарность.

Впрочем, принимая во внимание этническую и конфессиональную пестроту Востока, наряду с запросом на интеграционные проекты мы наблюдаем и резкий всплеск националистических настроений, отягощенных спорами об исторической (не)справедливости. По справедливому замечанию российского востоковеда Дмитрия Стрельцова, «“призраки прошлого” проявляются и в давнем споре, являлась ли Корея на различных этапах своего исторического пути самостоятельным государством или была лишь периферией Великого Китая (этот спор, как известно, имеет и конкретное внешнеполитическое измерение). Историческая память затрагивает и сферу исторического наследия Второй мировой войны, выплескиваясь наружу в виде исключительно болезненной реакции восточноазиатских стран на посещение японскими политическими лидерами храма Ясукуни², издания в Японии “неправильных” исторических учебников и т.д.»³.

Следовательно, признание заката (или провала) *Pax Americana* не тождественно наступлению некоего «азиатского века» или неизбежности «азиатизации». Однако повышение международной политической конкуренции посредством роста амбиций различных игроков налицо. Как и их стремление не быть статистами, а самим принимать участие в выработке и реализации решений по ключевым проблемам мировой повестки. И эти устремления – отнюдь не только ноу-хау Китая или Индии. В той или иной степени о своем особом видении ситуации на международной арене последовательно заявляют Иран, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия.

1 Труш, С.М. КНР–США: некоторые особенности и аспекты нарастающего конфликта // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2020. – № 50 (12). – С. 45–61; Zhao, Minghao. “Is a New Cold War Inevitable? Chinese Perspectives on US–China Strategic Competition.” *The Chinese Journal of International Politics* 12, no. 3 (September 1, 2019): 371–94.

2 Синтоистский храм, построенный в 1869 году. Среди тех, кто почитается в этом святилище, есть несколько японских военачальников, признанных международным трибуналом военными преступниками. Как следствие, повышенный интерес к любым церемониям, проводимым в этом храме.

3 Стрельцов, Д.В. Национализм и «новая bipolarность» в Восточной Азии // Портал МГИМО. 12 ноября 2012. [Электронный ресурс]. URL: <https://mgimo.ru/about/news/experts/229006/> (дата обращения 21.07.2021).

Второй номер журнала «Международная аналитика» посвящен рассмотрению основных трендов в странах Востока в постбиполярный период. В статье Яны Лексютинной представлена эволюция американо-китайских отношений после завершения холодной войны. По мнению автора, нынешняя фаза в отношениях Вашингтона и Пекина уникальна тем, что Китай начинает восприниматься в истеблишменте США как главный конкурент и едва ли не как экзистенциальная угроза их интересам.

Два текста нового номера посвящены ситуации на разделенном Корейском полуострове. Статья Андрея Ланькова обращена к феномену КНДР. На закате Советского Союза и в первые постсоветские годы не было недостатка в прогнозах относительно «конца истории» для Пхеньяна. Однако повторения германского сценария на азиатской почве не произошло. И КНДР оказалась интересной не только с точки зрения особенностей ее социально-экономической и внутривнутриполитической динамики, но и как внешнеполитический феномен. В статье Константина Асмолова и Александра Соловьева рассматривается внешнеполитическое позиционирование Республики Корея (Южной Кореи). Авторы исследуют конструкт «стратегической автономии», являющийся важным элементом политической идентичности Сеула. Они пытаются поместить свой кейс в общий контекст дискуссии о «средних державах».

Сложные траектории российско-японского диалога вокруг урегулирования территориальной проблемы анализирует Олег Парамонов. Автор дает сравнительный анализ ожиданий Токио от Москвы на протяжении последних тридцати лет и показывает, что просчеты в формировании запросных позиций неизбежно приводили к неудачам в попытках достижения взаимовыгодных компромиссов.

Ксения Ефремова рассматривает опыт использования «нормативной власти» (понятия, традиционно применяемого для анализа процессов европейской интеграции) Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Автор утверждает, что это интеграционное объединение также пытается транслировать свои нормы и ценности по всему миру.

Эволюции индийской внешней политики в постбиполярную эпоху посвящена статья Алексея Куприянова и Глеба Макаревича. По мнению авторов, завершение холодной войны подтолкнуло индийское руководство к «смене вех» на международной арене. В Нью-Дели стали ориентироваться на выживание в однополярном мире и интеграцию в полицентричный мир в случае неустойчивости модели американского гегемонизма. Особое внимание авторы уделили формированию крепкого экономического базиса, позволившего Индии уверенно отстаивать и продвигать свои интересы за пределами страны.

В ноябре 2020 года в Закавказье был резко изменен региональный статус-кво. Азербайджан при военной помощи и дипломатической поддержке Турции вернул под свой контроль значительную часть территории, утраченной в ходе этнополитического конфликта с Арменией в начале 1990-х годов. Во втором номере «Международной аналитики» эволюции внешнеполитического курса Анкары и Баку за последние тридцать лет посвящены статьи Павла Шлыкова и Ровшана Ибрагимова. Оба автора говорят о связи внутренних трансформаций в Турции и в Азербайджане с изменениями внешнеполитических приоритетов. Ибрагимов особое внимание уделяет карабахскому фактору в азербайджанской

политике, тогда как Шлыков связывает эволюцию турецкого курса с определенными изменениями ценностных подходов в руководстве страны.

Статьи Славомира Горака и Ильи Подобеда посвящены проблемам Центральной Азии. В определенной мере можно говорить о том, что они продолжают основную тему первого номера, посвященного последствиям распада СССР. Горак рассматривает внешнюю политику Туркменистана сквозь призму особенностей персоналистского режима. Сравнение правлений Сапармурата Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова, по мнению автора, говорит о преемственности политической культуры и системы в этой стране. Подобед фокусируется на внешней политике Киргизии. Он рассматривает международный курс Бишкека как производную от социально-экономической динамики.

В новом номере предпринята попытка представить панораму процессов в Азии после распада СССР и завершения холодной войны. Часть текстов охватывает ситуацию в регионе АТР, другие статьи обращены к эволюции индийской внешней политики, международным приоритетам Турции, а также ряда новых независимых государств постсоветского Востока. Представленные материалы, конечно же, не исчерпывают всего многообразия проблем. Новая роль Азии в современных мировых процессах была и будет одной из ведущих тем журнала.

С.М. Маркедонов, главный редактор

«Китайская мечта» или «американский кошмар»: к чему пришли американо-китайские отношения за три десятилетия

Яна Валерьевна Лексютина, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Контактный адрес: lexyana@ya.ru

АННОТАЦИЯ

Для американо-китайских отношений всегда была характерна асимметрия, при которой вектор их развития – курс на поиск сфер сотрудничества или акцентирование противоречий / соперничества – задавался проводимой Вашингтоном политикой в отношении Китая, а последний выступал реагирующей стороной. Наблюдаемое ныне усиление конфронтации между США и Китаем обуславливает необходимость осмысления того, как и почему «китайская мечта» о великом возрождении нации стала «американским кошмаром», заставив Вашингтон сделать выбор в пользу политики «сдерживания» Китая. С целью выявления логики формирования американской политики в отношении Китая автор анализирует динамику развития двусторонних связей с момента окончания холодной войны.

Для объяснения эволюции этих отношений в статье применяется авторская концепция «стратегической основы», под которой подразумевается сотрудничество двух стран в области противодействия внешней экзистенциальной угрозе для США. Периоды, когда такая внешняя экзистенциальная угроза для США существовала и интересы двух стран в минимизации ее рисков совпадали, характеризовались стратегической стабильностью американо-китайских отношений, отсутствием кризисов двустороннего взаимодействия, динамичным сотрудничеством двух стран по широкому спектру вопросов двусторонней, региональной и глобальной повестки. И напротив, в условиях отсутствия такой угрозы отношения были нестабильными, происходило обострение противоречий и соперничества. Уникальность современного этапа состоит в том, что ввиду становления Китая в качестве глобальной державы и неоправдавшихся ожиданий Вашингтона в отношении Пекина уже сам Китай начинает восприниматься Вашингтоном в качестве экзистенциальной угрозы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

США, Китай, американо-китайские отношения, сдерживание, стратегическое соперничество

Американо-китайское стратегическое соперничество, развивающееся с 2018 г., разрушило сохранявшуюся на протяжении предшествующих трех десятилетий интригу относительно того, как будут развиваться отношения между США и КНР (доминирующей в мире державой и быстро усиливающимся ее потенциальным конкурентом). Еще 5–10 лет назад этот вопрос вызывал оживленные дискуссии в экспертном сообществе. При всем многообразии оценок, суждений, прогнозов и применяемых теоретических объяснительных моделей их все можно было свести к двум противоположным точкам зрения.

На одном конце спектра находилась группа ученых, настаивавших на возможности гармоничного сосуществования и даже тесного сотрудничества двух государств на фоне множатых нетрадиционных угроз безопасности. Оценки некоторых экспертов из этой плеяды базировались на представлениях о наличии у Китая скромного потенциала для того, чтобы в обозримом будущем бросить вызов лидерским позициям США в мире¹, а некоторые ученые настаивали на опасности преждевременного противопоставления двух стран друг другу². Другая часть ученых, исходивших из перспектив существенного усиления Китая, в русле представлений политического либерализма акцентировали внимание на меняющемся характере международных отношений глобализации, росте взаимозависимости и отрицали неизбежность столкновения между доминирующей в мире державой и ее конкурентом³. Вовлечение Китая в международную систему и усиление взаимозависимости Китая и мира в конечном счете, утверждали они, сделает Китай ответственным членом мирового сообщества, заинтересованным в сохранении существующей международной системы. Приводились и другие аргументы в поддержку сценария о неконфронтационном характере американо-китайских отношений в ближайшие десятилетия⁴. Примечательно, что оптимистичных оценок развития американо-китайских отношений придерживалось подавляющее большинство китайских ученых, что объясняет шок, постигший Китай и китайское экспертное сообщество после инициирования Д. Трампом торговой войны в 2018 г.

На другом конце спектра была группа ученых, допускавших или вовсе отставивших неизбежность нарастания стратегического соперничества и конфликтности в американо-китайских отношениях, стремления Китая к гегемонии⁵. Их аргументация была достаточно широка: от системно-структурных противоречий между США и Китаем как фактора конфликтности отношений⁶ до различий политических систем, идеологий и ценностей⁷, имперских традиций Китая⁸, усилившегося китайского национализма⁹, неверной оценки намерений друг друга¹⁰ и прочих факторов.

При этом некоторые ученые, представленные этими двумя направлениями, полностью не исключали возможность развития американо-китайских

1 Brzezinski 1997; Gilboy 2004; Scissors 2012; Давыдов 2015, 344–345.

2 Glaser 2011; Kissinger 2011; Nye 2010.

3 Garrett 2006; Ikenberry 2008; Hu 2011; Jia, Rosecrans 2011; Yuan 2010; Chen, Chu 2010; Niu 2009; Tao 2010; Fu 2003.

4 Тимофеев 2012.

5 Bernstein, Munro 1997; Roy 1994; Huntington 1996; Timberlake, Triplett 1999; Gertz 2000; Mosher 2000; Gao 2010.

6 Mearsheimer 2001.

7 Friedberg 2011; Menges 2005.

8 Wortzel 1994.

9 Ross 2011; Christensen 2011; Shirk 2007; Kissinger 2002; Goodman, Segal 1995.

10 Tucker 1991.

отношений и по противостоящему сценарию, допуская вариативность развития событий в зависимости от изменения тех или иных переменных в «уравнении» американо-китайских отношений. В качестве таких переменных одни рассматривали политическую систему Китая, которая, по их убеждению, могла эволюционировать в более демократическую, другие исходили из представлений об управляемости двусторонних отношений при наличии воли политических лидеров двух стран, третьи допускали вариативность перспектив усиления Китая.

Автор данной статьи предлагает рассматривать содержание и направленность развития отношений между США и КНР после окончания холодной войны как складывавшиеся под влиянием комплекса факторов, часть из которых оставалась константами, а другая – переменными величинами. К константам можно отнести различие политических систем и экономических моделей, систем ценностей, идеологий двух стран, а также неизменно присущее им стратегическое недоверие. К переменным величинам следует отнести: соотношение комплексной национальной мощи двух государств и их влияния в мире, драматически изменившееся за прошедшие десятилетия; характер внешней политики КНР, достаточно сильно менявшийся от агрессивного периода Мао Цзэдуна до пассивного с приходом Дэн Сяопина, напористого – после 2007–2008 гг. – и, наконец, согласно американскому восприятию, агрессивного – на современном этапе; мирополитический контекст, в котором развивалось двустороннее взаимодействие.

Популярная концепция «ловушки Фукидида»¹, предложенная Г. Эллисоном, равно как и другие объяснительные модели в духе политического реализма, апеллирующие к неизбежности конфликта между доминирующей в мире державой и ее конкурентом, способны объяснить развивающуюся с 2018 г. конфронтацию между США и Китаем, но не обосновать причину, почему в 2001–2009 гг. американо-китайские отношения были более стабильны, чем в 1989–2001 гг., притом что уже в 2001–2009 гг. комплексная национальная мощь Китая была очень внушительной и Китай воспринимался как восходящая держава. В целях объяснения этого феномена и в целом логики развития американо-китайских отношений после окончания холодной войны автор статьи выдвигает концепцию «стратегической основы». Следуя в русле парадигмы политического реализма, он предлагает взглянуть на эволюцию американо-китайских отношений сквозь призму представлений о том, что содержание американо-китайских отношений определяется наличием или отсутствием в них стратегической основы, под которой подразумевается сотрудничество двух стран в области противодействия внешней экзистенциальной угрозе для США. Периоды, когда такая угроза для США существовала, и интересы Китая совпадали с заинтересованностью США в ее предотвращении, характеризовались стратегической стабильностью американо-китайских отношений, отсутствием серьезных кризисов двустороннего взаимодействия, сотрудничеством двух стран по широкому спектру вопросов двусторонней, региональной и глобальной повестки. Для Пекина такая угроза могла иметь вторичный характер или вовсе быть малозначимой, но важно, что

1 Allison 2017.

Пекин демонстрировал готовность объединить усилия с Вашингтоном в этой области. И главное – это то, что в такие периоды Вашингтон был склонен занимать примирительную линию в отношении Китая, искать возможности сотрудничества и не акцентировать разницу политико-экономических моделей двух стран. Важно учитывать то, что проводимая Вашингтоном политика в отношении Китая фактически задавала вектор развития межгосударственных отношений – курс на поиск сфер сотрудничества или акцентирование противоречий / соперничества. Китай на протяжении всей современной истории американо-китайских отношений выступал реагирующей стороной.

В истории отношений между США и КНР было всего два периода, когда такая стратегическая основа присутствовала: период 1970-х – 1980-х гг., когда стратегической основой, обусловившей нормализацию и интенсификацию американо-китайских отношений, выступало противодействие Советскому Союзу, и период с 2001 по 2009 г., когда угроза со стороны международного терроризма временно оттенила вызов усиливающегося Китая и изменила во внешнеполитических расчетах Вашингтона место Китая, сделав из «стратегического конкурента» (как было обозначено в предвыборных выступлениях Дж.У. Буша) «стратегического партнера». В первом случае экзистенциальной угрозой для США был Советский Союз, а во втором – международный терроризм.

В первой части статьи автор в соответствии с предложенным определением стратегической основы в двусторонних отношениях выделяет и характеризует три периода развития американо-китайских отношений: с 1989 по 2001 г. – сложный период, когда с окончанием холодной войны из американо-китайских отношений выпала стратегическая основа и стороны пытались наладить взаимодействие после тяньаньмэньского шока; с 2001 по 2009 г. – период «медового месяца», когда борьба с международным терроризмом становится стратегической основой двусторонних отношений; с 2010 по 2017 г. – период стратегической нестабильности отношений и нарастания соперничества между двумя странами. Вторая часть статьи посвящена выявлению причин и обстоятельств, приведших к тому, что с 2018 г. Китай стал рассматриваться в Вашингтоне как экзистенциальная угроза, для противодействия которой необходимо применять политику «сдерживания».

От тяньаньмэньского шока до американской политики «возвращения в Азию»

Первый период, который длился после тяньаньмэньского кризиса 1989 г. вплоть до начала борьбы США с международным терроризмом в 2001 г., характеризовался стратегической нестабильностью двусторонних отношений. Тогда американо-китайские отношения прошли через серию кризисных ситуаций: тайваньский кризис 1995–1996 гг., кризис, последовавший после «непреднамеренных» авиаударов НАТО по посольству КНР в Белграде в 1999 г., и кризис, вызванный столкновением американского и китайского самолетов над Южно-Китайским морем в апреле 2001 г. Претензии США к Китаю включали вмешательство Пекина в американские выборы в 1996 г., шпионаж Китая на территории США (в 1999 г. достоянием общественности стал «доклад Комитета Кокса» о

шпионской деятельности Китая в США начиная с 1970-х гг.), ядерные испытания на территории Китая (октябрь 1993 г., июнь и октябрь 1994). США критиковали Пекин за нарушение режима нераспространения, обвиняя китайские компании в продаже Пакистану и Ирану технологий и продукции двойного назначения, способствующих развитию ракетно-ядерных программ этих стран. Это был сложный период преодоления тяньаньмэньского шока обеими сторонами и адаптации американо-китайских отношений к новой мирополитической реальности, обусловленной окончанием холодной войны.

Вслед за событиями на площади Тяньаньмэнь в отношении Китая Вашингтон ввел ряд санкций и ограничений, часть из которых была отменена в течение нескольких лет, а другая часть продолжает действовать до сих пор (мораторий на продажу американских вооружений Китаю и экспортный контроль над продукцией двойного назначения). Восстановить политический диалог на уровне саммитов лидеров двух государств удалось только в октябре 1997 г., когда Цзян Цзэминь нанес визит в США.

После событий на площади Тяньаньмэнь в дискурс американо-китайских отношений прочно входит правозащитная проблематика, ранее в отношениях между США и КНР (в период 1970-х – 1980-х) представленная слабо. Росту внимания Вашингтона к нарушениям прав человека в Китае способствовало и окончание холодной войны. Исчезновение такой стратегической основы американо-китайских отношений, как противодействие СССР, вывело на первый план противоречия, проистекающие из разницы политических систем США и Китая, их идеологий и ценностей. Совместное с Китаем противодействие СССР мотивировало американских президентов – от Р. Никсона до Дж.Г.У. Буша – идти на уступки Китаю¹.

С исчезновением экзистенциальной угрозы (СССР) исчез и присущий 1980-м гг. консенсус во властных структурах Вашингтона по вопросу предпочтительной политики в отношении Китая². Президентские администрации (Дж.Г.У. Буша и Б. Клинтона) склонялись к необходимости нормализации двусторонних отношений и преодоления тяньаньмэньского шока. Дж.Г.У. Буш и Б. Клинтон в политике «вовлечения» Китая исходили из того, что в момент, когда Китай находится на развилке, в ситуации выбора пути развития, важно поддержать становление Китая в качестве стабильного, открытого и неагрессивного государства, придерживающегося принципов рыночной экономики, политического плюрализма и верховенства закона, а не отталкивать его³. Поддержание сотрудничества с Китаем было также обусловлено его статусом члена Совета Безопасности ООН (например, содействие Китаю было важно при принятии резолюций в связи со вторжением Ирака в Кувейт или для поддержки демократии в Гаити), экономическими интересами американских деловых кругов.

В противовес президентской администрации представители Министерства обороны США выражали опасения в связи с интенсифицировавшейся с середи-

1 Tucker 1991, 90.

2 Dumbaugh 2000, 1.

3 "Remarks by the President in Address on China and the National Interest," Clinton White House Archives, October 4, 1997, accessed March 1, 2021, <https://clintonwhitehouse4.archives.gov/WH/New/html/19971024-3863.html>.

ны 1990-х гг. военной модернизацией Китая и отсутствием транспарентности Китая в этой сфере¹. Американский конгресс выступал с критических в отношении Китая позиций, требуя от администрации более решительных действий по правозащитной проблематике, вопросам нераспространения, Тибету, Тайваню и торгово-экономическим вопросам². Американские СМИ выступали в роли жестких критиков Китая³. Общественное мнение в США также было лишено каких-либо симпатий в отношении китайского политического режима.

Кардинально изменившиеся мирополитические условия требовали адаптации отношений США с Китаем к новой реальности окончания биполярного противостояния с Советским Союзом. С одной стороны, с исчезновением стратегического треугольника США – КНР – СССР значимость Китая во внешнеполитических расчетах Вашингтона резко упала, что даже привело к возникновению в американских экспертных кругах представлений о бесполезности американо-китайских отношений⁴. С другой стороны, 1990-е гг. стали для США периодом безусловной веры в свое превосходство над другими странами по мощи и влиянию в мире. Оставшись после окончания холодной войны единственной мировой сверхдержавой, находясь на пике своего экономического расцвета, добившись в начале 1990-х гг. быстрой победы в войне в Персидском заливе, США находились в плену иллюзий об отсутствии конкурентов в вопросах глобального лидерства и о безальтернативности западной модели национального успеха, основанной на принципах свободы, демократии и свободной торговли. В начале 1990-х гг. даже получили развитие представления о близящемся крахе Китая⁵. Исполнительная власть США также недооценивала конкурентные позиции Китая и не осознавала стремительность наращивания Китаем финансово-экономической мощи. В 1997 г., например, Б. Клинтон предположил, что к 2020 г. Китай сможет стать второй торговой державой в мире после США⁶, тогда как реальность оказалась иной – уже в 2012 г. Китай занял место крупнейшей в мире торговой державы.

Хотя 1990-е гг. стали для американо-китайских отношений периодом непрекращающихся микрокризисов как результата тяньаньмэньского шока и изменившегося мирополитического контекста, американские администрации во взаимодействии с Китаем проводили политику «вовлечения» в сочетании с элементами «сдерживания». Тогда Китай не воспринимался в качестве угрозы или вызова США, его внешняя политика носила мирный характер, Китай встраивался в систему международных институтов и международно-правовых режимов и даже вносил ограниченные изменения в свою политическую систему, подпитывая надежды сторонников политики «вовлечения» на трансформацию Китая в ответственного актора мировой политики и демократическое государство. Вместе с тем Вашингтон оказывал давление на Китай в правозащитных вопросах, вводил санкции против него в связи с продажей ракетных технологий Пакистану,

1 Dumbaugh 2000, 3–4.

2 Dumbaugh 1998; Dumbaugh 2000, 1.

3 Sutter 2018, 104.

4 Tucker 1991.

5 Krugman 1994; Goldstone 1995.

6 "Remarks by the President in Address on China and the National Interest."

нарушениями прав интеллектуальной собственности в Китае, противодействовал получению Китаем права на проведение Олимпийских игр 2000 г., сыграл важную роль в решении Всемирного банка о прекращении предоставления Китаю помощи по линии Международной ассоциации развития в 1999 г. Вместе с тем необходимо отметить, что, в то время как фактически Вашингтон проводил китайскую политику, сочетающую «вовлечение» и «сдерживание», администрация Б. Клинтона преподносила ее как политику «конструктивного вовлечения».

С конца 1990-х гг. ввиду стремительного наращивания Китаем экономической мощи, форсированной военной модернизации и завершением процесса инкорпорирования Китая в международную систему (но при отсутствии значимых политических преобразований) восприятие Китая в США начинает меняться. Отражением таких настроений в американском политическом и экспертном сообществе стала обозначенная Дж.У. Бушем в ходе предвыборной кампании линия на выстраивание отношений с Китаем как со «стратегическим конкурентом»¹. Однако коррективы, фактически развернувшие китайскую политику Дж.У. Буша на 180 градусов, внесли события 11 сентября 2001 г. Противодействие международному терроризму, представшему в виде экзистенциальной угрозы США (Стратегия национальной безопасности от 2006 г. начиналась с тезиса о том, что США находятся в состоянии войны – войны с терроризмом²), стало новой стратегической основой американо-китайских отношений. На фоне угрозы со стороны международного терроризма и необходимости привлечения Пекина к борьбе с ним вызов усиливающегося Китая и традиционные проблемы американо-китайских отношений, концентрирующиеся на двустороннем уровне (тайваньская, уйгурская, тибетская проблемы, правозащитный комплекс проблем, экономические вопросы), временно теряли для Вашингтона свою остроту и безотлагательность реагирования.

Таким образом, события 11 сентября положили начало второму периоду в американо-китайских отношениях, длившемуся с 2001 по 2009 г. Этот период был отмечен появлением стратегической стабильности в американо-китайских отношениях, созданием разнообразных диалоговых механизмов двустороннего взаимодействия (счет шел на десятки различных диалоговых форматов, включая Стратегический диалог и Стратегический экономический диалог), интенсификацией сотрудничества двух стран в решении глобальных и региональных проблем. В этот период во внешней политике США преобладающими становятся представления о том, что усиливающийся Китай можно рассматривать не только в качестве потенциального конкурента США, но и в роли важного партнера в преодолении нетрадиционных угроз безопасности. В США появляются такие концепции, как предложенная в сентябре 2005 г. на тот момент заместителем госсекретаря США Р. Зелликом концепция «ответственного акционера» и выдвинутая в январе 2009 г. Бжезинским идея G2.

1 "Speech of Republican Presidential Nominee George W. Bush 'China and Russia – Powers in Transition'," An Electronic Journal of the U.S. Department of State "U.S. Foreign Policy Agenda," November 19, 1999, accessed February 19, 2013, <http://usinfo.state.gov/journals/itps/0900/ijpe/pj52bush.htm>.

2 "The National Security Strategy of the United States of America," Office of the Secretary of Defense, March 2006, p. 2, accessed March 1, 2021, <https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nss/nss2006.pdf?ver=Hfo1-Y5B6CMI8yHpX4x6IA%3d%3d>.

Нельзя сказать, что поменявшийся подход Вашингтона к Китаю и интенсификация американо-китайского взаимодействия в вопросах глобального и регионального значения позволили разрешить какие-либо традиционные для американо-китайских отношений противоречия. Они сохранялись, но стороны предпочитали их игнорировать. Вашингтон был склонен учитывать и проявлять уважение «коренным интересам» Китая, что создавало благоприятную среду для ведения эффективного американо-китайского диалога по широкому спектру вопросов глобальной и региональной повестки. Показательна в этом отношении сдержанная реакция Вашингтона на жесткие действия китайских властей в связи с событиями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в июле 2009 г.

В условиях отсутствия угрозы своим «коренным интересам» Пекин демонстрировал открытость для сотрудничества с Вашингтоном и нередко соглашался пойти на некоторые уступки в русле решения глобальных и региональных проблем. Однако уже тогда было понятно, что учет Вашингтоном «коренных интересов» Китая может носить только временный характер, поскольку они объективно вступали в противоречие с национальными интересами и мессианским характером внешней политики США. Так, линия Вашингтона на обеспечение защиты и расширения свобод и прав человека в мире неизбежно вступает в противоречие с жестким подходом Пекина к решению тибетской и уйгурской проблем как затрагивающих вопрос территориальной целостности и суверенитета Китая. Внешнеполитическая задача США по защите своих союзников и долговременных партнеров в Азии вступает в противоречие с действиями Китая в отношении Тайваня, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Новым для американо-китайских отношений в этот период стало нарастание региональной конкуренции между двумя странами в различных регионах мира. С 2004–2005 гг. Китай, аккумулировавший значительные финансовые возможности, испытывающий недостаток в природных ресурсах на фоне динамично развивающейся индустриализации и заинтересованный в поисках новых рынков сбыта своей экспортной продукции, стал стремительно наращивать свое экономическое присутствие в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. И, хотя в тот период экономическая экспансия Китая не приводила к американо-китайским противоречиям, было очевидно, что продолжение экономического проникновения Китая в ряд регионов рано или поздно вызовет недовольство Вашингтона.

Первые признаки завершения периода «медового месяца» в американо-китайских отношениях стали проявляться после мирового экономического кризиса 2008 г. Во-первых, сам кризис имел достаточно серьезное опосредованное влияние на американо-китайские отношения. Он проявил возросший вклад в мировую экономику и значительно увеличившуюся экономическую мощь Китая, что не могло не пошатнуть веру США в свое безусловное экономическое лидерство и заставило взглянуть на Китай не как на государство, в очень отдаленной перспективе способное приблизиться к США по размеру экономической мощи, а как на державу, которая уже вплотную приближается к США по многим экономическим показателям и делает заявку на конвертацию своей возросшей мощи во влияние в финансовых институтах и международной экономической системе. Важным следствием мирового экономического кризиса стало переосмысление

Китаем своего места в международной системе и глобальном управлении, что заложило основу для развития конкуренции между Китаем и США за право формулирования глобальной экономической повестки дня, международных правил и стандартов.

Более того, если на первоначальном этапе развития мирового экономического кризиса возникла иллюзия наличия у двух стран большого потенциала для сотрудничества в целях стабилизации мировой экономики, то в дальнейшем достаточно быстро обнаружили не только намерение Китая использовать сложившуюся ситуацию в целях расширения своей роли в мировом экономическом управлении, но и рост протекционизма в двусторонней торговле, а также нарастание соперничества между США и Китаем за международные рынки ввиду вызванного кризисом снижения мирового потребления.

Примерно к 2010 г. стало заметно «размывание» стратегической основы, цементирувавшей фундамент американо-китайских отношений: борьба с международным терроризмом теряет свою остроту для Вашингтона, что среди прочего находит свое отражение в обнародованном намерении Б. Обамы вывести американские войска из Ирака и Афганистана. Ликвидация У. бен Ладена в 2011 г. ставит окончательную точку в этом вопросе.

«Размывание» и затем полное исчезновение стратегической основы двусторонних отношений оказало серьезное влияние на изменение подходов Вашингтона к Китаю. Если в 2001–2009 гг. вызов усиливавшегося Китая для Вашингтона временно терял свою остроту на фоне более сильной, непосредственной и существующей в настоящем (а не в перспективе) угрозы со стороны международного терроризма, то с 2009–2010 гг. вызов со стороны Китая, заявившего о себе как о второй мировой экономике и влиятельной силе в мировой политике после мирового экономического кризиса, вышел на первый план. Китай стал рассматриваться в Вашингтоне как конкурирующая держава, в отношении которой нужно применять больше элементов «сдерживания» при сохранении общей линии на «вовлечение» Китая. Проявлением элементов «сдерживания» Китая стал заявленный Б. Обамой в 2009 г. курс на «возвращение в Азию», преследовавший цель недопущения изменения баланса сил в АТР в пользу Китая.

С исчезновением стратегической основы в американо-китайских отношениях для Вашингтона отпала необходимость искусственно сглаживать двусторонние противоречия (комплекс правозащитных вопросов, тибетский, уйгурский, тайваньский вопросы, торгово-экономические противоречия). Как результат, они вспыхнули с новой силой. Вашингтон стал усиливать давление на Пекин в правозащитных вопросах, в том числе расширяя спектр претензий за счет постановки новой проблематики: жесткая цензура Интернета в Китае и исходящие из Китая угрозы кибербезопасности¹. Китайская внешняя политика все чаще стала интерпретироваться в Вашингтоне как приобретающая черты напористости, а внешнеполитическое поведение Китая – как нарушающее нормы

1 "Remarks by President Barack Obama at Town Hall Meeting With Future Chinese Leaders," White House, November 16, 2009, accessed February 3, 2013, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-town-hall-meeting-with-future-chinese-leaders>; "Clinton's Remarks on Internet Freedom," State Government, January 21, 2011, accessed December 16, 2012, <http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135519.htm>.

международного права и установленные в международной системе «правила». В американо-китайских отношениях появляется и прочно закрепляется новый вектор противоречий – проблематика свободы навигации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Более того, по мере усиления Китая и становления его в качестве глобальной державы между Китаем и США интенсифицируется соперничество за право формулировать правила игры и определять мировую повестку. И если начинается это как соперничество за право определять вектор развития АТР (соперничество за приоритет модели региональной интеграции – в форме ВРЭП или ТТП), то уже при администрации Д. Трампа это перерастает в соперничество глобального масштаба. Предложенная Си Цзиньпином в 2013 г. инициатива «Пояс и путь» воспринимается в Вашингтоне как масштабный геополитический проект, преследующий цель создания китаецентричного миропорядка.

Таким образом, в качестве основных характеристик американо-китайских отношений периода 2010–2017 гг. можно выделить следующие. Во-первых, это отсутствие стратегической основы двусторонних отношений и, как следствие, обострение традиционных и появление новых противоречий. Во-вторых, это сближение экономических потенциалов США и Китая и сопутствующее нарастание конкуренции в различных регионах мира (в первую очередь в АТР), а также конкуренции за право определять правила, регулирующие различные сферы (от торговли и инвестиционной деятельности до киберпространства). В-третьих, это отсутствие в американо-китайских отношениях конфронтационной составляющей при явной нисходящей тенденции развития отношений. Несмотря на усиление стратегического недоверия между сторонами, стратегическую нестабильность отношений, рост конкуренции между странами, США и Китай сохраняли тесные контакты, продолжали совместную работу, направленную на выработку решений по острым вопросам глобальной и региональной повестки. При этом такая работа велась не только при администрации Б. Обамы, но и в первый год деятельности администрации Д. Трампа. Наиболее примечательным в этой связи стало достижение между двумя сторонами компромисса по северокорейской ядерной проблеме и принятие ряда резолюций СБ ООН в 2017 г., вводивших жесткие санкции против северокорейского режима. В этот период стороны продолжали диверсифицировать и совершенствовать двусторонние диалоговые механизмы. При Б. Обаме были созданы, например, Американо-китайские консультации по делам АТР и Американо-китайский стратегический диалог по безопасности, а при Д. Трампе – Американо-китайский всеобъемлющий экономический диалог.

Конфронтационная модель американо-китайских отношений

Резкое нарастание конфронтационности в американо-китайских отношениях стало происходить с 2018 г., когда инициированная Д. Трампом «торговая война» с Китаем пошатнула хрупкий фундамент американо-китайских отношений. Курс Д. Трампа на ультимативное принуждение Китая углубить либерализацию его экономики и внешнеторгового режима, привести экономическую политику страны

в соответствии со взятыми на себя обязательствами в рамках ВТО запустил маховик взаимных претензий и противоречий¹. Сложившаяся за предшествующие четыре десятилетия сильная экономическая взаимозависимость двух стран из стабилизирующей основы двусторонних отношений превратилась в инструмент давления на оппонента. Д. Трамп продемонстрировал готовность нести издержки ведения «торговой войны» ради достижения цели изменения экономической и внешнеторговой политики Китая. На протяжении предшествующих десятилетий американские администрации безуспешно пытались привлечь внимание Пекина к необходимости решать углубляющиеся американо-китайские торгово-экономические противоречия и обеспечить становление полноценной рыночной экономики, которая должна прийти на смену существующему в Китае государственному капитализму (или, по формулировке китайских властей, социалистической рыночной экономике). Действия Д. Трампа сигнализировали о том, что лимит терпения США в вопросах экономической и внешнеторговой политики Китая уже исчерпан. Претензии Вашингтона к Китаю уже не сводятся к нарушению прав интеллектуальной собственности, манипулированию валютным курсом, растущим торговым дисбалансом в пользу Китая, демпингом на внешних рынках, а охватывают широкий спектр применяемых Пекином торгово-экономических практик, лежащих в основе экономической модели Китая.

Лимит терпения Вашингтона, как следует из многочисленных заявлений американских официальных лиц, уже исчерпан и в вопросах распространения демократии и обеспечения прав и свобод человека в Китае. Ожидания американских сторонников концепции «вовлечения» Китая, делавших ставку на то, что инкорпорирование Китая в международную систему и реализация рыночных экономических преобразований неизбежно приведут к демократизации Китая, не оправдались. За прошедшие три десятилетия спектр претензий США к Китаю в правозащитной области значительно расширился. Если в 1990-е гг. критика Китая включала преимущественно проблемы диссидентов, принудительную политику планирования семьи, принудительный труд в тюрьмах и нарушение религиозных свобод и традиционного уклада уйгуров и тибетцев, то в настоящее время фокус критики направлен на политику Китая в отношении национальных меньшинств (уйгуров и тибетцев), диссидентов, цензуру СМИ и Интернета, есть также целый комплекс претензий в русле гонконгской проблематики. Более того, если раньше уйгурский вопрос рассматривался в контексте нарушения китайскими властями религиозных свобод, сейчас речь уже идет об открытых обвинениях китайских властей в «геноциде»² уйгуров.

За прошедшие три десятилетия Китай не только не стал более демократичным, но, напротив, после прихода к власти Си Цзиньпина произошло усиление роли КПК в общественно-политической и экономической жизни Китая³, система контроля за действиями китайского населения стала более изощренной благодаря идейным и технологическим новациям (использование системы социального

1 Лексютин 2020, 85.

2 Pamuk H., Brunnstorm D., "New U.S. Secretary of State Favors Cooperation with China Despite Genocide of Uighurs," Reuters, January 28, 2021, accessed March 4, 2021, <https://www.reuters.com/article/us-usa-china-blinken-idUSKBN29W2RC>.

3 Ломанов 2020, 109–110.

кредита, системы распознавания лиц, ИИ и пр.), китайские власти стали демонстрировать бескомпромиссность и жесткость в подавлении каких-либо протестных настроений. Защищая свои «коренные интересы», Китай уже в меньшей степени стал принимать в расчет потенциальную реакцию западных либеральных демократий на свои действия.

Более того, непринятие со стороны Вашингтона вызывают попытки Китая осуществлять контроль за общественным дискурсом не только в национальных границах, но и за пределами Китая (диктовать зарубежным СМИ, общественным деятелям и публичным лицам масштабы допустимого в анализе ситуации в Китае или событий, связанных с действиями Китая).

В целом к 2018–2020 гг. в Вашингтоне сформировался консенсус относительно ошибочности политики «вовлечения» Китая, предполагавшей положительные сдвиги во внутренней и внешней политике, как результата его международной социализации и проведения экономических преобразований. Примечательной особенностью американского политического ландшафта стал не столько двухпартийный консенсус в вопросах политики США в отношении Китая, сколько невиданный с момента установления дипломатических отношений в 1979 г. консенсус между американским конгрессом и американской администрацией в этом вопросе. Ранее американский конгресс, как правило, выступал в роли критика политики китайских властей и сторонника проведения жесткой политики в отношении Пекина, в то время как сменяющие друг друга американские администрации исходили из представлений о целесообразности поддержания нормальных отношений с Китаем, развития с ним сотрудничества по вопросам, представляющим встречный интерес.

Таким образом, в период администрации Д. Трампа в американских политических кругах произошло фундаментальное переосмысление политики в отношении Китая, вряд ли имевшее ситуационный характер. Китай стал восприниматься как страна, исчерпавшая лимит терпения Вашингтона и не оправдавшая ожидания сторонников политики «вовлечения», как главный стратегический противник, чьи внешнеполитические амбиции и международное влияние нужно сдерживать. В Вашингтоне осознали, что Китай превратился в регионального и даже глобального соперника США, конкурирующую сверхдержаву с чуждыми США идеологией, системой ценностей и моделью развития. Китай нарастил свою комплексную национальную мощь – включая не только экономическую, но также военную и технологическую – и расширил свое международное влияние. Китай становится сильным конкурентом даже в тех сферах, где США считали себя неуязвимыми: технологическое и инновационное развитие. «Ловушка Фукидида», заключающаяся в неизбежности конфликта между доминирующей в мире державой и быстро усиливающимся ее конкурентом, становится уже реалистичным сценарием развития американо-китайских отношений¹. Углубляющиеся различия политико-экономических систем, идеологий и ценностей США и Китая усиливают интенсивность влияния «ловушки Фукидида» на американо-китайские отношения.

1 Ефременко 2020.

Ужесточению американского подхода в отношении Китая способствует и то, что возросшая решительность Китая в отстаивании своих «коренных интересов» интерпретируются в США как рост агрессивности. Линия поведения Китая в гонконгском, уйгурском и тайваньском вопросах, вопросе свободы навигации характеризуется как агрессивная. При этом некоторые американские эксперты обращают внимание на то, что если раньше боязнь критики со стороны международного сообщества сдерживала действия Пекина, то в последнее время китайское руководство демонстрирует безразличие к международной критике¹. Не остаются без внимания и агрессивные действия китайских дипломатов, получивших даже специфическое наименование «боевых волков».

Серьезное влияние на американские подходы к Китаю и американо-китайские отношения оказало возникновение и распространение COVID-19. Показательно то, что эпидемия COVID-19 не стала той экзистенциальной угрозой, которая могла бы сплотить США и Китай в целях преодоления вызванного ею мирового экономического кризиса (и, соответственно, стать новой стратегической основой отношений), а, напротив, спровоцировала встречные обвинения и информационную войну.

Более того, на фоне ситуации с COVID-19 в американо-китайских отношениях обозначился новый идеологический вектор противостояния, в случае своего дальнейшего развития способный перевести двусторонние отношения в состояние холодной войны. Впервые с момента установления дипломатических отношений в 1979 г. в американо-китайских отношениях рельефно обозначилось противостояние различающихся политико-экономических и социально-политических моделей двух стран или, по формулировке американской стороны, неолиберальной идеологии США и марксизма-ленинизма КПК.

Появлению идеологического вектора американо-китайского соперничества способствовали обе стороны – и Китай, и США. Так, администрация Д. Трампа стала делать акцент на несовместимости американских ценностей и идеологии с китайскими, а также выделять КПК в качестве основной угрозы США². При этом принятая на вооружение администрацией Д. Трампа стратегия проведения различий между КПК и китайскими гражданами была направлена на то, чтобы все претензии предъявлять адресно КПК, с тем чтобы не антагонизировать китайцев. Пекин, в свою очередь, на фоне развития пандемии стал умышленно акцентировать внимание мирового сообщества на превосходстве своей модели государственного управления и противопоставлять способность китайской политической системы справиться с распространением эпидемии внутри Китая, не допустить второй волны ее развития, быстро восстановить экономический рост в стране, подчеркивая неспособность американских властей остановить распространение коронавирусной инфекции в США и возглавить усилия мирового сообщества в борьбе с эпидемией. Такое противопоставление фактически

1 Bill Hayton, "The South China Sea in 2020. Hearing on 'U.S.-China Relations in 2020: Enduring Problems and Emerging Challenges'," U.S.-China Economic and Security Review Commission, September 9, 2020, p. 4, accessed March 5, 2021, https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-09/Hayton_Testimony.pdf.

2 Robert O'Brien, "The Chinese Communist Party's Ideology And Global Ambitions," USC US-China Institute, June 24, 2020, accessed February 5, 2021, <https://china.usc.edu/robert-o%E2%80%99brien-chinese-communist-party%E2%80%99s-ideology-and-global-ambitions-june-24-2020>.

ставило под вопрос превосходство социально-политической модели и мировое лидерство США.

На практике американская политика «сдерживания» Китая нашла свое отражение в развязывании в 2018 г. «торговой войны», введении ограничений в отношении китайских технологических гигантов и санкций в отношении китайских компаний, организаций и частных лиц. В 2020 г. в Вашингтоне заговорили о необходимости декаплинга – устранения взаимозависимости и связанности – американской и китайской экономик и реконфигурации глобальных цепочек производства и сбыта в обход Китая. Вашингтон стал предпринимать комплексные меры по противодействию китайскому шпионажу¹ и распространению влияния Китая в США, что проявилось среди прочего в ограничении деятельности отдельных китайских СМИ и Институтов Конфуция на территории США, закрытии китайского консульства в Хьюстоне, ужесточении визовой политики в отношении китайских граждан. При администрации Д. Трампа Вашингтон значительно интенсифицировал так называемые операции по утверждению свободы навигации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также углубил отношения с Тайванем.

На недружественные действия США Пекин ответил принятием симметричных мер и развертыванием широкой пропагандистской кампании, адресованной как внутренней, так и международной аудитории. В 2020 г. американо-китайские отношения достигли низшей точки своего развития с момента установления дипломатических отношений.

Как следует из предвыборной риторики и первого месяца пребывания у власти, пришедший на смену Д. Трампу президент Дж. Байден намерен продолжить политику «сдерживания» Китая с той лишь разницей, что во главу угла будет поставлено формирование широкой коалиции стран в целях оказания консолидированного давления на Китай по правозащитной проблематике и торгово-экономическим вопросам, а также с целью противодействия его планам (будь то планы Китая, связанные с реализацией инициативы «Пояс и путь», или планы по созданию сетей 5G по всему миру).

Существуют различные оценки того, удастся ли Вашингтону сформировать такую коалицию. С одной стороны, в США есть понимание того, что экономическая рецессия, которая последует за пандемией, заставит многие развивающиеся и менее развитые страны искать сотрудничества с Китаем, которому, по всей видимости, удастся выйти из кризиса с наименьшими для себя экономическими потерями и сохранить высокие темпы роста относительно других стран². Более того, развивающиеся страны в большинстве своем заинтересованы сохранять отношения и с Китаем, и с США и не желают делать выбор между двумя крупнейшими мировыми экономиками. С другой стороны, некоторые американские эксперты полагают, что после возникновения эпидемии сложились беспрецедентно благоприятные геополитические условия для формирования широкой

1 Zhu 2020, 212.

2 Kerry Brown, "Hearing on 'U.S.-China Relations in 2020: Enduring Problems and Emerging Challenges,'" U.S.-China Economic and Security Review Commission, September 9, 2020, accessed March 27, 2021, https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-09/Brown_Testimony.pdf.

антикитайской коалиции¹. По их мнению, в ходе развития эпидемии проявились такие непривлекательные характеристики внешнеполитического поведения Китая, как использование кризисных явлений мирового развития в интересах получения коммерческой выгоды и утверждения своих территориальных притязаний, политизация своего вклада в вопросах борьбы с COVID-19 в сочетании с агрессивной пропагандой и компаниями по распространению дезинформации². Формирование антикитайской коалиции стало возможным благодаря появлению круга стран, в том числе ведущих мировых держав, в период борьбы с пандемией испытывавших на себе либо давление со стороны Пекина, либо непосредственно осознавших опасность чрезмерной экономической, производственной или технологической связанности с Китаем. Эпидемия COVID-19 способствовала тому, что страны, которые ранее придерживались линии управляемого прагматизма в развитии сотрудничества с Китаем, стали критически к нему относиться, а некоторые из них обратились к реализации конкретных действий для противодействия ему (ведущие европейские страны, Австралия, Япония, Индия)³.

Заключение

За прошедшие с момента окончания холодной войны три десятилетия американо-китайские отношения прошли сложный, неоднозначный путь. Они преодолели период высокой турбулентности 1989–2001 гг., заданный тьяньаньмэньским кризисом и новой мирополитической реальностью окончания биполярного противостояния. В период с 2001 по 2009 г. под влиянием изменившейся обстановки (в определяющей степени ввиду угрозы со стороны международного терроризма) США и Китай вышли на качественно новый уровень взаимодействия – уровень стратегического сотрудничества, когда казалось, что объединение их усилий по борьбе с угрозами глобальной и региональной безопасности перевесит существующие между двумя странами противоречия на двустороннем уровне. С 2010 г. американо-китайские отношения стали развиваться под знаком интенсифицирующегося соперничества, сначала принявшего характер регионального соперничества в АТР, но к настоящему моменту уже приобретающего черты долговременного стратегического соперничества.

«Китайская мечта» о великом возрождении китайской нации, официально артикулированная Пекином в 2012 г., но де-факто планомерно осуществляемая с момента начала политики реформ и открытости в 1978 г., стала «американским кошмаром». Китаю удалось нарастить финансово-экономическую мощь до масштабов, уже почти сопоставимых с американскими, существенно продвинуться в вопросах военной модернизации, а также сделать серьезную заявку на превращение в одну из ведущих технологических держав в не таком уж отдаленном будущем. Китай стал обигрывать США в мировой системе координат, созданной и задуманной Вашингтоном как обеспечивающей американские национальные

1 Andrew Small, "Hearing on 'U.S.-China Relations in 2020: Enduring Problems and Emerging Challenges'," U.S.-China Economic and Security Review Commission, September 9, 2020, accessed March 1, 2021, https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-09/Small_Testimony.pdf.

2 Ibid.

3 Kerry Brown, "Hearing on 'U.S.-China Relations in 2020: Enduring Problems and Emerging Challenges'."

интересы и мировое лидерство. Китай в полной мере использовал преимущества экономической глобализации, превратившись в «фабрику мира», а ныне осуществляя переход к становлению в роли «мирового рынка»; Китай научился эффективно использовать международные организации в своих интересах. Не связывая себя союзническими договоренностями, налагающими определенные обязательства и, возможно, финансовые издержки, Китай между тем создал широкую сеть патрон-клиентских отношений с развивающимися странами, позволяющую ему мобилизовывать широкую международную поддержку своих инициатив и интересов. Китай также продемонстрировал свою уникальную устойчивость к различного рода кризисам и способность превращать кризисные ситуации в новые возможности и импульсы к переходу на новый уровень своего развития.

Между тем определяющим для развития ныне наблюдаемого конфронтационного сценария американо-китайских отношений стал не только факт становления Китая в качестве сильной глобальной державы, но и разрушение иллюзий двух стран. Прежде всего, иллюзий со стороны США о возможности демократизации политической системы Китая и становления в Китае полноценной рыночной экономики, о возможности опосредованного влияния на внутреннюю политику и управления внешнеполитическим поведением Китая, о возможности привлечения Пекина к сотрудничеству в деле решения глобальных и региональных проблем на своих условиях и при своей руководящей роли. Развеялись и иллюзии со стороны Пекина о том, что с течением времени Вашингтон признает право других государств на выбор собственного пути развития, осознает необходимость уважения «коренных интересов» Китая и станет выстраивать отношения с сильным Китаем на равноправной основе, а не с позиции превосходства и силы.

Фиксация Вашингтоном роста комплексной национальной мощи и международного влияния Китая, агрессивности в отстаивании его «коренных интересов», свертывания политической и экономической (в части роли КПК в управлении китайской экономикой) либерализации в Китае, действий по созданию китаецентричной международной системы привели к тому, что Китай стал восприниматься в Вашингтоне в качестве экзистенциальной угрозы США, требующей проведения политики «сдерживания».

Пока развитие конфронтационного сценария американо-китайских отношений не оказывает драматического влияния на мировые процессы, но в случае нарастания конфликтности ситуация может измениться. Следствием развития стратегического соперничества между двумя странами и конфронтационного сценария их отношений может стать фрагментация мирового порядка с формированием условных разграничений на американскую и китайскую сферы влияния. Однако уникальность современной ситуации и ее отличие от периода холодной войны между США и СССР состоит в том, что многие страны мира не хотят делать взаимоисключающий выбор между США и Китаем и быть втянутыми в американо-китайское противоборство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Давыдов, А.С. Пекин, Вашингтон, Москва: взаимоотношения в контексте трансформации глобальной архитектуры. – М.: ИДВ РАН, 2015. – 400 с.

Davydov, Andrew. *Pekin, Vashington, Moskva: vzaimootnosheniya v kontekste transformatsii global'noi arkhitektoniki*. Moscow: IFES RAS, 2015 [In Russian].

Ефременко, Д.В. Двойная ловушка Фукидида // Россия в глобальной политике. – 2020. – 18(4). – С. 126–147.

Efremenko, Dmitry V. "Thucydides' Double Trap." *Russia in Global Affairs* 18, no. 4 (2020): 126–147 [In Russian].

Лексютина, Я.В. Америко-китайские отношения в 2018–2019: торговая война и процесс декаплинга // Мировая экономика и международные отношения. – 2020. – 64 (6). – С. 85–93. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-6-85-93>.

Leksyutina, Yana V. "U.S.-China Relations in 2018–2019: Trade War and the Process of Decoupling." *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya* 64, no. 6 (2020): 85–93 [In Russian].

Ломанов, А.В. Современный Китай: внутренние и внешние вызовы на новом этапе преобразований // Вестник Российской академии наук. – 2020. – 90 (2). – С. 103–112. <https://doi.org/10.31857/S0869587320020073>.

Lomanov, Alexandr V. "Modern China: Internal and External Challenges at a New Stage of Reforms." *Vestnik Rossijskoj akademii nauk* 90, no. 2 (2020): 103–112 [In Russian].

Тимофеев, О.А. Сорок лет отношений между КНР и США: изменение параметров стратегического сотрудничества // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2012. – №12. – С. 64–72.

Timofeev, Oleg A. "Forty Years of Relations between China and the USA: Modify the Strategic Cooperation." *Rossiya i Kitai: problemy strategicheskogo vzaimodeistviya: sbornik Vostochnogo tsentra*, no. 12 (2012): 64–72 [In Russian].

Allison, Graham. *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* N.Y.: Houghton Mifflin Harcourt, 2017.

Bernstein, Richard, and Ross H. Munro. *The Coming Conflict with China*. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1997.

Brzezinski, Zbigniew. *The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*. N.Y.: Basic Books, 1997.

Christensen, Thomas J. "The Advantages of an Assertive China: Responding to Beijing's Abrasive Diplomacy." *Foreign Affairs* 90, no. 2 (2011): 54–67. <http://www.jstor.org/stable/25800457>.

Dumbaugh, Kerry. *China: Pending Legislation in the 105th Congress*. CRS Report for Congress, 1998.

Dumbaugh, Kerry. *Ten Years in U.S.-China Policy. Interest Groups and Their Influence, 1989–2000*. CRS Report for Congress, 2000.

Friedberg, Aaron L. *A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia*. N.Y., London: W.W. Norton & Company, 2011.

Garrett, Banning. "US-China Relations in the Era of Globalization and Terror: a Framework for Analysis." *Journal of Contemporary China* 15, no. 48 (Aug. 2006): 389–415. <https://doi.org/10.1080/10670560600736384>.

Gao, Zugui. "Transforming Sino-U.S. Strategic Relations." *Contemporary International Relations* 20, no. 3. (May/Jun. 2010): 31–40.

Gertz, Bill. *The China Threat: How the People's Republic Targets America*. Washington, DC: Regnery, 2000.

Gilboy, George J. "The Myth Behind China's Miracle." *Foreign Affairs* 83, no. 4 (Jul./Aug. 2004): 33–48.

Glaser, Charles. "Will China's Rise Lead to War? Why Realism Does Not Mean Pessimism." *Foreign Affairs* 90, no. 2 (2011): 80–91. Accessed July 3, 2021. <http://www.jstor.org/stable/25800459>.

Goldstone, Jack A. "The Coming Chinese Collapse." *Foreign Policy*, no. 99 (1995): 35–53. <https://doi.org/10.2307/1149004>.

Kissinger, Henry. *Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century*. N.Y.: Simon & Schuster, 2002.

Goodman, David S.G., and Gerald Segal. *China Without Deng*. Sydney; N.Y.: Editions Tom Thompson, 1995.

Hu, Angang. *China in 2020: A New Type of Superpower*. Washington, DC: Brookings Institution, 2011.

Huntington, Samuel. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. N.Y.: Simon & Schuster, 1996.

Ikenberry, John. "The Rise of China and the Future of the West; Can the Liberal System Survive?" *Foreign Affairs* 87, no. 1 (Jan./Feb. 2008): 23–37.

Kissinger, Henry. *On China*. N.Y.: Penguin Press, 2011.

Krugman, Paul. "The Myth of Asia's Miracle." *Foreign Affairs* 73, no. 6 (Nov./Dec. 1994): 62–79. <https://doi.org/10.2307/20046929>.

Mearsheimer, John. *The Tragedy of Great Power Politics*. N.Y.: W.W. Norton & Company, 2001.

Menges, Constantine C. *China: the Gathering Threat*. Nashville: Thomas Nelson Inc, 2005.

Mosher, Steven. *Hegemon: China's Plan to Dominate Asia and the World*. San Francisco, CA: Encounter Books, 2000.

Nye, Joseph S. Jr. "American and Chinese Power after the Financial Crisis," *The Washington Quarterly* 33, no. 4 (Oct. 2010): 143–153, <https://doi.org/10.1080/0163660X.2010.516634>.

Ross, Robert S. "Chinese Nationalism and Its Discontents." *The National Interest*, no. 116 (Nov./Dec. 2011): 45–51. <http://www.jstor.org/stable/42896414>.

Roy, Denny. "The 'China Threat' Issue: Major Arguments." *Asian Survey* 36, no. 8 (Aug. 1996): 758–771.

Scissors, Derek, and Arvind Subramanian. "The Great China Debate: will Beijing Rule the World?" *Foreign Affairs* 91, no. 1 (Jan./Feb. 2012): 173–177.

Shirk, Susan L. *China: Fragile Superpower: How China's Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Sutter, Robert G. *U.S. – China Relations: Perilous Past, Uncertain Present*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2018.

Timperlake, Edward, and William C. Triplett. *Red Dragon Rising: Communist China's Military Threat to America*. Washington, DC: Regnery, 1999.

Tucker, Nancy B. "China and America: 1941–1991." *Foreign Affairs* 70, no. 5 (Winter 1991): 75–92.

Wortzel, Larry M. "China Pursues Traditional Great-Power Status," *Orbis* 38, no. 2 (Spring 1994): 157–175.

Yuan, Peng. "Where Are Sino-U.S. Relations Headed?" *Contemporary International Relations* 20. (Sept. 2010): 53–62.

Zhu, Zhiquan. "Three Levels of U.S. – China Strategic Rivalry." *The Brown Journal of World Affairs* xxvii, no. 1. (2020): 119–134. <https://bjwa.brown.edu/27-1/three-levels-of-u-s-china-strategic-rivalry/>.

贾庆国, 理查德·罗斯克兰斯. 中国和美国正在走向冲突? // 国际经济评论. – 2011 年. – 第3 期. – 第7–14 页.

Jia, Qingguo, and Richard Rosecrans. "Are China and the United States Heading for Conflict?" *International Economic Review*, no. 3 (2011): 7–14 [In Chinese].

陈松川, 楚树龙. 21 世纪初叶世界发展大趋势// 现代国际关系. – 2010 年. – S1 期 – 第5–17 页.

Chen, Songchuan, and Shulong Chu. "The General Trend of World Development at the Beginning of the 21st Century." *Contemporary International Relations*, no. S1 (2010): 5–17 [In Chinese].

牛新春. 中美关系: 依赖性与脆弱性// 现代国际关系. – 2009 年. – 第9 期. – 第36–44 页. Niu, Xinchun. "China-U.S. Relations: Dependence and Fragility." *Contemporary International Relations*, no. 9 (2009): 36–44 [In Chinese].

陶文钊. 利益调适: 中美关系中的恒久课题// 当代世界. – 2010 年. – 第9 期. – 第4–8 页.

Tao, Wenzhao. "Adjustment of Interests: An Eternal Issue in Sino-US Relations." *The Contemporary World*, no. 9 (2010): 4–8 [In Chinese].

傅梦孜. 布什政府对华政策与中美关系的未来// 现代国际关系. – 2003 年. – 第1 期. – 第17–22 页.

Fu, Mengzi. "The Bush Administration's China Policy and the Future of Sino-US Relations." *Contemporary International Relations*, no. 1 (2003): 17–22 [In Chinese].

Сведения об авторе

Лексютина Яна Валерьевна,

доктор политических наук, профессор РАН, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет, РФ,
199034 Санкт-Петербург, Университетская наб. д. 7-9.

e-mail: lexyana@ya.ru

ORCID: 0000-0001-6766-1792

Дополнительная информация

Поступила в редакцию: 9 марта 2021.

Переработана: 27 марта 2021.

Принята к публикации: 4 августа 2021.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Цитирование

Лексютина, Я.В. «Китайская мечта» или «американский кошмар»: к чему пришли американо-китайские отношения за три десятилетия // *Международная аналитика*. – 2021. –

Том 12 (2). – С. 12–30.

<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-12-30>

The “Chinese Dream” or the “American Nightmare”: Where Did the U.S.–China Relations Come in Three Decades

ABSTRACT

The bulk of academic studies characterize the contemporary U.S. – China relations as asymmetrical ones, in which the relations' agenda – a course towards finding areas of cooperation or emphasizing contradictions/rivalry – was set by Washington's policy towards China, with the latter being more of a reacting party. In this paper, I argue that one needs a further and deeper reflection on the current confrontation between the U.S. and China, in particular the reasons and circumstances of how and why the “Chinese dream” of a remarkable renaissance of the Chinese nation became an American nightmare, forcing Washington to opt for a containment policy against China. In this regard, I show the importance of tracing the dynamics of the post-Cold War development of the U.S. – China relations to comprehend the patterns and logic of the shaping of American policy towards China. The article also explains the evolution of U.S. – China relations in the post-Cold War period as determined by the presence or absence of a strategic basis in the U.S. – China relations, which implies cooperation between the two countries in stopping the external existential threat to the U.S. So, I conclude that the uniqueness of the current stage lies in the fact that, because of China's emergence as a strong global power and Washington's disillusion about China, China itself is beginning to be perceived by Washington as an existential threat, to stop which the containment policy should be applied.

KEYWORDS

The U.S., China, U.S.-China relations, containment, strategic rivalry

Author

Yana V. Leksyutina,

Doctor of Sciences, Professor of the Russian Academy of Sciences, Professor, Saint-Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya Emb., Saint-Petersburg 199034, Russian Federation.

e-mail: lexyana@ya.ru

ORCID: 0000-0001-6766-1792

Additional information

Received: March 9, 2021. Revised: March 27, 2021. Accepted: August 4, 2021.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author.

For citation

Leksyutina, Yana V. “The ‘Chinese Dream’ or the ‘American Nightmare’: Where Did the U.S.-China Relations Come in Three Decades.” *Journal of International Analytics* 12, no. 2 (2021): 12–30.
<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-12-30>

Северокорейское чудо: 30 лет выживания в условиях кризиса и изоляции

Андрей Николаевич Ланьков, Университет Кукмин, Сеул, Республика Корея

Контактный адрес: andreilankov@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются факторы, которые позволили северокорейскому режиму семьи Ким сохранять власть на протяжении десятилетий в исключительно неблагоприятных условиях.

В современной политологии принято считать, что авторитарный режим сталкивается с тремя видами угроз: угрозой элитного заговора, угрозой массового выступления и угрозой внешнего вторжения. В статье демонстрируется, что в случае с КНДР, которая является частью разделенной страны, потенциальная угроза массового выступления выше, чем в большинстве авторитарных режимов, однако властям удается ее нейтрализовать с помощью политики информационной самоизоляции, дополненной мерами административно-полицейского контроля. С другой стороны, существующая угроза поглощения бедного Севера богатым Югом во многом обеспечивает единство элит и снижает вероятность возникновения заговоров, которые статистически являются главной опасностью для современной автократии. Элиты понимают, что даже успешный переворот может спровоцировать коллапс северокорейской государственности, после которого у представителей нынешней элиты будет мало шансов сохранить свою власть и привилегии. На единство элиты работают также и историко-культурные факторы. Наконец, угроза внешнего вторжения (или же внешнего вмешательства во внутривнутриполитический кризис) успешно нейтрализуется путем создания собственного потенциала ядерного сдерживания. Северокорейское руководство и, шире, элита в целом существуют в условиях экзистенциальной угрозы, созданной расколом страны и феноменальным экономическим успехом Юга, поэтому ради обеспечения политической стабильности элита готова жертвовать перспективами экономического развития. Вдобавок в рамках существующей системы руководство северокорейской автократии может во многом игнорировать настроения масс. Все это создает ситуацию, в которой власть может поддерживать стабильность в течение долгого времени и в самых неблагоприятных условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

авторитаризм, стабильность режима, Северная Корея, Ким Чен Ын, КНДР, ядерное оружие, сдерживание

21 октября 1994 г. в Женеве было подписано так называемое «Рамочное соглашение», которое положило конец кризису в отношениях между КНДР и США, в более широком смысле – в отношениях между КНДР и внешним миром. В соответствии с этой договоренностью КНДР соглашалась поставить под международный контроль свой ядерный исследовательский центр, остановить имеющийся реактор-наработчик оружейного плутония и прекратить ряд исследовательских программ, направленных на разработку ядерного оружия. В обмен Северной Корее была обещана постройка двух реакторов на легкой воде, а до окончания работ по их возведению – бесплатные поставки сырой нефти в объеме 500 тыс. тонн в год. Реализация этих проектов должна была оплачиваться международным консорциумом *KED*, решающую роль в финансировании которого играли США, Южная Корея и Япония¹.

Многие наблюдатели считают, что США пошли на заключение этого соглашения, которое многие с самого начала считали невыгодным для США и их союзников, только потому, что были уверены: «Рамочное соглашение», скорее всего, не придется выполнять полностью². В конце 1994 г. не только в Вашингтоне, но и в иных мировых столицах преобладала уверенность в том, что северокорейский режим доживает последние годы и что его скоро постигнет та же судьба, которая постигла и построенные по советскому образцу режимы Восточной Европы, и сам Советский Союз. Мало кто сомневался тогда в том, что падение режима и объединение Кореи по германскому образцу – дело недалекого будущего³.

Однако дальнейшие события показали, что подобные представления были необоснованными. Два десятилетия, которые последовали за распадом социалистического блока, действительно стали для Северной Кореи десятилетием экономической катастрофы и международной изоляции. Тем не менее ни экономическая катастрофа, ни массовый голод, ни международная изоляция не привели к падению режима. Более того, сейчас, в 2021 г., нет веских оснований предполагать, что режим семьи Ким уйдет с исторической сцены в обозримом будущем.

В чем секрет той необычной устойчивости, которую продемонстрировал режим семьи Ким? В данной статье мы рассмотрим факторы, которые сделали возможной его неожиданную стабильность. Мы продемонстрируем, в частности, что многие из особенностей социально-политической системы КНДР, которые в начале 1990-х гг. воспринимались как ее слабые стороны, в действительности внесли немалый вклад в способность этой системы выживать в максимально неблагоприятных условиях.

Вопросы стабильности авторитарных режимов в современных исследованиях

Вопросы стабильности авторитарных режимов давно привлекали внимание исследователей, но после 2000 г. в науке произошло очевидное усиление интереса к этой проблематике. Во многом это объясняется тем, что некогда пред-

1 Kihl 1997.

2 McCormack 2004, 156.

3 Lim 2004.

сказанный Ф. Фукуямой «конец истории», то есть полный и всемирный триумф либеральной демократии, сорвался или по меньшей мере оказался отложенным на неопределенный срок. К настоящему времени многим стало ясно: несмотря ни на что, авторитарные режимы в обозримом будущем не только сохранятся, но и будут играть немалую роль в международной политике.

В обширной литературе, посвященной вопросам стабильности автократий, содержится немало наблюдений, которые, как будет показано далее, применимы и к реалиям КНДР. При всей своей специфике, которой в основном и посвящена данная статья, КНДР является лишь одной из многих автократий нашей планеты, так что проблемы и угрозы, с которыми имеют дело ее руководители, отнюдь не уникальны.

Относится это в том числе и к тем угрозам своему политическому и физическому выживанию, с которыми имеет дело руководство КНДР. Г. Таллок, один из первых экономистов, который стал изучать проблему стабильности автократий, еще в восьмидесятые годы составил перечень основных опасностей, которым подвергаются такие режимы. По его мнению, авторитарный режим сталкивается с тремя видами угроз: во-первых, угрозой переворота или заговора, организованного элитой; во-вторых, с угрозой внешнего вторжения; в-третьих, с угрозой массового революционного выступления снизу¹. Представление об этой «триаде угроз» стало классическим, и настоящая статья также построена по предложенной Г. Таллоком схеме – автор рассматривает, до какой степени каждая из этих трех угроз актуальна для КНДР и какими методами эта угроза нейтрализуется (а также то, почему в конкретных условиях КНДР эти методы оказались столь эффективными).

Уже в работах Г. Таллока был высказан тезис о том, что главной из трех угроз для авторитарного правителя является угроза со стороны элиты². Сейчас справедливость этого тезиса убедительно доказана на эмпирическом материале, и до некоторой степени сам тезис стал общепринятым. Э. Франц и Н. Эзроу, авторы одного из наиболее авторитетных исследований по политике авторитарных режимов, замечают, что авторитарные лидеры «куда чаще, чем членами оппозиционных групп, свергаются представителями их собственного внутреннего круга»³. По подсчетам М. Сволика, среди 303 авторитарных правителей, которые были отстранены от власти в период с 1945 по 2002 г., 205 правителей стали жертвой верхушечного заговора или переворота, в то время как лишь 30 правителей потеряли власть в результате революционных выступлений социальных низов⁴.

При рассмотрении механизмов стабильности северокорейского режима имеет смысл также учесть наблюдения Ж. Лашапеля и его коллег, которые в своей недавней статье обратили внимание на феномен «аномальной стабильности» таких авторитарных режимов, которые своими историческими корнями восходят к массовым революционным движениям и сформировались в условиях жесткого внешнего и внутреннего конфликта. Революция и конфликт на на-

1 Tullock 1987, 9–10.

2 Ibid., 10, 35.

3 Frantz, Ezrow 2011, 84.

4 Svolik 2009, 477–478.

чальном этапе истории режима ведут к формированию таких его особенностей, как: 1) сплоченность правящей элиты; 2) идеологическая надежность вооруженных сил; 3) эффективный аппарат принуждения; 4) отсутствие альтернативных центров политического влияния¹. Как мы считаем, революционная предыстория северокорейского режима в сочетании (что немаловажно!) с некоторыми социально-культурными особенностями восточноазиатского «конфуцианского»² (в терминах С. Хантингтона) мира во многом сформировала те условия, в которых северокорейская элита смогла создать и поддерживать в рабочем состоянии эффективную систему идеологического и политического контроля над населением.

Интерес для нашего исследования представляют также работы С. Гуриева и Д. Трейсмана³. Эти работы посвящены в первую очередь особенностям современных «мягких» диктатур и «гибридных режимов», к числу которых КНДР – автократия «старого типа» – заведомо не относится. Тем не менее в своих работах С. Гуриев и Д. Трейсман подчеркивают важное для нас обстоятельство – ту роль, которую в сохранении стабильности авторитарного режима играет контроль над информацией. Сочетание цензуры и умелой пропаганды позволяет убедить население в том, что режим и его руководитель отличаются высоким уровнем компетентности. При этом С. Гуриев и Д. Трейсман отмечают, что подобная пропаганда направлена в первую очередь на непривилегированные массы, в то время как элиты, как правило, имеют куда более адекватное представление о реальной ситуации, что вынуждает режим работать с ними, используя иные методы. Данные наблюдения, как будет показано ниже, вполне применимы к некоторым аспектам ситуации в Северной Корее, при том что по ряду иных параметров эта страна радикально отличается от тех режимов, которые изучают С. Гуриев и Д. Трейсман.

Однако основное внимание в данной работе будет уделено не общему, а специфическому. Мы сконцентрируемся на том, какие внешние и внутренние обстоятельства делают северокорейский режим столь стабильным и позволяют ему успешно противостоять «триаде угроз», выделенной Г. Таллоком.

Разделенная страна: огни Сеула

Хотя, как уже говорилось выше, в политической социологии давно утвердилась мысль о том, что основная угроза для авторитарного режима исходит от элиты, специфика ситуации в КНДР повышает вероятность «низового» народного выступления. Специфика эта определяется тем, что Северная Корея является частью разделенной страны.

К 1945 г. большая часть промышленности колониальной Кореи располагалась на нынешней территории Севера, в то время как Южная Корея, наобо-

1 Lachapelle et al. 2020, 557–600.

2 Термин «конфуцианский» характеризует страны и общества, в которых до 1850–1900 гг. наблюдались следующие черты: использование древнекитайского языка как главного или единственного языка администрации и высокой культуры; ориентация в организации государственного аппарата на образцы Китая (чаще всего – времен династий Хань и Тан); доминирование в религиозной жизни конфуцианства и китайского варианта буддизма; экономика, основанная на интенсивном сельскохозяйственном производстве, часто – рисовом.

3 Guriev, Treisman 2015; 2019.

рот, являлась тогда аграрным районом. В последующие десятилетия ситуация изменилась самым радикальным образом. Даже если верить собственным северокорейским оценкам, которые власти КНДР периодически в закрытом порядке передают иностранным специалистам, в 2017 г. номинальный душевой доход в Северной Корее составлял 1214 долларов США (эта цифра, скорее всего, завышена)¹. Поскольку в 2019 г. номинальный душевой доход в Республике Корея оценивался в 33790 долларов США², это означает, что по этому важнейшему макроэкономическому показателю между Северной и Южной Кореей существует 27-кратный разрыв – самый большой разрыв, который существует в мире между двумя государствами, имеющими общую сухопутную границу.

Положение КНДР принципиально отличается от, скажем, положения Китая. Успех Южной Кореи – это успех не просто соседней страны, а страны, населенной тем же этносом, людьми, которые в северокорейском официальном дискурсе считаются частью той же самой «общекорейской» нации³. Население Китая хорошо осведомлено об экономическом процветании Японии или США, но это очевидное процветание не может быть воспринято большинством китайцев как признак некомпетентности существующего в Китае политического режима: США и Япония являются зарубежными государствами, которые отличаются от Китая и историей, и географией, и культурой. При том, что формально Китай является разделенной страной, гигантский дисбаланс между «материковым» Китаем и Тайванем означает, что его успех относительно мало значим для судеб Китая. В случае же с двумя корейскими государствами успех некогда отсталой Южной Кореи будет наверняка воспринят как подтверждение того, что выбранная руководством КНДР еще в 1960-е гг. стратегия экономического и политического развития оказалась глубоко неудачной.

В случае с СССР и Восточной Европой в период 1960–1990 гг. именно демонстрационный эффект, производимый явным превосходством стран Запада в уровне жизни (и в меньшей степени – в вопросах индивидуальных и политических свобод), оказывал на население социалистических государств немалое воздействие, неуклонно размывая ту поддержку, которой на ранних этапах своей истории пользовались существовавшие там политические режимы.

Руководство СССР и государств Восточной Европы по ряду культурных, политических и технических причин не могло в годы холодной войны проводить политику самоизоляции с такой же жесткостью, с которой ее проводят в Северной Корее. Кроме того, советское руководство было уверено в своей способности держать ситуацию под контролем. Для северокорейской элиты, однако, очевидно, что само существование успешной и этнически близкой Южной Кореи создает угрозу политической стабильности в КНДР – и опыт Восточной Европы (в первую очередь – Германии) напоминает, что эта опасность реальна.

1 "North Korea's economy grows 3.7% in 2017," Kyodo News, October 12, 2018, accessed July 17, 2021, <https://english.kyodonews.net/news/2018/10/46a852b7c627-n-koreas-economy-grows-37-in-2017-professor.html>.

2 "Korea," World Bank Data, accessed July 17, 2021, <https://data.worldbank.org/country/korea-rep?view=chart>.

3 광명백과사전 2009, 234–256.

Разделенная страна: страхи и единство элиты

С точки зрения высшего руководства КНДР существование Южной Кореи является не только негативным, но и позитивным фактором. Парадоксальным образом оно вносит немалый вклад в дело обеспечения внутреннего единства северокорейской элиты, а именно: недовольство элиты, как уже говорилось выше, в последние 75 лет является главной опасностью для авторитарных режимов.

Существование Южной Кореи означает, что заметная часть северокорейской элиты уверена: сохранение существующего режима является необходимым условием для сохранения их власти и привилегий (а возможно – также свободы и жизни). Связано это с тем, что одним из наиболее вероятных исходов возможного кризиса в Северной Корее является объединение страны по германскому образцу. О том, что это осознается элитой, отчасти свидетельствует то обстоятельство (известное автору и из личного опыта, и из опыта коллег), что во время конфиденциальных разговоров с северокорейскими чиновниками, включая дипломатов и сотрудников спецслужб, они очень часто задают вопросы о том, как сложились судьбы восточногерманской партийно-государственной номенклатуры после объединения страны. Если в силу ослабления административно-полицейского и идеологического контроля большинство населения КНДР станет меньше опасаться наказания за политически неподобающее поведение, а также получит больше доступа к информации о жизни в Южной Корее, то существует большая вероятность того, что значительная часть северокорейцев поведет себя так же, как повели себя жители Восточной Германии: начнут требовать скорейшего объединения с Югом, исходя из того, что это объединение обеспечит им уровень жизни, сходный с южнокорейским. Противостоять подобному давлению властям будет непросто.

В большинстве стран Восточной Европы и бывшего СССР падение коммунистических режимов не привело к радикальным изменениям в персональном составе элиты. По большому счету, бывшая партийно-государственная номенклатура в этих странах легко отбросила марксистско-ленинскую риторику и объявила себя националистами или демократами (в зависимости от страны и ситуации), сохранив при этом политическую власть или же использовав эту власть для приобретения собственности. В результате во многих случаях (экс)номенклатура даже увеличила свои доходы и привилегии¹.

Однако подобный сценарий, стандартный для большинства стран бывшего социалистического содружества, в КНДР представляется невозможным. Точнее говоря, этот сценарий возможен только в том маловероятном случае, если падение режима семейства Ким не приведет к ликвидации северокорейской государственности. Однако в силу упомянутой выше потенциальной притягательности Юга падение режима с большой вероятностью спровоцирует объединение страны на южнокорейских условиях, то есть фактически приведет к поглощению бедного Севера сильным, богатым и многонаселенным Югом. При таком повороте событий северокорейская номенклатура неизбежно будет оттеснена и от власти,

1 King, Szelenyi 2005, 205–229.

и от собственности. Более того, существует вероятность того, что на номенклатуру будет возложена ответственность за все те проблемы, преступления и трагедии, которыми была отмечена история Северной Кореи.

В этой обстановке северокорейская правящая элита, численность которой можно оценить в несколько сот тысяч человек, понимает, что нестабильность – неизбежный результат даже успешного заговора или переворота – может привести к катастрофе. Даже те из членов элиты, которые по многим вопросам не согласны с нынешним руководством страны, имеют все основания для того, чтобы «не раскачивать лодку»: если эта «лодка» северокорейской государственности в результате перевернется, то в пучине пропадут представители всех группировок нынешней элиты. Это обстоятельство заставляет элиту проявлять крайнюю осторожность и существенно снижает вероятность того, что какие-то из ее группировок решатся на переворот или заговор – ведь даже успешный переворот может спровоцировать нестабильность, которая с большой вероятностью закончится реализацией в Корее «германского сценария».

Правда, сейчас в КНДР помимо старой номенклатуры существует и новая элита. В последние два-три десятилетия в стране возник новый экономический уклад – квазикапиталистическая экономика, существование которой открыто не признается, но с которой на практике государство обычно мирится и даже взаимодействует. В результате в стране сформировался новый класс полулегальной буржуазии, в руках у которого сосредоточены немалые средства¹.

В большинстве случаев подразумевается, что представители теневой буржуазии (условно говоря, «цеховики») в социалистических странах заинтересованы в падении существующего режима, так как устранение государственного социализма (или его остатков) освободит их от многочисленных ограничений, препятствующих частнопредпринимательской деятельности. Однако северокорейские предприниматели, насколько автор этих строк может судить и по опыту личного общения с ними, в своей массе вовсе не приветствуют идею революционных перемен.

Во-первых, все средние и крупные предприниматели в КНДР глубоко интегрированы в существующие государственные структуры. Продвинуться выше определенного уровня северокорейский предприниматель может только в том случае, если у него сложились отношения с государственными органами. Предприниматели могут заниматься своей деятельностью постольку, поскольку они тесно связаны с номенклатурой, пользуются ее покровительством и систематически это покровительство оплачивают, а в большинстве случаев – и формально регистрируют свои предприятия как государственную собственность². Падение существующей системы не соответствует их интересам, ибо у них нет уверенности в том, что им удастся встроиться в иную систему.

Во-вторых, северокорейский бизнес в случае объединения страны будет не в состоянии конкурировать с крупным южнокорейским капиталом, который при таком повороте событий, разумеется, придет на северокорейский рынок и мгновенно

1 Kim 2017.

2 Lankov, Ward 2017; 양문수, 윤인주 2016.

займет там доминирующие позиции. Самые богатые предприниматели в КНДР имеют в своем распоряжении оборотный капитал, измеряемый сотнями тысяч или (максимально) несколькими миллионами долларов. Для страны, где среднедушевой национальный доход составляет 1200 долларов, это, разумеется, огромные суммы. Однако эти суммы не выдерживают никакого сравнения с тем капиталом, который мог бы прийти с Юга. Кроме этого, у южнокорейских предпринимателей есть и соответствующие связи, и опыт. В случае объединения страны у нынешних теневых предпринимателей и цеховиков (их в Северной Корее называют *тончжу*, то есть «владыки денег») нет шансов на то, чтобы успешно конкурировать с южнокорейскими компаниями – и многие из них осознают это обстоятельство.

Неоднократно подчеркивалось, что для любого государства вопросы выживания являются абсолютно приоритетными и, следовательно, более важными, чем вопросы процветания. Такой взгляд с максимальной определенностью высказывали, в частности, Дж. Миршаймер, К. Уолтц и другие классики неореалистической школы¹. Однако в случае с Северной Кореей вопрос выживания стоит с необычной для нашего времени остротой. Когда о «выживании» говорит даже такой классик реалистической школы, как Дж. Миршаймер, он определяет его как «сохранение территориальной целостности и автономии внутриполитического устройства»². Действительно, в современном мире редко встречается ситуация, когда государству грозит полное поглощение, а его элите, включая и ее нижние слои, – полное отстранение от власти. Однако в КНДР элита сталкивается именно с этой угрозой. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что экзистенциальную угрозу Северу создает не сознательно проводимая Сеулом политика, а сам факт существования богатого Юга.

Таким образом, северокорейская элита постоянно сталкивается с угрозой такого уровня, который крайне редко встречается в современном мире. В большинстве случаев революционные перемены не затрагивают персонального состава средних и нижних слоев элиты: вне зависимости от того, кто окажется у власти в столице, командир танкового батальона останется командиром танкового батальона, а начальник уездного уголовного розыска – начальником уездного уголовного розыска (о том, что подавляющему большинству владельцев супермаркетов и автомастерских мало что грозит, не стоит и говорить). В Северной Корее дела обстоят иначе: не только «верхние 0,1%», но и вся элита в целом имеет веские основания считать, что кризис – или, если хотите, революция – лишат их всего.

Таким образом, наличие южнокорейской угрозы (которую, повторим, создает не проводимая Сеулом политика, а *сам факт существования* Южной Кореи) существенно повышает вероятность народного выступления. С другой стороны, оно существенно снижает вероятность элитного заговора, который, как говорилось выше, в исследовательской литературе считается самой распространенной из тех угроз, с которыми сталкивается авторитарный режим. В условиях, когда рациональные опасения за свое будущее объединяют все группировки и слои элиты, исходящая от нее угроза режиму ощутимо снижается.

1 Waltz 1979, 91–92; Mearsheimer 2001, 31.

2 Mearsheimer 2001, 31.

Факторы стабильности: эффективный административно-полицейский контроль

Когда речь идет о причинах, по которым северокорейская элита сумела сохранить свое господствующее положение, обычно речь заходит о полицейском контроле. Однако подобное представление во многом упрощает картину. Безусловно, способность режима контролировать население и его готовность к репрессиям сыграла большую роль в его выживании, но эта его способность не является ни единственным, ни даже главным фактором успеха. Тем не менее отрицать роль административно-полицейского контроля не следует.

С начала 1960-х гг. в КНДР население контролировали куда жестче, чем в большинстве стран социалистического содружества. Как уже говорилось выше, мы согласны с Ж. Лашапелем и его коллегами, которые считают, что для режимов, которые являются продуктами массового революционного движения, характерны, помимо всего прочего, высокая сплоченность правящей элиты, наличие эффективного аппарата принуждения и отсутствие альтернативных центров влияния¹. Эти особенности делают возможным создание исключительно эффективной системы контроля над населением.

С 1960-х гг. любой совершеннолетний гражданин КНДР по месту работы или учебы в обязательном порядке прикреплен к определенной «общественно-политической организации» (партийной, молодежной, профсоюзной, женской и т.д.), в которой и ведет так называемую «организационную жизнь». «Организационная жизнь» предусматривает участие в регулярных (2–4 раза в неделю) политзанятиях и иных мероприятиях, в том числе и в еженедельных собраниях самокритики, на которых он должен «выступить с самокритикой», то есть отчитаться о совершенных им на протяжении предшествующей недели прегрешениях². По месту жительства жизнь граждан КНДР контролируется так называемой «народной группой» – группой взаимного контроля, в состав которой входят от 15 до 40 семей, живущих в одном квартале или в одном подъезде. Ответственный за эту группу чиновник обязан проводить периодические проверки находящихся в ее подчинении домов (начальниками «народной группы» всегда являются женщины). Кроме того, полиция и иные государственные органы проводят внезапные ночные обыски-проверки всех домохозяйств той или иной «народной группы»³.

Помимо постоянного контроля над словами и действиями практически всего населения страны существующая система также не допускает возникновения горизонтальных социальных связей и неформальных организаций, которые могли бы стать ядром политического движения. Любая общественная деятельность, даже самая безобидная, возможна только в рамках той или иной «организации» и находится под постоянным контролем.

1 Lachapelle et al. 2020.

2 Lankov et al. 2012.

3 채경희 2008.

Факторы стабильности: политика самоизоляции

Как уже говорилось выше, существование экономически успешной Южной Кореи представляет собой потенциально дестабилизирующий фактор, нейтрализация которого является необходимым условием сохранения политической стабильности. В КНДР проводится в жизнь целый комплекс мер, направленных на нейтрализацию негативного влияния, которое могут оказать сведения об уровне и стиле жизни в «другой Корее» на состояние умов в стране, однако решающую роль играет политика самоизоляции. Иначе говоря, северокорейское государство, имея в своем распоряжении необычайно эффективный для такой бедной страны административно-полицейский аппарат, использует его для того, чтобы максимально ограничить распространение в стране нецензурированной информации о внешнем мире.

Политика самоизоляции в Северной Корее осуществляется с начала 1960-х гг., то есть со времен кризиса в советско-северокорейских отношениях. На первых этапах эта политика была направлена против распространения в КНДР информации о советской модели социализма, которая тогда была потенциально привлекательна для заметной части населения страны. Однако по мере того как Южная Корея богатела, главные задачи этой политики менялись, и после 1975 г. она направлена в первую очередь на то, чтобы предотвратить распространение информации о Юге.

Около 1960 г. студенты из КНДР, обучавшиеся в СССР и иных социалистических странах, были отозваны на родину, после чего отправка студентов за границу практически прекратилась (ее возобновили в конце 1970-х гг., но в куда более скромных масштабах). Частные поездки за границу были фактически запрещены до конца 1990-х гг., хотя в настоящее время в ограниченном объеме разрешаются поездки в Китай. Одновременно с этим было запрещено ведение переписки с родными и знакомыми, проживающими в других странах. Количество находящихся в КНДР иностранцев сведено к минимуму, а их пребывание организовано таким образом, чтобы свести к минимуму любые неконтролируемые контакты между ними и местным населением.

Все нетехнические зарубежные публикации поступают в спецхран, где с ним могут знакомиться только те граждане КНДР, у которых оформлены соответствующие допуски. В конце 1960-х гг. в Северной Корее была проведена кампания по изъятию из открытых библиотек и частных собраний «идеологически неправильной» литературы и ее последующему уничтожению. В частности, тогда была физически уничтожена практически вся литература, изданная до 1945 г. и находившаяся в частных руках, а также значительная часть переводных текстов более позднего периода, в том числе и книги советских, китайских и восточноевропейских писателей, опубликованные в 1945–1965 гг.¹

Радиоприемники, производящиеся в КНДР, с 1960-х гг. не имеют механизма настройки и оснащены фиксированной настройкой на те частоты, на которых ведется официальное радиовещание. В случае покупки приемника со свободной

1 Park 2017.

настройкой (за границей или в валютном магазине) этот приемник необходимо сдать в полицию для блокирования настройки¹.

В последние годы северокорейское руководство постаралось модернизировать систему информационного контроля, принимая во внимание те угрозы, которые создает распространение цифровых технологий. В частности, в Северной Корее для частных лиц не существует доступа к «большому Интернету», хотя при этом они могут пользоваться общенациональным интранетом – сетью Кванмён, которая по своей структуре и технологии скопирована с привычного нам Интернета, но с ним физически не соединена².

После 2000–2005 гг. в КНДР получили большое распространение южнокорейские фильмы и телесериалы, которые ввозились контрабандно из Китая (сначала на видеокассетах, а потом – на видеодисках и USB)³. Чтобы затруднить использование компьютеров для просмотра подобных материалов и, шире, для распространения не одобренной правительством информации, с 2015 г. в КНДР начался перевод имеющихся в стране компьютеров на операционную систему «Пульгын пёль», которая является местным вариантом *Linux*. Одной из особенностей этой системы является то, что она не позволяет открывать аудио-, видео- и текстовые файлы, на которых нет цифровой подписи властей и которые, соответственно, могут содержать нежелательную информацию⁴. Это крайне затрудняет обмен видео- и аудиопродукцией иностранного происхождения, а также не прошедшими цензуру текстовыми файлами.

Факторы стабильности: ядерное оружие

Как уже было упомянуто, внешнее вторжение является одной из трех главных угроз, с которыми, по схеме Г. Таллока, имеет дело авторитарный режим.

В этой связи разработка ядерного оружия и систем его доставки оказывается важной частью мероприятий, направленных на сохранение существующего режима. КНДР начала работу над ядерным оружием еще в начале 1960-х гг. и все это время неуклонно продвигалась к своей заветной цели – созданию полноценных ядерных сил.

Создание ядерного оружия в первую очередь должно служить задачам сохранения режима. Даже теоретическая вероятность того, что в распоряжении руководства той или иной страны имеется некоторое количество ядерных зарядов (в сочетании с уверенностью в том, что руководство страны этими зарядами может реально воспользоваться) является эффективным средством сдерживания, то есть практически исключает любое иностранное нападение, равно как и открытое вмешательство во внутренний кризис. Понимание этого обстоятельства и определяет политику руководства КНДР по ядерному вопросу⁵.

1 통일부, “북한 이해 (Understanding of North Korea),” accessed July 27, 2021, https://www.unikorea.go.kr/books/understand/understand/ebook/under_NK_2017/index.html#page=1.

2 Pinkston 2020, 81–82.

3 Kang Tong-wan, Pak Chông-ran 2012.

4 Williams 2019.

5 Обычно выделяется три обязательных условия успешной реализации политики сдерживания: 1) наличие у сдерживающей стороны соответствующего потенциала; 2) вера в реальность того, что этот потенциал будет использован; 3) возможность продемонстрировать оппоненту реальность угрозы. Как легко увидеть, политика КНДР по ядерному вопросу полностью соответствует этим критериям. См.: Paul 2009, 2.

В первом приближении северокорейская ядерная программа обеспечивает достижение трех стратегических целей.

Во-первых, ядерное оружие является средством сдерживания, обеспечивает безопасность режима, делая невозможной как прямую внешнюю агрессию, так и активное внешнее вмешательство во внутренний кризис. С точки зрения КНДР, именно наличие ядерного оружия является единственной надежной гарантией безопасности страны и режима.

Наиболее опасным для руководства КНДР в настоящее время представляется «ливийский сценарий», который предусматривает сочетание внешнего вторжения с внутренним кризисом. Как известно, в 2003 г. ливийский руководитель полковник М. Каддафи согласился свернуть ядерную программу в обмен на снятие с Ливии международных санкций. В 2011 г. в Ливии произошли массовые выступления против режима М. Каддафи. Хотя, судя по всему, на тот момент большинство населения страны выступало против его режима, у М. Каддафи было и определенное количество сторонников. Кроме этого, на его стороне находилась значительная часть силовых структур, в том числе и ливийской армии. В этих условиях М. Каддафи мог использовать преимущества регулярных вооруженных сил, а также господство в воздухе и подавить антиправительственные выступления. Однако подобный поворот событий стал невозможным в результате вмешательства стран НАТО, которые установили на территориях, являвшихся главными базами антиправительственных сил, режим «бесполетных зон». Это лишило сторонников правительства возможности использовать против революционных сил авиацию, что в итоге привело к падению режима М. Каддафи и его гибели.

Северокорейская печать не часто упоминает и о печальной судьбе М. Каддафи, но зато уделяет много внимания американскому вторжению в Ирак, трактуя эти события как прямое доказательство того, что Северной Корее необходимо сохранять и развивать силы ядерного сдерживания¹. Скорее всего, данная интерпретация (надо признать, вполне логичная) полностью отражает восприятие ситуации руководством КНДР.

Во-вторых, ядерное оружие служит важным инструментом дипломатии или, скажем прямо, дипломатического шантажа. По большому счету, именно наличие ядерной программы привело к тому, что КНДР – по сути, небольшая страна с микроскопическим экономическим потенциалом – играет непропорционально большую роль на международной арене. Неоднократно руководство КНДР извещало готовность пойти на определенные (иногда – тактические, а временами – и просто символические) уступки по ядерному вопросу в обмен на получение экономической помощи². Собственно, упомянутое выше «Рамочное соглашение» 1994 г. представляет собой типичный для КНДР компромисс такого рода: Пхеньян согласился приостановить свои работы над ядерным оружием в обмен на помощь, в которой на тот момент он остро нуждался.

В-третьих, в долгосрочной перспективе развитие ядерного оружия – в особенности в сочетании с межконтинентальными баллистическими ракетами –

1 "Foreign Ministry Spokesman Denounces US Military Attack on Libya," DPRK Foreign Ministry, KCNA, March 22, 2011, accessed August 2, 2021, <http://surl.li/abjjn>.

2 Meer 2011, 53–66.

может сделать возможной нейтрализацию фактора американского военного присутствия в Северо-Восточной Азии. Речь идет о том, что, имея дело с Северной Кореей, которая теоретически может нанести ядерные удары по американским городам, в случае кризиса США могут и отказаться от решительных действий в поддержку своего южнокорейского союзника. Таким образом, в дальней перспективе руководство КНДР увеличит шансы если не на объединение страны на своих условиях, то по крайней мере на установление определенного контроля над действиями Южной Кореи.

Именно та ключевая роль, которую ядерное оружие играет в северокорейской стратегии выживания, обрекает на провал все попытки «решить ядерную проблему» – если, конечно, под «решением» понимать ядерное разоружение КНДР. В Пхеньяне вполне сознают, что сохранение ядерного оружия будет означать, что страна останется изгоем в системе международных отношений и будет испытывать серьезные проблемы при налаживании международных экономических связей. Однако бесспорная приоритетность вопросов выживания означает, что неизбежные негативные экономические последствия, к которым ведет существование ядерной программы, отходят на второй план.

Дополнительную роль играет, конечно, то обстоятельство, что северокорейская элита во многом защищена от наиболее суровых экономических последствий проводимой ею политики. Иначе говоря, даже в том случае, если международные санкции, являющиеся реакцией на ядерную программу, приведут к кризису, по масштабам сравнимому с катастрофой 1996–2000 гг., представителям элиты едва ли будет грозить голод – хотя, конечно же, престижное потребление им при этом придется ограничить. Это не означает, что элита совершенно равнодушна к страданиям простого народа. Однако вопросы благосостояния и даже физического выживания большей части населения является для лиц, принимающих решения в Пхеньяне, менее приоритетной задачей, чем обеспечение внешней безопасности и внутренней стабильности. С другой стороны, характер политического режима в КНДР делает руководство КНДР менее чувствительным к санкциям и экономическим формам внешнего давления – конечно, при условии сохранения высокого уровня политического контроля и информационной самоизоляции.

Факторы стабильности: дипломатия выживания

Немалый вклад в дело выживания северокорейской государственности на протяжении 1990–2020 гг. внесла и дипломатия. Впрочем, во многом Северной Корее просто повезло с ее международным положением – хотя это замечание, конечно же, не умаляет заслуг северокорейских дипломатов, которые этим везением виртуозно воспользовались.

Основой дипломатической стратегии КНДР всегда было манипулирование великими державами и игры на их противоречиях. С конца 1950-х гг. и вплоть до окончания холодной войны, то есть на протяжении почти трех десятилетий, северокорейская дипломатия с исключительным мастерством играла на противоречиях между Пекином и Москвой. Северная Корея ухитрялась получать заметную экономическую помощь (и прямую, и косвенную) со стороны обеих

соперничающих держав, не идя при этом на серьезные уступки ни Советскому Союзу, ни Китаю. По большому счету, северокорейская дипломатия добилась от своих богатых и влиятельных соседей того, что и Москва, и Пекин на протяжении нескольких десятилетий платили Пхеньяну просто за сохранение нейтралитета в советско-китайском конфликте.

Традиция игры на противоречиях великих держав была продолжена и в последующие десятилетия, когда главными объектами этой игры стали Китай, США и Южная Корея. По большому счету, только в 2017 г. Северная Корея на протяжении очень непродолжительного времени столкнулась с единым фронтом международного сообщества, в первую очередь – с единым фронтом Китая и США. Однако в настоящее время ситуация опять изменилась в благоприятную для Северной Кореи сторону.

Решающую роль в этом играет, конечно же, новое американо-китайское противостояние. На протяжении большей части своей истории Северная Корея подчеркивала свою роль стратегического буфера – зоны, в нейтральности которой заинтересованы все ее соседи. В настоящее время Китай заинтересован в буферной зоне около своих границ. Нестабильность в Северной Корее не входит в китайские интересы, так как она может привести к падению режима и объединению страны под контролем Сеула – причем объединенная Корея с большой вероятностью сохранит союзные отношения с США и, возможно, даже допустит сохранение на своей территории американских военных баз.

В этой обстановке китайское руководство, несмотря на ту неприязнь, которую в истеблишменте КНР испытывают по отношению к КНДР, и на неодобрительное отношение Пекина к северокорейским ядерным амбициям, оказалось в ситуации, когда КНР *вынуждена* оказывать Северной Корее минимальную поддержку и обеспечивать ее существование. В принципе, переход к этой стратегии наметился еще в 2005–2010 гг. и был связан в первую очередь именно с обострением китайско-американских противоречий. Однако сейчас, когда, похоже, начинается американо-китайская холодная война, стратегическая ценность Северной Кореи существенно возрастает – и это обстоятельство в Пхеньяне отлично осознают¹.

При этом надо помнить, что в Пхеньяне не склонны с излишним вниманием прислушиваться к советам и тем более указаниям, которые поступают от стран, казалось бы, являющихся спонсорами КНДР. В свое время, в шестидесятые и семидесятые, Северная Корея, сильно зависевшая от советской помощи, регулярно предпринимала действия, которые прямо противоречили интересам Москвы и вызвали немалое раздражение в Кремле и на Смоленской площади. Нет оснований думать, что в настоящее время ситуация изменилась. В Пхеньяне отлично понимают, что Китай поддерживает Корею не по идеологическим соображениям и тем более не из какой-либо симпатии, а исходя исключительно из своих интересов. Понимают там также и то, что Китай готов мириться со многими пхеньянскими эскападами, ибо для Пекина выгоды от сохранения статус-кво на Корейском полуострове в целом перевешивают те проблемы, которые

1 Zhao 2020.

создаются ядерными амбициями Пхеньяна и его склонностью к силовой, часто – прямо провокационной, политике.

Вместо заключения: цена успеха

Как уже говорилось, северокорейская автократия – режим семьи Ким – продемонстрировала исключительную эффективность в борьбе с той «триадой угроз», с которой сталкиваются авторитарные режимы.

Вероятность выступления низов (объективно весьма высокая в силу раздела страны и существования богатого Юга) нейтрализуется как эффективной работой полицейского аппарата, так и жестким информационным контролем. Контроль и цензура, в полном соответствии с положениями С. Гуриева и Д. Трейсмана, направлены на неэлитные слои населения и призваны создать у этих слоев впечатление об исключительной эффективности режима.

Вероятность заговора в рядах элиты снижается не только использованием традиционных для автократий методов контроля над аппаратом, но и спецификой ситуации, при которой угроза поглощения богатым соседом заставляет элиту забывать о внутренних распрях. Дополнительную роль играет и то обстоятельство, что для автократий, являющихся по своему происхождению продуктами массовых революционных движений, как отмечал Ж. Лашапель, в целом характерно повышенное единство элит.

Наконец, вероятность смены режима в результате действий внешних сил резко снижается в силу наличия у КНДР ядерного оружия – абсолютного средства сдерживания.

Однако у политики выживания, которую столь успешно проводит КНДР, есть и оборотная сторона. Эта политика во многом затрудняет или даже делает невозможным принятие многих мер, которые в долгосрочной перспективе могли бы привести к улучшению экономического положения и запустить механизмы экономического роста. В современном мире это выглядит несколько парадоксально, ибо мы привыкли к тому, что как популярность, так и, следовательно, стабильность того или иного режима – как демократического, так и авторитарного – в первую очередь зависит от его способности обеспечить населению приемлемый уровень жизни. Однако особенность северокорейской ситуации заключается в том, что вопросы экономического роста для элиты вторичны по сравнению с вопросами сохранения стабильности, которые, с ее точки зрения, являются, напомним, вопросами выживания и в силу этого имеют абсолютный приоритет.

Жесткий полицейский контроль над населением означает, что у элиты нет особой необходимости беспокоиться о поддержке снизу. Кроме этого, хорошо (или скорее интенсивно) работающий пропагандистский аппарат, поддержание в стране атмосферы «осажденной крепости» и эффективная система самоизоляции означает, что заметная часть населения страны будет поддерживать существующий режим вне зависимости от того, как обстоят дела в национальной экономике – просто в силу того, что этот режим будет восприниматься многими как гарантия сохранения государственности и нации. В стране нет сил, которые бы могли оказывать на политическую элиту давление, добиваясь от нее принятия мер, направленных на восстановление и развитие экономики страны.

Поэтому мы имеем дело с необычной для современного мира ситуацией – с государством, у которого соображения собственной безопасности практически полностью определяют и внутреннюю, и внешнюю политику. Судя по всему, эта ситуация едва ли изменится в обозримом будущем.

Это не обязательно означает, что Северная Корея обречена на то, чтобы на протяжении многих десятилетий оставаться крайне бедной страной со стагнирующей экономикой – хотя и такого сценария / развития событий исключать нельзя. Существует вероятность того, что Ким Чен Ын и его окружение будут проводить реформы, направленные на развитие рыночных отношений – конечно, сохраняя при этом и высокоэффективный репрессивный аппарат, и изоляцию страны, и ядерное оружие. Подобная политика реформ проводилась в 2011–2015 гг., хотя в последнее время эти реформы, поначалу весьма успешные, оказались приостановлены, а после 2020 г. – обращены вспять. Тем не менее северокорейское общество и государство устроены таким образом, что вопросы экономического развития в обозримом будущем будут оставаться вторичными и при первых признаках опасности для режима элита будет легко жертвовать экономическим развитием страны. К сожалению (не столько для внешних наблюдателей, сколько для большинства населения КНДР), в условиях разделенной страны подобная политика, с точки зрения элиты, является рациональной и не имеет альтернатив.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Frantz, Erica, and Natasha Ezrow. *The Politics of Dictatorship: Institutions and Outcomes in Authoritarian Regimes*. Boulder CO: Lynne Rienner Publishers, 2011.

Guriey, Sergei, and Daniel Treisman. "Informational Autocrats." *The Journal of Economic Perspectives* 33, no. 4 (2019): 100–127.

Guriey, Sergei, and Daniel Treisman. *How Modern Dictators Survive: An Informational Theory of the New Authoritarianism*. Working Paper 21136. Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research, 2015.

Kang Tong-wan, and Pak Chŏng-ran. *The Korean Wave, the Wind of Unification*. Seoul: Myŏngmunhwa-sa, 2012.

Kihl, Young Whan. "U.S.–DPRK nuclear accord and KEDO." *Asian Perspective* 21, no. 2 (1997): 99–117.

Kim, Byung-Yeon. *Unveiling the North Korean Economy: Collapse and Transition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

King, Lawrence, and Ivan Szelenyi. "Post-Communist Economic Systems." In *Handbook of Economic Sociology (Second Edition)*, edited by Neil Smelser and Richard Swedberg. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.

Lachapelle, Jean, Steven Levitsky, Lucan Way, and Adam Casey. "Social Revolution and Authoritarian Durability." *World Politics* 72, no. 4 (2020): 557–600.

Lankov, Andrei, and Peter Ward. "Making Money in the state: North Korea's Pseudo-State Enterprises in the early 2000s." *Journal of East Asian Studies* 17, no.1 (2017): 51–67.

Lankov, Andrei, In-ok Kwak, and Choong-Bin Cho. "The Organizational Life: Daily Surveillance and Daily Resistance in North Korea." *Journal of East Asian Studies* 12, no. 2 (2012): 193–214.

Lim, Wonhyuk. *The Anatomy of a Failure: The Geneva Agreed Framework of 1994*. Seoul: Korea Development Institute, 2004.

McCormack, Gavan. *Target North Korea: Pushing North Korea to the Brink of Nuclear Catastrophe*. New York: Nation Books, 2004.

Mearsheimer, John. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W. W. Norton & Company, 2001.

Meer van der, Sico. "Geopolitics and Nuclear Weapons: North Korean Provocations as a Tool for Regime Survival." *Studia Diplomatica* 64, no. 3 (2011): 53–66.

Park, Mihyang. "A Study on the Library Cooperation between South and North for the Unified Korea." *Journal of the Korean Society for Information Management* 34, no. 1 (March 30, 2017): 317–40. doi:10.3743/KOSIM.2017.34.1.317.

Paul, T.V. "Complex Deterrence: An Introduction." In *Complex Deterrence: Strategy in the Global Age*, edited by T.V.Paul. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.

Pinkston, Daniel. "North Korea's Objectives and Activities in Cyberspace." *Asia Policy National Bureau of Asian Research* 15, no. 2 (2020): 76–83.

Svolik, Milan. "Power Sharing and Leadership Dynamics in Authoritarian Regimes." *American Journal of Political Science* 53, no. 2 (2009): 477–494.

Tullock, Gordon. *Autocracy*. Dordrecht: Springer Media, 1987.

Waltz, Kenneth. *Theory of International Politics*. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co., 1979.

Williams, Martyn. *Digital Trenches: North Korea's Information Counter-Offensive*. Washington: HRNK, 2019.

Zhao, Tong. "China's Dilemmas over Stalled North Korean Denuclearization Talks." *Journal for Peace and Nuclear Disarmament* 3, no. 1 (2020): 157–162.

광명백과사전 (Kwangmyŏng Encyclopaedic Dictionary). 평양: 백과사전출판사, 2009 [In Korean].

양문수, 윤인주. «북한 기업의 사실상의 사유화 - 수준과 추세에 관한 정량적 분석 - » 통일연구20, no. 2 (2016): 45–88.

Moon Soo Yang, In Joo Yoon. "De Facto Privatization of North Korean Enterprises - A Quantitative Approach on Level and Trend - " *Korean Unification Studies* 20, no.2 (2016): 45–88 [In Korean].

채경희. «북한 인민반의 조직, 역할과 기능에 관한 연구.» 예술인문사회융합멀티미디어논문지 7, no. 5 (May 2017): 809–19. <http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4050026033539>.

Hee, Chae Kyung. "Study on the Organization, Role and Function of North Korean Inminban." *Asiatic Journal of Multimedia services convergent with Art, Humanities, and Sociology*, 7 (2017): 809–819 [In Korean].

Сведения об авторе

Андрей Николаевич Ланьков,

к.ист.н., профессор Университета Кукмин, 77 Jeongneung-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu Сеул, Республика Корея.

e-mail: andreilankov@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0876-880X

Дополнительная информация

Поступила в редакцию: 22 февраля 2021.

Переработана: 7 июля 2021.

Принята к публикации: 17 июля 2021.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Цитирование

Ланьков, А.Н. Северокорейское чудо: 30 лет выживания в условиях кризиса и изоляции // Международная аналитика. – 2021. – Том 12 (2). – С. 31–48. <https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-31-48>

North Korean Miracle: 30 Years of Surviving Crisis and Isolation

ABSTRACT

The article examines those factors that allowed the Kim family regime to stay in power in extremely unfavorable environment. In political science literature, it is generally accepted that an authoritarian regime faces three major threats: an elite conspiracy/coup, a mass protest, a foreign invasion. The article demonstrates that in the case of the DPRK, which is a much poorer part of a divided country, the potential threat of mass popular protests might be higher than in many other authoritarian regimes. However, the autocrat and his entourage successfully counter this threat by exercising an unusually thorough policy of informational self-isolation, further reinforced by strict administrative control and police surveillance. On the other hand, the ever present threat of Seoul-led "unification-by-absorption" strengthens the elites' unity and reduces the likelihood of conspiracies. This is important since elite conspiracies and coups have constituted the major

danger for post-1945 autocracies. North Korean elites understand that even a successful coup can eventually provoke the outbreak of popular discontent, followed by the collapse of North Korean statehood and German-style unification under Seoul's control. Under this scenario, conspiracy's winners and losers will perish alike, with all members of the current elite having little chance to retain their power and privileges. Hence, the elite has reasons not to "rock the boat." Finally, the threat of a foreign invasion (or foreign intervention into a domestic crisis) is successfully neutralized by the existence of a nuclear deterrent. Since the North Korean faces a grave existential threat which is created by the existence of the South, it is ready to sacrifice the economic development for the sake of political stability. Hence, the elite is willing to invest large resources into military programs and overlook the difficulties the self-isolation and other survival-oriented policies create for the economic development of the country.

KEYWORDS

Authoritarianism, regime stability, North Korea, Kim Jong Un, DPRK, nuclear weapons, deterrence

Author

Andrei N. Lankov,

Professor, Kookmin University, 77 Jeongneung-ro, Seongbuk-gu,
Seoul 02707, Korea.

e-mail: andreilankov@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0876-880X

Additional information

Received: February 22, 2021. Revised: July 7, 2021. Accepted: July 17, 2021.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author.

For citation

Lankov, Andrei N. "North Korean Miracle: 30 Years of Surviving Crisis and Isolation."

Journal of International Analytics 12, no. 2 (2021): 31–48.

<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-31-48>

Стратегическая автономия Республики Корея: интеллектуальная химера или политическая реальность?

Константин Валерианович Асмолов, Институт Дальнего Востока РАН,
Москва, Россия

Александр Валерьевич Соловьев, НИУ ВШЭ, Москва, Россия

Контактный адрес: asmolov@ifes-ras.ru

АННОТАЦИЯ

Набравший в последние годы в Республике Корея популярность дискурс о «стратегической автономии» до сих пор остается без серьезной теоретической актуализации. Данная статья пытается восполнить этот пробел на основе изучения южнокорейского дискурса о «средних державах», из которого вырос дискурс о «стратегической автономии», и социально-исторического анализа представлений корейцев о политической субъектности, развивавшихся под мощным влиянием как западных идей начала XX в., так и политических реалий военного альянса с США. В первом разделе статьи авторы рассматривают особенности использования Южной Кореей понятия «стратегическая автономия» применительно к ее внешнеполитической стратегии. Данный концепт рассматривается с использованием конструктивистской парадигмы. Во втором разделе авторы рассматривают дискурс «средней державы», вокруг которого и выстраивается концепция «стратегической автономии». По сравнению с первым, данный концепт довольно подробно разработан в западном и корейском политических дискурсах. Наконец, третий раздел статьи посвящен изучению эволюции этих концептов в южнокорейском дискурсе. Исключительно важную роль в этой эволюции играют обстоятельства формирования и развития военно-политического союза с США, а дискурс вокруг его перспектив во многом определяет особенности внутренней политики страны. Авторы приходят к выводу о том, что с академической точки зрения понятие «стратегическая автономия» может считаться лишь дискурсивной категорией, близкой к понятию «хеджирование» (*hedging*), но оно является важным элементом политической идентичности Южной Кореи и существенным фактором внутривнутриполитической борьбы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

стратегическая автономия, средняя держава, хеджирование, альянс РК и США, системное воздействие, дискурс, гибкие коалиции

В последние годы в лексиконе международных прижилось выражение «стратегическая автономия». Как правило, его применяют для описания политики Евросоюза, но этим же термином активно оперирует, например, политическое руководство Индии. Значительное место он занимает и во внешнеполитической риторике Южной Кореи. При этом серьезных академических исследований, посвященных этой категории, до сих пор почти не проводилось.

В первом разделе статьи мы попытаемся исследовать содержание южнокорейского дискурса о «стратегической автономии» и предложить концептуализацию этого понятия, привлекая по мере необходимости материалы общетеоретических и эмпирических исследований. Нам представляется, что своего рода ретроспективный анализ этой концепции в рамках конструктивистского подхода будет наиболее продуктивен в силу как дискурсивного характера самого понятия «стратегической автономии», так и тесной связи его с корейской политической идентичностью.

Во втором разделе статьи мы рассмотрим дискурс вокруг концепции «средней державы» (*middle power*), поскольку именно в его рамках сформировался дискурс о «стратегической автономии» в его современном виде. Эта концепция достаточно подробно освещается корейскими и западными специалистами, а с недавних пор серьезное внимание ему начали уделять и отечественные корееведы.

Однако углубленный анализ этих идей без серьезного социально-исторического обзора представлений корейцев о политической субъектности был бы неполным. Третий раздел статьи посвящен генезису и эволюции этих представлений. Исключительно важную роль в этой эволюции играют обстоятельства формирования и развития военно-политического союза с США, а дискурс вокруг его перспектив во многом определяет особенности внутренней политики РК и дискурс вокруг «стратегической автономии».

Мы посчитали возможным обойтись без отдельного обзора литературы и источников – базовые работы по теории альянсов или концепции «средней силы» известны достаточно широко, а конкретные статьи, к которым обращались в ходе исследования, мы характеризовали по мере необходимости в самом тексте.

Тем не менее мы считаем необходимым отметить одну специфическую особенность отечественного корееведения. Наши специалисты порой с некоторым скепсисом относятся к теоретическим концепциям, выходящим за рамки реалистской парадигмы, а международники-теоретики редко обладают глубоким знанием корейской фактуры. Впрочем, это несколько не мешает первым осуществлять высококачественный эмпирический анализ этой фактуры, а вторым – пользоваться результатами этого анализа. Такие фундаментальные работы, как «Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории» А.В. Торкунова, В.И. Денисова, Вл.Ф. Ли или «Современная Корея. Метаморфозы турбулентных лет» А.В. Торкунова, Г.Д. Толорая и И.В. Дьячкова, предлагают специалистам глубокий и всесторонний эмпирический анализ развития ситуации на полуострове и в регионе в целом с акцентом на специфичности ситуации (и, возможно, с некоторым «перекосом» в сторону КНДР, который вполне оправдан тем, что именно Пхеньян является основным «возмутителем спокойствия» в регионе и драйве-

ром изменения статус-кво). Монография К.В. Асмолова «Корейская политическая культура: традиция и трансформация» подчеркивает необходимость учитывать эволюцию и преемственность политических идей.

Мы практически не обращались к этим работам напрямую (мы не цитируем их и не включаем в библиографию), поскольку сосредоточились прежде всего на корейском дискурсе, однако хотим подчеркнуть, что для понимания и оценки внешней и внутренней фактуры корейской политики эти работы исключительно важны. Без хорошего знакомства с ними любая попытка анализа корейской внешнеполитической проблематики была бы неполной.

Риторика стратегической автономии

Впервые публично и официально о стратегической автономии Республики Корея (РК – далее) заговорил, по всей видимости, в марте 2005 г. тогдашний премьер-министр Ли Хэчхан. Выступая перед чиновниками МИДа, глава правительства отметил, что «Корее пришло время принять независимую геополитическую доктрину, которая выйдет за пределы догматов холодной войны, направленных на сдерживание Китая и Северной Кореи»¹.

Это заявление было сделано в период довольно бурного развития событий в регионе. В феврале 2005 г. КНДР официально объявила о том, что страна обладает ядерным оружием (из ДНЯО Пхеньян вышел двумя годами ранее); жесткие требования Вашингтона усилить давление на северокорейский режим не встретили понимания в Сеуле; японо-южнокорейские отношения в очередной раз обострились из-за конфликта вокруг принадлежности острова Токто. Летом того же года возобновились шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР, на которых Южная Корея фактически выступила против США, солидаризировавшись с РФ и КНР.

Однако в дальнейшем ни теоретического, ни структурного, ни даже идейного наполнения идея стратегической автономии, по сути, не получила. Даже в программном тексте о «Новой Южной политике» с громким подзаголовком *Korea's Newfound Ambition in Search of Strategic Autonomy*² понятие «стратегическая автономия» не определяется – она просто принимается как данность.

Вполне вероятно, что в текст этой политической декларации, созданной на платформе французского аналитического центра *The French Institute of International Relations (IFRI)*, понятие «стратегическая автономия» перешло из европейского политического дискурса. Там оно с подачи Франции³ прижилось довольно давно. Одна из немногочисленных попыток теоретического осмысления этого конструкта предполагает, что концепция «стратегической автономии» восходит к обсуждению вопросов стратегической безопасности Европы, означает «желание Европы действовать на мировой арене в одиночку» и подразумевает «стремление Европы избавиться от взаимозависимости от мира, в создании кото-

1 Ahn Sung-kyu, Min Seong-jae, "Prime Minister Seeks Strategic Independence," Joongang Daily, March 30, 2005. Цит. по: Shin 2016, 197.

2 Choe 2021.

3 Mauro 2018, 4. Отцом французской стратегической автономии стоит, вероятно, считать Ш. де Голля, использовавшего этот термин публично еще в 1950 г., а на уровне политической доктрины в официальном документе она впервые упоминается в *Livre Blanc sur la Defense* 1994 г.

рого она принимала участие в последние несколько десятилетий»¹. М. Леонард и Дж. Шапиро также замечают, что подобный подход имплицитно подразумевает антиамериканизм – впрочем, другие авторы придерживаются противоположного мнения².

Фактически сегодня на теоретическом уровне концепция «стратегической автономии» не концептуализирована. В академических работах на английском и корейском³ языках термин *strategic autonomy* (кор. *чоллякчок чаюльсонъ*) встречается заметно реже, чем в выступлениях политиков (чаще используют либо просто *autonomy* / *чаюльсонъ*, либо *agency*, либо *sovereignty*). В публицистике же (прежде всего консервативной) термин *чоллякчок чаюльсонъ* используется скорее как антитеза «политическому пейоративу» *чоллякчок мохосонъ* («стратегическая двусмысленность / нерешительность»)⁴ – негативному эвфемизму для обозначения концепции «сбалансированной / гибкой дипломатии» (*balanced diplomacy*). Впрочем, эту тактику некоторые до сих пор считают вполне действенным способом балансировать между различными интересами как крупных, так и более мелких держав в регионе⁵.

Интересно, что оформившаяся в политический мейнстрим при администрации Но Мухёна (2003–2008) идея «гибкой дипломатии» отходит от «классической» реалистской трактовки балансирования как инструмента конфронтации, необходимого для «достижения и поддержания великими державами общесистемного равновесия посредством взаимного коалиционного сдерживания»⁶ и подразумевает скорее посредничество, чем формирование противовеса. Иными словами, РК предлагала себя на роль «демпфера» в потенциальных региональных и даже глобальных конфликтах. «Момент однополярности» начала XXI в. обольщал перспективами необратимого доминирования либерального миропорядка, внушал надежды на то, что необходимости в сдерживании уже не будет, и провоцировал на переосмысление конфронтационных концепций в духе взаимовыгодного сотрудничества.

В такой обстановке южнокорейские лидеры действительно могли рассчитывать на то, что им удастся, опираясь на Китай, занять ведущее положение в обсуждении вопросов безопасности на полуострове, заменив сдерживание сотрудничеством, нацеленным на постепенное сближение с Пхеньяном. Даже по ключевому вопросу ядерной угрозы со стороны КНДР оптимисты ожидали решительных успехов. Агрессивный же напор администрации США (особенно при Дж. Буше-младшем) диссонировал с такими ожиданиями. Возможно, это подтолкнуло Сеул к тому, чтобы в процессе шестисторонних переговоров поддержать конструктивную позицию Москвы и Пекина в противовес Вашингтону, впервые выступив против своего политического патрона в принципиальном

1 Leonard, Shapiro 2019, 5.

2 Бойе, И. Автономия альянсу не помеха // Россия в глобальной политике. – 2013. – №3. – Спецвыпуск 1. [Электронный ресурс]. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/avtonomiya-alyansu-ne-pomeha/> (дата обращения 19.07.2021).

3 См., например, 이수형 2012; 권영근 2016.

4 См., например, 박영준, “트럼프 등장 이후 일본과 나토 국가들의 ‘전략적 자율성’ 논의 (Japan and NATO Countries Discuss ‘Strategic Autonomy’ after Trump Appearance),” KIMS Periscope, accessed June 15, 2021, <https://kims.or.kr/issubrief/kims-periscope/peri88/>.

5 James Park, “Biden Should Embrace South Korea’s Strategic Nondecision on the Quad,” The Diplomat, March 05, 2021, accessed June 15, 2021, <https://thediplomat.com/2021/03/biden-should-embrace-south-koreas-strategic-nondecision-on-the-quad/>.

6 Истомин, Байков 2019, 34.

вопросе. Упорное стремление администрации США добиться трансформации – а точнее, падения – северокорейского режима, невзирая на последствия, вызывало озабоченность у южнокорейских лидеров, а интересы Китая в отношении КНДР в тот момент больше соответствовали интересам Южной Кореи, чем интересы США¹.

Впрочем, несмотря на принятое в сентябре 2005 г. совместное заявление о принципах денуклеаризации Корейского полуострова, КНДР вскоре возобновила ракетно-ядерную программу. Надежды на деэскалацию оказались иллюзорными, и в южнокорейском дискурсе о «стратегической автономии» заметное место заняло обсуждение собственных (внутренних) возможностей и компетенций². Этому могли способствовать и периодические размолвки с Вашингтоном, вызывавшие разного рода озабоченности у лидеров Южной Кореи (их угрозу устойчивости альянса, впрочем, переоценивать не стоит³), и периодические обострения отношений с Японией, а в самое последнее время – опасения по поводу усиления Китая.

В практическом плане развитие собственных возможностей прежде всего предполагает наращивание собственной военной мощи⁴. По данным *International Institute for Strategic Studies*, по затратам на оборону Сеул находится на 10-м месте в мире⁵, а в рейтинге военной силы *Global Firepower* занимает шестое, лишь немного уступая Японии⁶. К началу 2030-х гг. Южная Корея планирует обзавестись полноценным авианосцем⁷ (авианесущими кораблями она уже располагает), а с недавнего времени возобновились разговоры о собственном ядерном оружии⁸.

Таким образом, «силовая основа» международных возможностей Сеула представляется достаточно надежной. Попытки создать столь же надежное идеологическое обоснование стратегического суверенитета не прекращаются, но с теоретическим обоснованием этих претензий не все гладко. Понятия суверенитета и автономии в теории международных отношений определены достаточно давно и подробно⁹ (так, еще в 1991 г. Дж. Морроу определил концепцию автономии как «степень, до которой государство [готово] преследовать желаемые перемены в статус-кво, меру напористости на международной арене и способность государства определять собственную политику»¹⁰).

1 Bong 2017, 47–48.

2 강인수, “美 대선 갈림길 선 한국 ‘전략적 자율성’ 확보해야 (Korea Must Secure ‘Strategic Autonomy’ at the Crossroads of the U.S. Presidential Election),” 매일경제, August 10, 2020, accessed June 10, 2021, <https://www.mk.co.kr/opinion/columnists/view/2020/08/818196/>.

3 Как высказался по этому поводу В. Ча, озабоченности такого рода «свидетельствуют скорее о существовании альянса, чем о его разрыве» (Cha 2003, 18). Разумеется, американский эксперт корейского происхождения, бывший главным советником по КНДР в администрации Дж. Буша-младшего, является убежденным сторонником альянса, поэтому его оценки сложно считать совершенно нейтральными. Однако они очень показательны.

4 D. Son, and A. Abrahamian, “South Korea’s Search for Autonomy,” *The Interpreter*, December 15, 2017, accessed July 01, 2021, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/south-korea-search-autonomy>.

5 *The Military Balance* 2021.

6 “Military Strength Ranking,” *Global FirePower*, Strength in numbers 2021, accessed July 01, 2021, <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>.

7 Mark Episkopos, “Aircraft Carrier Armed with Stealth F-35s: South Korea Has Big Navy Dreams,” *The National Interest*, July 09, 2020, accessed July 01, 2021, <https://nationalinterest.org/blog/korea-watch/aircraft-carrier-armed-stealth-f-35s-south-korea-has-big-navy-dreams-164408>.

8 Mark Episkopos, “South Korea: The Next Nuclear Weapons State?” *The National Interest*, August 26, 2020, accessed July 01, 2021, <https://nationalinterest.org/blog/korea-watch/south-korea-next-nuclear-weapons-state-167803>.

9 Дискуссию о размытии концепции суверенитета и концепции государства в поствестфальском мире мы оставляем в стороне – хотя бы потому, что РК все же представляет собой скорее национальное государство вестфальского типа, чем какое-либо иное.

10 Morrow 1991, 909.

Если попытаться все же, исходя из самой логики международных отношений, выделить критерии, позволяющие государству претендовать на обладание стратегической автономией, то главным из них будет совокупный державный вес, достаточный, чтобы играть роль самостоятельного актора в политике. Этот вес определяется сочетанием военной и невоенной (экономической, культурной, научной, коммуникационной) мощи, общим авторитетом в международном сообществе и представленностью в международных институтах.

Но это уровень великой державы, обладающей соответствующим набором сил и ресурсов, отчего ее автономия является именно стратегической. Для более мелких стран можно выделить следующие возможности, позволяющие претендовать на ту или иную степень автономности, которую можно назвать «тактической»:

1) Наличие одного из параметров, который настолько высок, что вынуждает великие державы в определенной мере считаться с данным актором. Северная Корея обеспечила себе подобный статус за счет развития ракетно-ядерной программы (впрочем, с учетом критической экономической зависимости КНДР от Китая говорить о полноценной автономии тут, конечно, не приходится). Вообще, неожиданное для многих усиление Пхеньяна порой провоцирует международных на довольно смелые метафоры. Так, в одном из исследований авторы называли КНДР «маленькой великой державой»¹.

2) Умение лавировать (балансировать) между сверхдержавами, не позволяющее ни одной из них нарастить свое влияние до степени потери балансирующей страной самостоятельности. Такое поведение демонстрировала КНДР в период холодной войны, лавируя между СССР и Китаем.

3) Уникальное положение «геополитического буфера (демпфера)», снижающее вероятность прямого конфликта, или нейтральный статус страны, поддержанный международным сообществом. В принципе, «гибкую дипломатию» Но Мухёна можно считать притязаниями на роль такого буфера, а тема нейтралитета (кор. *чунънпук*) периодически обсуждается в корейском политическом истеблишменте, причем довольно активно – в частности, при администрациях Но Мухёна (2003–2018) и Пак Кынхе (2013–2017)².

С академической точки зрения концепция стратегической автономии пока выглядит своего рода интеллектуальной химерой (особенно в глазах приверженцев реализма), хотя и применяется как описательная характеристика (и не только для политики ЕС)³. Впрочем, реалисты активно оперируют заимствованным из финансово-инвестиционной сферы понятием «хеджирование» (*hedging*), подразумевающим «развитие тесных отношений с сильным партнером при соблюдении собственных интересов и диверсификации связей с ним, дабы застраховаться от чрезмерной зависимости»⁴. Такая трактовка очень близка к тому, что Сеул вкладывает в собственное понимание стратегической автономии – и на

1 Korhonen, Mori 2019.

2 Kim 2016, 3.

3 См., например, Бордачев, Т. Последняя империя и ее соседи // Россия в глобальной политике. – 2021. – № 2. – С. 8–24. [Электронный ресурс]. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/imperiya-i-eyo-sosedi/> (дата обращения 27.07.2021).

4 Денисов, И., Лукин, А. Коррекция и хеджирование // Россия в глобальной политике. – 2021. – Том 19 (4). – С. 169. [Электронный ресурс]. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/korrekcziya-i-hedzhirovanie/> (дата обращения: 27.07.2021).

словах (этим понятием довольно активно оперируют и корейские международники, описывая различные аспекты внешней политики страны), и на деле.

Само присутствие этого понятия в поле внешнеполитической коммуникации позволяет как минимум считать его полноценной дискурсивной категорией. При этом в дискурсивном поле, которое инициатор дискурса контролировать полностью не может, сама Южная Корея порой становится жертвой собственного детища, когда этот дискурс подхватывают и обращают против нее. Так, в 2019 г. В. Путин публично упрекнул Сеул в «дефиците суверенитета при принятии окончательных решений» по отношению к КНДР¹, а А. Кортунув в марте 2021 г. предположил, что в ходе предстоящего визита в Южную Корею С. Лавров «обязательно проверит пределы “стратегической автономии” РК от Вашингтона»².

Вообще, испытывать своего «стратегического партнера» (а Россия официально является стратегическим партнером РК), пожалуй, не самый мудрый шаг. Другое дело, что «стратегическое партнерство» в реалиях южнокорейской внешней политики – это скорее эпитет: наряду с Россией «стратегическими партнерами» Сеула являются, например, Колумбия, Румыния, Алжир и Дания³. По замечанию И. Дьячкова, для Кореи «практика использования “больших оценок” как средства выражения взаимной приязни в торжественный момент – не редкость»⁴. Так что, возможно, обращение к этой категории в южнокорейской политической риторике – просто дань традиционному пристрастию к «красному словцу».

Как бы то ни было, даже если концепция «стратегической автономии» остается слабо осмысленной теоретически, она все же является инструментом как внешней, так и внутренней политики. А это должно подталкивать международных к ее глубокому изучению. Аналогичным образом, через теоретическую рефлексию политической риторики и политических практик, происходило осмысление и концепции «средней державы», на основе которой в Южной Корее и формировался дискурс о «стратегической автономии».

Дискурс «среднедержавности»

В преамбуле упомянутого в предыдущем разделе текста о «Новой Южной политике» (НЮП) утверждается: «НЮП представляет собой [курс, направленный на реализацию] амбиций Сеула как средней державы, которая стремится достичь большей стратегической автономии, принять на себя более существенную международную ответственность и роль, соответствующие ее статусу и возможностям в глобальном обществе»⁵.

В публицистике, обращающейся к теме стратегической автономии, нынешнее политическое положение Южной Кореи нередко сравнивают сполитическим

1 Путин, В. Пресс-конференция по итогам российско-северокорейских переговоров // Президент России. 25 апреля 2019. [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/60370> (дата обращения: 25.06.2021).

2 Andrey Kortunov, “Growing US pressure incentive to make China-Russia ties more diverse,” *Global Times*, March 22, 2021, accessed June 10, 2021, <https://www.globaltimes.cn/page/202103/1219125.shtml>.

3 Дьячков 2020a, 76.

4 Ibid.

5 Choe 2021, Executive Summary.

положением Индии (где также активно используется риторика стратегической автономии), Австралии, Канады, Франции и Германии¹.

Концепция «средней державы» осмысливается теоретиками уже достаточно давно (это понятие было введено еще в XVI в. савойским мыслителем Дж. Боте-ро), а практиками активно используется уже с середины XX в. Канада заявила о себе как о «средней державе» на международной арене практически сразу после окончания Второй мировой войны². В Южной Корее идею «средней державы» первыми начали также эксплуатировать политики – пионером стал Но Тхэу (Ро Дэу) еще в 1988 г.³, а теоретическая рефлексия вокруг этого концепта началась только к концу первой декады XXI в., но к настоящему времени этой теме посвящен уже целый корпус работ.

Корейские международники пытались – и не без успеха – «натурализовать» западную концепцию, наполнив ее корейскими и региональными коннотациями. Подробный и тщательно фундированный обзор особенностей этой натурализации провели А. Воронцов, Т. Понька и Э. Варпаховски⁴. Ключевая проблема академической концептуализации понятия «средняя держава» состоит в размытости этого термина: фактически однозначного определения не существует до сих пор, подходы оспариваются, модифицируются и эволюционируют.

К концу XX в. в академической среде утвердилась концепция Э. Купера, Р. Хиггота и К. Носсала, определяющих «среднесильность / среднедержавность» через общие поведенческие тенденции (в частности, через проведение политики «среднесильности» (*middlepowermanship*), подразумевавшей приверженность многосторонности (мультилатерализм), стремление к урегулированию конфликтов и опору на моральную силу)⁵. А. Купер, Р. Хиггот и К. Носсал считали, что «поведенческая парадигма» обладает наибольшей объяснительной силой.

Однако она оказалась не столько объясняющей, сколько предписывающей (в разряд «средних держав» в рамках такого подхода можно было записать любую страну – вне связи с ее объективными возможностями, включая силовые и экономические – на том лишь основании, что ее поведение соответствовало заданной модели; иными словами, возникала когнитивная ловушка – данная страна определяется как «средняя» потому, что ведет себя в соответствии с определением «средней страны»). Кроме того, она способствовала политизации и так достаточно политизированного дискурса: сама заявка на «среднедержавность» могла повысить международную репутацию страны. Правда, это, похоже, не смущало ни корейских политиков, ни теоретиков, которые охотно обращались к работе А. Купера, Р. Хиггота и К. Носсала для обоснования притязаний Сеула – репутационная привлекательность страны была в равной мере и целью, и средством внешней политики РК в XXI в.

1 См., например, «[폴리경제이슈] 마·중 패권 전쟁 격화... "한국, '전략적 자율성' 길러야 [(Polyeconomics) U.S.-China Hegemony War Intensifies...Korea Needs to Raise 'Strategic Autonomy')]" 폴리뉴스, May 5, 2016, accessed July 27, 2021, <http://www.polinews.co.kr/news/article.html?no=488770>.

2 Chapnick 2000, 188. Интересно, что сам Чапник считал концепцию «среднедержавности» Канады политическим мифом – лишь инструментом в руках политиков.

3 Shin 2016, 195.

4 Воронцов et al. 2020.

5 Cooper et al. 1993; Chapnick 1999, 75.

Не вызывала у них отторжения и идеологическая нагруженность дискурса о средних державах, поскольку Сеул вполне разделял доминировавшие в период «однополярного момента» представления о практически безоговорочном торжестве идей либеральной демократии. Эта нагруженность сохраняется и сегодня – пусть и в несколько менее выраженной форме. Так, Э. Джордаан, к статье которого о «новых (нарождающихся) средних державах»¹ корейские авторы также обращаются достаточно часто, теперь предлагает считать «средними» только те страны, которые «активно поддерживают проект либеральной гегемонии»².

Охотно поддержал южнокорейский политикум и развитие дискурса о «средних державах» в конструктивистском ключе. Конструктивисты полагают внешнеполитическое поведение держав производной от их идентичности. Иными словами, представление о себе как о «средней державе» формируется и отражается не только в риторике, но и – через дискурс – в международном поведении³. Ключевую роль в формировании этой идентичности играет политическое руководство страны, но и академическая дискуссия становится частью конструирования этой идентичности (а «натурализация» западных идей – элементом такого конструирования). Упомянутый выше анализ корейского «среднедержавного» дискурса, проведенный А. Воронцовым, Т. Понькой и Э. Варпаховским⁴, наглядно это иллюстрирует: критика, переоценка и переосмысление западных моделей позволяют южнокорейскому академическому и политическому истеблишменту формулировать собственное представление и о национальных интересах (как об «идеях в отношении необходимого»⁵), и о подобающем месте страны в регионе и на международной арене в целом.

Конструктивный подход, конечно, уязвим для критики. Прежде всего, он провозирует риторику политического руководства полагаться на критерий принадлежности к средним державам. Соответственно, смена этой риторики (в зависимости, например, от выборных циклов) должна автоматически выводить страну из разряда «средних»⁶. В случае с РК, правда, подобные опасения остаются (пока) исключительно гипотетическими. Все администрации, начиная с правительства Но Тхэу, активно поддерживали и развивали «среднедержавный» дискурс. Правительство Ким Ёнсама (1993–1998) провозгласило «среднедержавность» официальной идентичностью РК, в рамках политики глобализации (*segexwa*). В 1995 г. РК стала непостоянным членом СБ ООН, а в 1996 г. присоединилась к ОЭСР. Присутствие в столь авторитетных международных институтах, разумеется, повышало ее статус и репутацию. Установив дипотношения с СССР (1990) и КНР (1992) в рамках заявленной администрацией Но Тхэу новой внешнеполитической концепции *Nordpolitik* («Северная политика»), Сеул получил значительное преимущество перед Пхеньяном, серьезно диверсифицировав внешнеполитическую коммуникацию, в то время как КНДР постепенно оказывалась во все более плотной международной изоляции (что, в принципе, отвечало целям Сеула, который

1 Jordaаn 2003.

2 Jordaаn 2017.

3 Shin 2016, 193–194; Sohn 2015; Easley, Park 2018.

4 Воронцов et al. 2020.

5 Алексеева 2014, 16.

6 Carr 2014a, 76.

стремился занять если не монопольные, то ведущие позиции в коммуникации с Севером).

При Ким Дэчжуне (1998–2003) потенциал «среднедержавности» РК реализовывался куда более наглядно. Сеул инициировал создание региональных форумов (*East Asian Study Group (EASG)* в 2000 г. и *East Asian Forum* в 2003), но самой громкой инициативой стала «солнечная политика (или политика солнечного тепла)», нацеленная на решительное изменение отношений с КНДР. Разумеется, она предусматривала не смену цели (мирное сосуществование вместо поглощения Севера), а смену методов: вместо открытой конфронтации Север предполагалось фактически «обаять». Однако «солнечная политика» была недвусмысленной заявкой на лидерство в одном из ключевых вопросов региональной безопасности (*Nordpolitik* была не настолько амбициозной). Она способствовала привлечению к коммуникации с КНДР третьих стран, что в итоге позволило несколько ослабить дипломатическую изоляцию Пхеньяна¹. Подобное поведение уже вполне укладывалось в рамки теоретической модели внешнеполитического активизма средних держав.

Администрация Но Мухёна (2003–2008) сделала еще более амбициозную заявку на роль «экономического и логистического хаба» и «демпфера» (*balancer*) в масштабе как минимум АТР. В этот период понятие *middle power* окончательно утверждается в южнокорейском публицистическом дискурсе. Тогда же, пожалуй, наиболее активно обсуждается возможность нейтрального статуса страны². Экономика РК быстро росла, страна достаточно легко смогла оправиться от последствий кризисов 1998 и 2008 гг., которые в стратегическом смысле даже способствовали росту международного влияния Сеула через клуб G20 (первый кризис спровоцировал формирование «двадцатки», а второй заметно стимулировал ее деятельность). При Ли Мёнбаке (2008–2013) РК стала хозяйкой первого азиатского саммита G20 в 2009 г., ее активность в рамках клуба позволяла говорить уже о реальном участии в процессах глобального управления. Администрация Пак Кынхе (2013–2017) постулирует международную роль РК как «ответственной средней державы», вносящей существенный вклад в поддержание мира во всем мире (при этом сам термин «средняя держава» отходит несколько в тень³), фиксируя таким образом глобальные амбиции Сеула, на доктринальном уровне сформулированные в «Инициативе по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии»⁴. Идея регионального посредничества трансформируется в идею «моста между развитыми и развивающимися странами в сетевом международном сообществе»⁵ (эта риторика несколько напоминает российский дискурс начала XX в. о «мосте между Европой и Азией»). Сеул выдвигает «Евразийскую инициативу» (идею «единой», «креативной» и «мирной» Евразии, которая выглядит своего рода риторической альтернативой китайскому «Поясу и пути»), выступает одним

1 Robertson 2007, 160.

2 Shin 2016, 198.

3 Kim 2016, 6. Эта статья предлагает детальный анализ дискурсивной инструментализации концепта «средней державы» при администрациях Но Мухёна, Ли Мёнбака и Пак Кынхе.

4 Lee Sang-Hyun, "The Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative (NAPCI): A Vision toward Sustainable Peace and Cooperation in Northeast Asia," The Asian Forum, 2014, accessed July 01, 2021, <https://theasanforum.org/the-northeast-asia-peace-and-cooperation-initiative-napci-a-vision-toward-sustainable-peace-and-cooperation-in-northeast-asia/>.

5 Easley, Park 2018, 245.

из создателей и лидеров неформального объединения МИКТА (MIKTA), в которое, помимо Кореи, входят Австралия, Индонезия, Мексика и Турция.

«Новая Северная политика» и «Новая Южная политика», провозглашенные нынешним южнокорейским лидером Мун Чжэином, стали очередными декларациями как региональных, так и глобальных притязаний. По утверждению одного из членов Президентского совета по Новой Южной политике Чхве Вонги, НЮП «представляет собой амбиции Сеула как средней державы, стремящейся укрепить свой международный статус и идентичность, расширить региональное лидерство и влияние, а также получить экономические выгоды от расширения международной инвестиционной и торговой деятельности»¹. Не менее смело звучала идея соединения с континентом через территорию КНДР, составлявшая политэкономическую основу НСП.

Разумеется, теоретическое осмысление концепции «среднедержавности» далеко от завершения. Удачный симбиоз элементов конструктивизма и структурного реализма для определения «средних держав» в условиях быстро меняющегося и неупорядоченного мира предложил Э. Карр. Его концепция «системного воздействия» (*systemic impact*) вписывает изучаемую страну в общую систему международных отношений через результаты ее воздействия на конкретные элементы этой системы. Э. Карр определяет «средние державы» как «страны, способные защищать свои ключевые интересы и инициировать изменения конкретных аспектов существующего миропорядка (но не саму его структуру)² или возглавлять их»³. Под таким воздействием Э. Карр понимает способность «оказывать влияние, формировать дискурс и, возможно, даже выводить мир из циклов постоянных конфликтов великих держав»⁴, – внешнеполитические амбиции Сеула отвечают всем этим критериям.

Влиятельность в такой трактовке означает прежде всего проекцию силы, пусть и не обязательно напрямую связанной с военной (в этом смысле средние державы ограничены в своих возможностях принуждать другие государства, хотя себя защитить способны⁵) или экономической мощью. В принципе, такой подход вполне подходит и для оценки «среднедержавности» Сеула, особенно в региональном контексте.

В целом теоретики – кто безоговорочно⁶, кто с оговорками⁷ – сходятся в том, что РК можно считать вполне состоявшейся «средней державой». Сомнения у теоретиков вызывают не столько претензии Сеула на автономию (амбивалентность этих притязаний либо принимается как данность, либо рассматривается как диалектическое противоречие, стимулирующее и направляющее политическое развитие), сколько недостаточная амбициозность или последовательность внешнеполитического активизма.

1 Choe 2021, 7.

2 Carr 2014b.

3 Carr 2014a, 79. Эта концепция позволяет разрешить еще одну дилемму «средних держав» – противоречие между их приверженностью статус-кво (Cox 1989; Jordaan 2003) и стремлением (и способностью) к локальным изменениям миропорядка, пусть и ограниченным как собственными возможностями, так и внешними обстоятельствами.

4 Carr 2014b.

5 В отношении РК этот аспект, разумеется, является самым спорным.

6 См., например, Ping 2005; Saxer 2013; Snyder 2018; Job 2020.

7 См., например, Robertson 2007; Kim 2016; Shin 2016; Easley, Park 2018; Green 2019.

В статусе «средней державы» Сеул пытается обозначить свое лидерство в решении целого ряда глобальных проблем, выдвигая на первый план экологическую, климатическую или низкоуглеродную повестку, вытеснившую с авансцены проекты в области ядерной энергетики, которые Южная Корея активно разрабатывала во второй декаде XXI в. С 1991 г. Сеул активно участвует в миротворческих операциях ООН и работе различных международных организаций, регулярно предлагает масштабные проекты, инициирует гуманитарные проекты в развивающихся странах.

Однако анализ представлений как о стратегической автономии, так и о сути и роли средней державы был бы неполным без глубинного понимания социально-исторического контекста, в котором он формировался. А генезис этих представлений в Корее связан не с либерализацией международной обстановки после холодной войны, а с гораздо более ранними процессами.

Социально-исторический контекст корейской субъектности

Внешнеполитическое поведение Сеула всегда отражало два изначально присущих южнокорейской политической ситуации набора противоречий: между провинциализмом и интернационализмом, а также между зависимостью от альянса с более сильной державой-«патроном» и стремлением к самостоятельности (автономии). Схематично эти взаимосвязанные противоречия представлены в книге С. Снайдера *South Korea at the Crossroads*¹.

На стыке этих ключевых тезисов формировались и общие представления южнокорейского политикума о желаемом направлении развития страны: изоляционизм с опорой на альянс; интернационализм с опорой на альянс; интернационализация с претензией на автономию; стремление к независимости на основе нейтралитета². Если первая опция практически исчерпывающе описывает внешнеполитические возможности РК в период противостояния великих держав, то четвертая, как уже упоминалось, всегда была – и до сих пор остается – прежде всего предметом интеллектуальных упражнений в академических и политических кругах (не только корейских³), но до практической реализации никогда не доходила.

Эти противоречия оформились задолго до начала холодной войны и проявились в процессе модернизации страны на рубеже XIX–XX вв. К этому же периоду некоторые исследователи относят и формирование идеи «среднедержавности». Так, Син Донъмин находит истоки этого понятия в воззрениях корейских интеллектуалов конца XIX в., приводя в пример статью Ю Гильчжуна «Чунънимнон (Концепция нейтралитета)» 1885 г.⁴ При всей ненадежности исторических параллелизмов сложно не заметить созвучие идеи Ю Гильчжуна и риторики *чунъ-нипкук* (срединного, в равной степени удаленного от всех, то есть нейтрального, государства) при Но Мухёне и Пак Кынхе. Разделение корейского политикума на

1 Snyder 2018, 8.

2 Ibid., 7.

3 J. Robertson, "Coming soon: A neutral South Korea?" The Interpreter, November 4, 2020, accessed June 23, 2021, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/coming-soon-neutral-south-korea>; Лукин 2021, 186.

4 Shin 2012, 138–139.

фракции *тонъмэлха* (сторонников альянса с США – консерваторов) и *чачжупха* (сторонников опоры на собственные силы – либеральных прогрессистов)¹ напоминает противостояние конца XIX в. между консерваторами-изоляционистами и прогрессистами, выступавшими за открытость «страны-отшельника» миру. Современное противостояние этих фракций порой бывает таким острым, что для его описания обозреватели обращаются к библейским аллюзиям², чтобы подчеркнуть его важность для южнокорейского общества.

Ключевой идеей конструирования современной нации в Корее стала рефлексия над принципом *садэчжуи* («служение высшему») – средневековой концепцией организации миропорядка в конфуцианском мире. Примерно со второй половины XIX в. корейские интеллектуалы начинают активно осваивать западные идеи и пытаются переосмыслить традиционные догматы³.

В самом начале XX в. в Корею транзитом через Японию приходит кантовское понятие «субъект» (яп. *сютай*, кор. *чучхе*), то есть тот, кто обладает *agency* – акторностью, способностью к самостоятельному, независимому политическому действию. В 1908 г. им в полемической статье оперировал известный деятель движения за независимость Кореи Син Чхэхо (в контексте, подразумевавшем, что его читатель уже знаком с этим термином)⁴.

В политическом (и прежде всего внешнеполитическом) дискурсе субъектность – устойчивый синоним понятия «суверенитет». В современном корейском языке для обозначения этого понятия используется термин *чуквон*, который также восходит к японскому *сюкан* начала XX в. (тоже появившемуся в процессе осмысления кантовской философии). Изначально понятие *сюкан* соотносилось скорее со способностью к самостоятельному и абстрактному мышлению, а *сютай* означало способность к этическому действию. В период японского колониального господства в ходу были оба этих термина⁵.

Заметим, что в описываемый период формально независимой «великой империей» Корея была всего 13 лет (с момента отказа от китайского сюзеренитета в 1897 г. – до 1910 г., когда Корея стала колонией Японии). Однако суверенитет этот был скорее номинальным – ресурсами для его обеспечения Корея не располагала. Травмирующий опыт модерна сделал суверенность главным фокусом корейской политической мысли и подстегнул националистические настроения. После освобождения страны в 1945 г. передачу власти от японской колониальной администрации в руки корейцев один из лидеров народно-освободительного движения Ё Унхён обусловил требованием того, чтобы корейцы обеспечивали собственную безопасность суверенно (*чучхечжогыро*), причем это требование было подчеркнуто сформулировано по-корейски, хотя Ё Унхён свободно владел японским⁶.

1 Kim 2016, 4.

2 Так, одна из статей в *Washington Quarterly* в 2005 г. была озаглавлена следующим образом: «The Two South Koreas: A House Divided» (Shin, Izatt 2011, 1124). Это аллюзия на «дом, разделившийся в себе» из Евангелия от Матфея.

3 Строго говоря, становление в Корее «неканонической» философии, опиравшейся в том числе и на западные идеи, относят к более раннему периоду (конец XVI в.), а Китай с пьедестала безусловного духовного и интеллектуального авторитета низвергали еще корейские неоконфуцианцы после утверждения в Китае маньчжурской династии Цин в XVII в., но на нациестроительство эпохи модерна в Корее оба этих течения оказали минимальное влияние.

4 Myers 2015, 11.

5 Ibid., 12.

6 Ibid., 12, 21.

Понятие *чучхе* (и деривативы от него – *чучхесонъ* и *чучхечжок*) быстро утверждается в качестве ключевого политического концепта, причем на Юге даже раньше и в гораздо больших масштабах, чем в КНДР, где до середины 1960-х гг. оно используется достаточно редко. Натурализованный инородный концепт становится основой национальной идеологии в обеих частях разделенной Кореи (в 1970-х, при Пак Чонхи, *чучхесонъ* провозглашается официальной доктриной). Взаимные упреки в отсутствии субъектности – неперенный атрибут внешнеполитической пикировки Пхеньяна и Сеула, низкопоклонство – негативный политический стигмат и там, и там (разумеется, в это понятие вкладываются разные смыслы). Комментируя итоги американо-южнокорейского саммита, обозреватель *NKNews* приводит не лишнее ехидство замечание проправительственной (то есть либерально-прогрессистской) газеты *Кёнхьянь синмун*: «Если бы подобное заявление (совместное заявление по итогам саммита – *авт.*) подписало правительство консерваторов, его бы критиковали за сервильность»¹.

Тем не менее параллельно с нарративом национальной субъектности в Южной Корее после Корейской войны 1950–1953 гг. формируется нарратив нерушимого альянса с США, который институционализируется в Договоре о взаимной обороне, заключенном 1 октября 1953 г. Война (и ее исход) закрепили в политической идентичности страны представление о том, что 1) молодое демократическое государство является экзистенциальным антагонистом северного авторитарного коммунистического режима (хотя, конечно, большую часть холодной войны Южная Корея была скорее авторитарным, чем демократическим государством); 2) единственной надежной защитой от военной угрозы со стороны гораздо более мощного в военном и экономическом плане Севера (обладающего к тому же могущественными союзниками в лице КНР и СССР) являются вооруженные силы США. Таким образом, военный союз РК с США изначально складывался не как альянс двух суверенных государств, но как «процесс государственного строительства и милитаризации между клиентом и патроном – или странами, одна из которых обладала резко ограниченным эмпирическим суверенитетом, а другая – полным»². К такой структуре сводят отношения США и РК и отечественные авторы: «Республика Корея выступает крупнейшим примером современного мягкого протектората, который в значительной степени делегировал контроль над своей внешней политикой Соединенным Штатам в рамках двустороннего альянса»³.

Разумеется, существование такого союза сопровождалось классическими взаимными озабоченностями в рамках дилеммы безопасности, которые Г. Снайдер в общем виде определяет как опасения быть оставленными союзником (*abandonment*) и опасения попасть в ловушку (*entrapment*) – то есть быть втянутым в конфликт с третьей стороной против своего желания (в том случае, когда интересы сохранения альянса превышают интересы безопасности конкретного его участника)⁴. Так, США опасались, что Сеул втянет Вашингтон во второй раунд Корейской войны, а

1 Yeo Hyun-jun, "South Korea's Left and Right Praised ROK-US Summit, but for Different Reasons," *NK News*, July 02, 2021, accessed June 27, 2021, <https://www.nknews.org/2021/06/south-koreas-left-and-right-praised-rok-us-summit-but-for-different-reasons/>.

2 Jackson 1993, цит. по: Chun 2000, 82.

3 Истомин, Байков 2019, 38.

4 Snyder 1984.

Южная Корея остерегалась, что США оставят их. Очередного пика опасения в РК достигли в период администрации Д. Трампа, напористо пытавшегося наладить прямые отношения с Ким Чен Ыном и объявившего о приостановке совместных учений. Поэтому победа Дж. Байдена была воспринята в Сеуле с нескрываемым удовлетворением, а итог июньского американско-корейского саммита был встречен на удивление позитивно всем южнокорейским политикомом¹.

Классической ловушкой вполне можно считать обстоятельства развертывания противоракетных комплексов *THAAD* в Южной Корее: эта система, официально предназначенная для защиты от северокорейских ракет, может быть модернизирована таким образом, что в радиус ее действия попадет уже и территория Китая². Разумеется, появление этой системы вызвало вполне обоснованную озабоченность у КНР и способствовало эскалации напряженности в регионе, сместив там баланс угроз.

Взаимные опасения возникали и вокруг отношений с КНДР: и Вашингтон, и Сеул претендуют на единоличный контроль над политической коммуникацией с Пхеньяном. Соответственно, усилия КНДР по налаживанию прямых контактов с США всегда вызывают раздражение у Южной Кореи, а шаги РК, направленные на развитие отношений с КНДР – у США (и наоборот). В этом контексте, конечно, большую роль играет восприятие уровня угроз, которое имеет свойство колебаться в довольно больших пределах – вплоть до того, что в некоторые моменты южнокорейская общественность (и часть политического истеблишмента) начинает считать, что главную угрозу безопасности представляет не Пхеньян (или Пекин), а Вашингтон³. В свою очередь, опасения у США может вызывать и одностороннее усиление Южной Кореи⁴. Это положение прекрасно иллюстрирует резкая реакция Вашингтона на попытки Пак Чонхи развивать ядерную программу.

Однако никто из теоретиков не усматривает во всем комплексе этих опасений реальной угрозы для устойчивости альянса. Более того, некоторые уверены, что «в отсутствие альтернативного решения вопроса безопасности или возможности “выхода” (потенциальных союзников, способных заменить патрона, или возможностей для кардинального самоусиления), опасения быть оставленными союзником могут – парадоксально – привести как раз к укреплению союза»⁵.

Обращение к классической реалистской парадигме позволяет представить дискурс о «стратегической автономии» как элемент достаточно линейного «процесса обретения РК все большей автономии» в рамках американско-южнокорейского союза⁶, сохраняя при этом прежний уровень гарантий безопасности со стороны США (вполне в духе торга по Дж. Морроу⁷). Но проблема заключается в том, что этот дискурс касается не только вопросов соотношения уровней автономии и безопасности, справедливого распределения бремени в альянсе или диверсификации международной активности Сеула.

1 Yeo Hyun-jun, “South Korea’s Left and Right Praised ROK-US Summit, but for Different Reasons.”

2 Sukjoon Yoon, “Upgrading South Korean THAAD,” *The Diplomat*, May 10, 2021, accessed June 27, 2021, <https://thediplomat.com/2021/05/upgrading-south-korean-thaad/>

3 Young-Lim Hong, “U.S. More Dangerous Than North Korea,” *Chosun Ilbo*, January 12, 2004. Цит. по: Shin, Izatt 2011, 1133.

4 권영근 2016.

5 Cha 2003, 24.

6 Chun 2000, 82.

7 Morrow 1993.

Дискуссия о судьбе альянса с самого начала была элементом южнокорейской внешне- и внутривнутриполитической идентичности. Сегодня она скорее служит драйвером внутривнутриполитической конкуренции, чем серьезным фактором внешнеполитической стратегии (а эти материи выходят за пределы интересов реалистских концепций). Особым фактором внутривнутриполитической повестки и инструментом предвыборной борьбы становится антиамериканизм, связанный с обстоятельствами союза лишь опосредованно. Так, во время предвыборной кампании Но Мухёна антиамериканские настроения, подогреваемые прогрессистами, достигли такого накала, что даже его тогдашний оппонент от консерваторов Ли Хвечхан, поначалу открыто демонстрировавший связи с вашингтонским истеблишментом, был вынужден несколько дистанцироваться от США¹.

Однако антиамериканские настроения в южнокорейском обществе, сформировавшиеся еще в 1980-х гг. на волне движения за демократизацию, до начала XXI в. вообще никак не трансформировались в неприятие альянса (а в 1990-х гг. и вовсе пошли на спад)². Пришедший к власти на волне антиамериканизма Но Мухён стал вторым после Пак Чонхи южнокорейским президентом, выделившим войска для участия в зарубежной военной операции не под эгидой ООН (в Ираке).

Связывая обострение противоречий с США по поводу альянса с ходом демократизации самой РК³, исследователи отмечают, что развитие этого процесса зависело не только от активности гражданского общества, но и от одобрения его действий Вашингтоном и соответствующего давления на режим⁴. При этом наступление демократизации, практически совпавшее с окончанием холодной войны, закрепило образ «патрона-победителя» как безусловный идеал, способствуя дальнейшей вестернизации Южной Кореи и укреплению культурно-политических связей между США и РК.

Не стоит забывать и о том, что в своем каноническом виде теория альянсов все же описывает взаимоотношения государств в рамках задач по поддержанию баланса сил (и глобального проецирования силы государства-патрона, для которого государство-клиент остается лишь инструментом)⁵. Нынешняя политическая реальность – и структура международных отношений – гораздо сложнее и динамичнее, а для описания глобальных проектов Сеула (например, в области ядерной энергетики или культурной дипломатии «на гребне корейской волны» – *халлю*) теория альянсов не подходит вовсе. Однако именно эволюция союза с США становится как ограничителем, так и драйвером дискурса о «стратегической автономии», отражающего амбивалентность южнокорейской политической идентичности.

Во время холодной войны и в периоды эскалации на Корейском полуострове после нее, когда угроза со стороны КНДР воспринимается остро, противоречие между выраженным стремлением к субъектности и приверженностью асимметричному альянсу, требующему жертвовать автономией ради безопасности, не приводит к серьезным кризисам идентичности. Хотя

1 Shin, Izatt 2011, 1123.

2 Ibid., 1120–1121.

3 Chun 2000; Cha 2003; Shin, Izatt 2011; Bong 2017.

4 Asmolov 2019.

5 Chun 2000, 82.

история внешней политики РК достаточно хорошо показывает это противоборство между ориентацией на сюзерена и желанием демонстрировать независимость. Так, Ли Сынман бывал настолько «строптив», что США подумывали над его свержением¹, а Пак Чонхи пытался разрабатывать собственную ядерную программу вопреки противодействию США.

Однако когда уровень восприятия угроз снижался, и Сеул возвращался к курсу об автономии, и Вашингтон ослаблял давление на оба корейских государства. Теоретики же возвращались к дискуссии о взаимосвязи альянса и идентичности: так, В. Ча считал построение «общей идентичности» (*shared identity*)² одним из аспектов устойчивости этого альянса, а другие исследователи отмечали «двойственность идентичности» РК в его рамках³.

Влияние социально-исторических факторов прослеживается не только в отношении к США (и к альянсу). Так, через особенности южнокорейской политической идентичности можно объяснить и «девиации» Сеула от собственных средним державам рамок поведения. Яркой иллюстрацией этого могут служить антияпонские настроения, глубоко укорененные в обществе. Разногласия касаются как болезненных вопросов исторической памяти, связанных с периодом японского колониализма⁴, так и территориальных споров⁵, а озабоченность ремилитаризацией Японии упоминается практически в каждой южнокорейской работе по международным отношениям. Конфликт между антияпонизмом и идентичностью средней державы отмечают многие исследователи⁶. Имманентная антияпонизму конфронтационность противоречит общепринятым представлениям о стремлении средних держав к умиротворению, а не к раздуванию конфликтов. То же самое касается и стремительно нарастающих антикитайских настроений, резко меняющих восприятие Китая в Корее, и, как следствие, обстоятельств дипломатического балансирования.

Другой помехой для полноценной реализации «среднедержавной» идентичности считается догмат о «единой нации» и само стремление к объединению полуострова – в том смысле, что в погоне за объединением полуострова (что, по мысли некоторых аналитиков, должно сделать единую Корею еще более сильной «средней державой»⁷) Сеул готов идти на сближение с Пекином в таких пределах, которые уже не соответствуют национальным интересам РК⁸. Впрочем, в последнее время южнокорейское общество несколько охладело к вопросу объединения страны, а некоторая часть молодой консервативной элиты и вовсе не воспринимает северян как своих соотечественников⁹. Размывание догмата о «единой нации», очевидно, будет подтачивать мораль-

1 Юнгблюд, Садаков 2018.

2 Cha 2003, 26–28.

3 Chun 2000, 80.

4 См., например, Dyachkov 2020.

5 Дьячков 2020b.

6 См., например, Easley, Park 2018, 253–254.

7 Choi 2015, 54.

8 Easley, Park 2018, 255–256.

9 Ланьков, А. «Господин Пак» и окружающий его мир // Международный дискуссионный клуб «Валдай». 07 июля 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/gospodin-pak-i-okruzhayushchiy-mir/> (дата обращения 08.07.2021).

ное основание для лидерства Сеула в коммуникации с КНДР. Тем более что и на Севере накал объединительной риторики снижается: так, в Уставе ТПК довольно напористые формулировки о борьбе за объединение сменились более обтекаемыми¹.

Сходную точку зрения высказывают и другие исследователи², а В. Ча утверждает, что корейской стратегической культуре многосторонний подход к вопросам безопасности исторически чужд (этим, наряду с нежеланием попасть в снайперскую «ловушку», можно, в частности, объяснить скепсис Сеула по отношению к QUAD). Он отводит мультилатерализму лишь вспомогательную роль в рамках альянса с США, считая более актуальными для Сеула гибкие *ad hoc* коалиции, для обозначения которых в западном лексиконе используется термин «минилатерализм» (*minilateralism*)³. В тех же терминах описывают исследователи и международный активизм в рамках МИКТА⁴.

Заключение

Обострившееся в последние годы противостояние Китая и США в очередной раз меняет общий баланс угроз в АТР, возвращая на повестку дня реалии холодной войны (пусть и «новой»). В этой реальности, вероятно, наиболее привычно ощущать себя КНДР, для которой холодная война не заканчивалась вовсе, а Южной Корее приходится переосмысливать свои внешнеполитические возможности и задачи.

Китай, к которому прежде отношение было несколько снисходительным, стремительно превращается в угрозу – прежде всего на уровне общественного восприятия⁵. При этом Китай с 2003 г. остается главным торговым партнером РК – в 2019 г. на его долю приходилось 25,1% южнокорейского экспорта и 21,3% импорта (США по обоим показателям отставали от Китая на 10 процентных пунктов и более)⁶, а на публичные политические демарши против Пекина официальный Сеул пока не отваживается⁷ – к досаде южнокорейских консерваторов. В их политическом лексиконе «гибкая дипломатия» Мун Чжэина, направленная одновременно на развитие стратегического партнерства с Китаем и укрепление альянса с США, получила презрительное название: «стратегическая нерешительность (или двусмысленность)». Наиболее радикальные противники обвиняют его в том, что он «продает страну Китаю».

Разумеется, подобные сентенции остаются политическими маргиналиями. РК не является ни «образцовым вассалом Китая», ни «марионеткой США». В контексте противостояния с Вашингтоном Пекин стремится перетянуть Сеул на свою сторону, однозначно и публично поддерживая любые устремления РК

1 "[표] 북한 노동당 규약 주요 개정 내용 ([Table] Major Amendments to the North Korean Labour Party Agreement)," 연합뉴스, June 1, 2021, accessed July 27, 2021, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210601170100504?fbclid=IwAR3I3vw0J27xgDrFHkwmpqCESh3yuv66Kpy9UIQvTBx11ABDN5imGhbAyM>.

2 Chun 2000, 80.

3 Cha 2003, 23–24.

4 Kim et al. 2018.

5 Ланьков, А. Война за кимчи: как история и национализм сталкивают Китай и Южную Корею // Московский центр Карнеги. 04 июня 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://carnegie.ru/commentary/84599> (дата обращения: 26.06.2021).

6 "UN Comtrade Database 2021," The United Nations, accessed June 26, 2021, <https://comtrade.un.org/>.

7 Kim Dongwoo, "The Politics of South Korea's 'China Threat,'" The Diplomat, April 05, 2021, accessed June 26, 2021, <https://thediplomat.com/2021/04/the-politics-of-south-koreas-china-threat/>.

к независимой политике – по крайней мере до тех пор, пока та демонстрирует понимание китайских «красных линий», касающихся Тайваня и Гонконга. Сеул, оставаясь формальным и фактическим союзником США, далеко не всегда следует даже его прямым директивам. На региональном уровне ярким примером такой «непокорности» стала позиция Южной Кореи во время шестисторонних переговоров, а на глобальном об этом очевидно свидетельствуют результаты голосования на сессиях ГА ООН, где Сеул за последние 15 лет в среднем поддерживал Вашингтон реже чем в половине случаев (правда, в последние годы уровень поддержки даже вырос и в 2015–2017 гг. доходил до 47–48%)¹.

Стремление к политической субъектности было заложено в общественное сознание корейцев в самом начале периода нациестроительства, а вся его история только подпитывала это стремление. Однако не менее глубоко в южнокорейской политической идентичности укоренено и представление о необходимости и фактической безальтернативности асимметричного альянса с США, в котором Сеул жертвует частью суверенитета для обеспечения своей безопасности. Эта дилемма и сегодня определяет ключевые особенности внешней политики Республики Корея в АТР.

Дискурс о «среднедержавности», относительно непротиворечиво сочетающий и притязания на автономию, и ограничения на ее практические проявления, подчеркивал стремление Сеула к международной субъектности. Развитием этого дискурса стала риторика о «стратегической автономии» – модной, но не вполне оформившейся концептуально идеи о еще более независимой и диверсифицированной региональной и глобальной политике.

Конечно, даже апологеты стратегической автономии признают, что «среднедержавные» амбиции Сеула существенно ограничены как внешними, так и внутренними факторами². Далеко не все аспекты реализации этого дискурса встречают общенациональный консенсус. Так, претензии Но Мухёна на роль регионального посредника вызвали заметное внутреннее сопротивление, спровоцировав трения между различными ведомствами³.

Подводя промежуточный итог анализу южнокорейского дискурса о стратегической автономии, стоит отметить, что сама его недостаточная концептуализация предоставляет широкие возможности как для теоретических, так и для практических трактовок, что делает понятие «стратегической автономии» чрезвычайно динамическим.

На сегодня этот солидно звучащий конструкт остается элементом прежде всего внутриполитической дискуссии (и инструментом внутриполитической легитимации) либералов-прогрессистов и консерваторов. Если прогрессисты понимают стратегическую автономию как амбициозную декларацию претензий Сеула на более значимую роль в мире, то для консерваторов это в лучшем случае – политическая воля, необходимая для того, чтобы сделать верный выбор между США и КНР в усложняющейся международной обстановке. При этом, – когда по умолчанию, когда открыто, – они утверждают, что выбора как такового

1 Истомин, Байков 2019, 42.

2 Choe 2021, Executive summary.

3 Shin 2016, 197.

вовсе нет и основой для внешней политики (по крайней мере в области обеспечения безопасности) может быть только союз с США. Многие внешние наблюдатели разделяют эту позицию¹. Общность идейно-политических ценностей США и РК неоспорима. Китай союзником РК быть не может (либеральная демократия и социализм – пусть и «с китайской спецификой» – доктринально несовместимы), а Япония скорее является ее конкурентом за влияние в регионе и даже источником определенных угроз. Так что целью Сеула, скорее, должно быть вытеснение Токио с позиции главного союзника Вашингтона (комментируя итоги американо-южнокорейского саммита, южнокорейская пресса оживленно перечисляла признаки предпочтительного, по сравнению с Японией, отношения США к РК²).

В этом качестве Южная Корея, конечно, должна занять роль главного эксперта по северокорейским делам, под контролем которого находится вся международная коммуникация КНДР. «Идеальным вариантом для Сеула была бы однозначная пассивная поддержка Россией³ его видения и инициатив в отношении Севера, полярность которых меняется в зависимости от предпочтений действующей власти»⁴.

В завершение нашего исследования хотелось бы обратить внимание на две теоретические концепции, которые представляются нам весьма перспективными (в том числе и для оценки развития дискурса о «стратегической автономии»). Прежде всего, это модель «системного воздействия» Э. Карра. Ее основное достоинство в том, что она делает акцент на региональных событиях и требует постоянного мониторинга и переоценки структуры международных отношений и конкретного влияния страны в рамках этой структуры. Анализ этого влияния позволит понять, насколько политический дискурс подкрепляется как дискурсивными, так и эмпирическими результатами, насколько полно воплощается на практике декларируемая страной международная роль и как изменяется представление об этой роли в процессе международного взаимодействия (иными словами, насколько велика «напористость» Сеула на международной арене и как она реализуется на практике).

Для верификации этой оценки, как нам представляется, может быть очень полезна методика, предложенная И. Сафранчуком и Ф. Лукьяновым⁵, основанная на трактовке «дилеммы заключенного». Отмечая радикальные изменения в структуре и формах взаимодействия стран на мировой арене (сочетание материальной глобальности с идейной неоднородностью), они приходят к выводу о том, что на смену традиционной конфронтационной «игре с нулевой суммой» приходят взаимодействия, в которых участники стремятся не столько к абсолютной выгоде за счет конкурента, сколько к минимизации взаимных потерь по модели *not-lose – not-lose*. По нашему мнению, такая модель пригодна для

1 Ланьков, А. Принуждение к выбору: за кем пойдет Сеул // Международный дискуссионный клуб «Валдай». 27 мая 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/prinuzhdenie-k-vyboru-za-kem-poydyet-seul/> (дата обращения: 18.07.2021).

2 Yeo Hyun-jun, "South Korea's Left and Right Praised ROK-US Summit, but for Different Reasons."

3 То же справедливо и по отношению к другим странам. Сеул всегда претендовал на роль «главного переводчика с северокорейского», хотя во многих случаях КНДР удавалось добиваться более серьезных результатов без южнокорейского посредничества.

4 Дьячков 2020а, 73.

5 Сафранчук, Лукьянов 2021.

теоретического анализа как «гибкой дипломатии» (то есть лавирования между Китаем и США) Мун Чжэина, так и попыток Сеула добиться большей автономии в рамках союза с США.

Вторая, более «крупная», рамка – это концепция комплексов региональной безопасности (КРБ) Б. Бузана – О. Вэйвера. Эта концепция востребована и среди отечественных, и среди зарубежных специалистов¹, но нам представляется, что ее потенциал реализован далеко не полностью. Для государств региона характерны сильная взаимосвязанность и взаимозависимость. Вопросы региональной безопасности отличаются высокой динамикой (так, уже упомянутая группа молодых южнокорейских консерваторов перспективу падения нынешнего северокорейского режима с последующим объединением страны по немецкому образцу считает едва ли не более серьезной угрозой национальным интересам, чем прямую агрессию со стороны Пхеньяна²). В регионе сталкиваются интересы великих и средних держав (что формально выходит за рамки концепции КРБ, постулирующей преимущественно эндогенный характер угроз безопасности, однако Б. Бузан и О. Вэйвер выделяют Восточную Азию в особый «суперкомплекс»), и вопросы их взаимоотношений интенсивно секьюритизируются как на национальном, так и на межгосударственном уровнях. А поскольку секьюритизация – процесс дискурсивный, в нем может проявляться то «системное влияние», о котором говорит Э. Карр: у того, кто ведет этот дискурс, будет больше возможностей для формирования региональной структуры безопасности и воздействия на нее. Иными словами, способность страны секьюритизировать на внутривнутриполитическом и международном уровнях ту или иную региональную проблему будет отражать как меру ее стратегической автономии, так и уровень дискурсивного влияния, а степень ее участия и фактический вклад в формирование региональных комплексов безопасности – меру ее эмпирического влияния.

1 См., например: Лукин 2011; Cho 2020.

2 Ланьков, А. «Господин Пак» и окружающий его мир.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Алексеева, Т. Мыслить конструктивистски: Открывая многоголосый мир // Сравнительная политика. – 2014. – 5 (1(14)). – С. 4–21. [https://doi.org/10.18611/2221-3279-2014-5-1\(14\)-4-21](https://doi.org/10.18611/2221-3279-2014-5-1(14)-4-21).
- Alexeyeva, T. A. "Think Like Constructivist: Discovering a Polyphonic World." *Comparative Politics (Russia)* 5, no. 1(14) (July 8, 2015): 4–21 [In Russian].
- Воронцов, А., Понька, Т., Варпаховскис, Э. Концепция «средней силы» (Middle Power) во внешней политике Республики Корея // Международные процессы. – 2020. – 18(1). – С. 89–105. <https://doi.org/10.17994/IT.2020.18.1.60.5>.
- Vorontsov, A., T. Ponka, and E. Varpahovskis. "Middlepowermanship in Korean Foreign Policy." *International Trends / Mezhdunarodnye Protsestry* 18, no. 1 (January 26, 2021): 89–105 [In Russian].
- Дьячков, И. Российско-южнокорейские политические связи: 30 лет спустя // *Корейский полуостров: история и современность*. – М.: ИДВ РАН, 2020а. – 456 с.
- Dyachkov, I. "Rossijsko-yuzhnokorejskie politicheskie svyazi: 30 let spustya." In *Korejskij poluostrov: istoriya i sovremennost'*. Moscow: IDV RAS, 2020a [In Russian].
- Дьячков, И. Остров Токто в южнокорейско-японских отношениях: история, память, политика // Электронный научно-образовательный журнал «История». – 2020b. – Том 11. – Выпуск 12 (98). – Часть 1.
- Dyachkov, Ilya. "Ostrov Tokto v yuzhnokorejsko-yaponskih otnosheniyah: istoriya, pamyat', politika." *Elektronnyj nauchno-obrazovatel'nyj zhurnal "Istoriya"* 11, no. 98 (2020b) [In Russian].
- Истомин, И., Байков, А. Динамика международных альянсов в неравновесной мировой системе // Мировая экономика и международные отношения – 2019. – Том 63, № 1. – С. 34–48. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-1-34-48>.
- Istomin, I., and A. Baykov. "Dynamics of International Alliances in an Unbalanced World Structure." *World Economy and International Relations* 63, no. 1 (2019): 34–48 [In Russian].
- Лукин, А. Россия и Корейский полуостров: политический реализм и эмпатия // Полис. Политические исследования – 2021. – № 3. – С. 182–191. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.03.12>.
- Lukin, A. "Russia and the Korean Peninsula: Political Realism and Empathy." *Polis. Political Studies*, no. 3. (2021): 182–191 [In Russian].
- Лукин, А. Теория комплексов региональной безопасности в Восточной Азии // Ойкумена. Регионоведческие исследования. – 2011. – № 2. – С. 7–19.
- Lukin, A. "The Regional Security Complex Theory and East Asia." *Ojkumena. Regionovedcheskie issledovaniya*, no. 2 (2011): 7–19 [In Russian].
- Юнгблуд, В. Садаков, Д. Дипломатическое обеспечение вмешательства США в корейскую войну. Опыт кризисного реагирования // Вестник МГИМО-университета. – 2018. – № 4 (61). – С. 241–261. <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-4-61-241-261>.
- Yungblud, V., and Sadakov, D. "Diplomatic Support of US Involvement in the Korean War June 25 – July 6 1950: Crisis Response Experience." *MGIMO Review of International Relations* 4, no. 61 (September 1, 2018): 241–61 [In Russian].
- Сафранчук И., Лукьянов Ф. Современный мировой порядок: структурные реалии и соперничество великих держав // Полис. Политические исследования. – 2021. – № 3. – С. 57–76.
- Safranchuk, Ivan A., and F. Lukyanov A. "The Modern World Order: Structural Realities and Great Power Rivalries." *Polis. Political Studies*, no. 3 (2021): 57–76 [In Russian].
- Asmolov, Konstantin V. "Lessons of Korean Democratization for Modern Russia." *Russia in Global Affairs* 17, no. 2 (2019): 174–200. <https://doi.org/10.31278/1810-6374-2019-17-2-174-200>.
- Bong, Y. "Continuity Amidst Change: The Korea – United States Alliance." In *Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century*, edited by M. Wesley, 45–58. ANU Press: Australia, 2017.
- Carr, Andrew. "Is Australia a Middle Power? A Systemic Impact Approach." *Australian Journal of International Affairs* 68, no. 1 (January 31, 2014A): 70–84. <https://doi.org/10.1080/10357718.2013.840264>.
- Carr, A. "Is Australia a Middle Power?" *Australian Outlook. Australian Journal of International Affairs*. March 07, 2014B. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/is-australia-a-middle-power/>.
- Cha, V. "America's Alliances in Asia: The Coming 'Identity Crisis' with the Republic of Korea?" In: Jr. Boose, W. Donald, Y. Balbina, M. Hwang, P. Morgan, and A. Scobell, eds. *Recalibrating the U.S.-Republic of Korea Alliance*. Strategic Studies Institute (SSI), 2003.
- Chapnick, Adam. "The Middle Power." *Canadian Foreign Policy Journal* 7, no. 2 (January 1999): 73–82. <https://doi.org/10.1080/11926422.1999.9673212>.
- Chapnick, Adam. "The Canadian Middle Power Myth." *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis* 55, no. 2 (June 25, 2000): 188–206. <https://doi.org/10.1177/002070200005500202>.
- Choe Wongi. " 'New Southern Policy': Korea's Newfound Ambition in Search of Strategic Autonomy." *Asie.Visions*, No. 118, Ifri. January 2021. www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/choe_new_southern_policy_korea_2021.pdf.
- Choi, Y. "South Korea's Regional Strategy and Middle Power Activism." *Journal of East Asian Affairs* 23, no. 1 (2015): 47–67.
- Chun, Chaesung. "Theoretical Approaches to Alliance: Implications on the R.O.K.–U.S. Alliance." *Journal of International and Area Studies* 7, no. 2 (2000): 71–88.
- "Chapter Two: Comparative Defence Statistics." *The Military Balance* 121, no. 1 (January 1, 2021): 23–29. <https://doi.org/10.1080/04597222.2021.1868791>.
- Cooper, A., R. Higgott, and K. Nossal. *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order*. UBC Press: Vancouver, 1993.
- Cox, Robert W. "Middlepowermanship, Japan, and Future World Order." *International Journal* 44, no. 4 (1989): 823. <https://doi.org/10.2307/40202638>.
- Dyachkov, Ilya. "Collective Memory And Politics: 'Comfort Women' In Current Relations Between South Korea And Japan." *Russian Japanology Review*, no. 2. (2020): 68–87.
- Easley, Leif-Eric, and Kyuri Park. "South Korea's Mismatched Diplomacy in Asia: Middle Power Identity,

Interests, and Foreign Policy." *International Politics* 55, no. 2 (March 19, 2018): 242–63. <https://doi.org/10.1057/s41311-017-0073-5>.

Green, M. J. "Is the Era of Korean Middle Power Diplomacy Over? A Realist Perspective." *Korean Journal of Defense Analysis* 31 (2019): 1–20.

Jackson, Robert H. *Quasi-states: Sovereignty, International relations and the Third World*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Jordaan, Eduard. "The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers." *Politikon* 30, no. 1 (May 30, 2003): 165–81. <https://doi.org/10.1080/0258934032000147282>.

Jordaan, Eduard. "The Emerging Middle Power Concept: Time to Say Goodbye?" *South African Journal of International Affairs* 24, no. 3 (July 3, 2017): 395–412. <https://doi.org/10.1080/10220461.2017.1394218>.

Kim, S. "South Korea's Middle-Power Diplomacy: Changes and Challenges." *Chatham House Royal Institute of International Affairs*, 2016. <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-06-22-south-korea-middle-power-kim.pdf>.

Kim, Sung-Mi, Sebastian Haug, and Susan Harris Rimmer. "Minilateralism Revisited: MIKTA as Slender Diplomacy in a Multiplex World." *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations* 24, no. 4 (2018): 475–489. <https://doi.org/10.1163/19426720-02404001>.

Korhonen, Pekka, and Tomoomi Mori. "North Korea as a Small Great Power." *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus* 17, no. 5 (2019): 1–25.

Leonard, Mark, and Jeremy Shapiro. "Strategic Sovereignty: How Europe Can Regain the Capacity to Act." *European Council on Foreign Relations*, 2019. https://ecfr.eu/archive/page/-/1_Empowering_EU_member_states_with_strategic_sovereignty.pdf.

Morrow, James D. "Alliances and Asymmetry: An Alternative to the Capability Aggregation Model of Alliances." *American Journal of Political Science* 35, no. 4 (November 1991): 904. <https://doi.org/10.2307/2111499>.

Morrow, James D. "Arms versus Allies: Trade-Offs in the Search for Security." *International Organization* 47, no. 2 (1993): 207–33. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027922>.

Myers, B. *North Korea's Juche Myth*. Sthele Press, 2015.

Ping, Jonathan H. *Middle Power statecraft: Indonesia, Malaysia and the Asia Pacific*. London: Ashgate, 2005.

Robertson, Jeffrey. "South Korea as a Middle Power: Capacity, Behavior, and Now Opportunity." *International Journal of Korean Unification Studies* 16, no. 1 (2007): 151–174.

Robertson, Jeffrey. "Middle-Power Definitions: Confusion Reigns Supreme." *Australian Journal of International Affairs* 71, no. 4 (July 4, 2017): 355–70. <https://doi.org/10.1080/10357718.2017.1293608>.

Saxer, Carl J. "Capabilities and Aspirations: South Korea's Rise as a Middle Power." *Asia Europe Journal* 11, no. 4 (December 18, 2013): 397–413. <https://doi.org/10.1007/s10308-013-0361-7>.

Shin, Gi-Wook, and Hilary Jan Izatt. "Anti-American and Anti-Alliance Sentiments in South Korea." *Asian Survey* 51, no. 6 (November 1, 2011): 1113–33. <https://doi.org/10.1525/as.2011.51.6.1113>.

Shin, Soon-ok. "South Korea's Elusive Middlepowermanship: Regional or Global Player?" *The Pacific Review* 29, no. 2 (March 14, 2016): 187–209. <https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1013494>.

Shin, D.M. "The Concept of Middle Power and the Case of the ROK: A Review." In: F. Rüdiger, J. Hoare, P. Köllner, and S. Pares, eds. *Korea 2012: Politics, Economy and Society*. Leiden: Brill, 2012.

Snyder, Glenn H. "The Security Dilemma in Alliance Politics." *World Politics* 36, no. 4 (July 13, 1984): 461–95. <https://doi.org/10.2307/2010183>.

Snyder, S. *South Korea at the Crossroads: Autonomy and Alliance in an Era of Rival Powers*. New York: Columbia University Press, 2018.

Sohn, Y. "Searching for a New Identity: South Korea's Middle Power Diplomacy." *Friede Policy Brief* 212, (2015): 1–6.

권영근. "대한민국의 안보와 자율성에 관한 미국의 인식과 행태 연구." 전략연구 23.3 (2016): 91–125.

"South Korea's Security And Autonomy Of The United States Regarding The Recognition And Behavioral Research." *Korean Strategy Reform Institute* 23, no. 3 (2016): 91–125. <https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07047774> [In Korean].

이수형. «남북한 한반도 정치와 강대국 동맹정치 간의 연계성 분석» 세계정치16, no.0 (2012): 141–170.

Soo Hyung Lee. "The Linkage Between South-North Korean Politics and Great Power Politics in Northeast Asia." *World Politics* 16, no.0 (2012): 141–170 [In Korean].

Сведения об авторах*Константин Валерианович Асмолов,*

к.и.н., в.н.с. Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН и Международного учебно-научного центра корееведческих исследований Института стран Азии и Африки при МГУ.
Россия, 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32.

ResearcherID: G-5161-2019**ORCID:** 0000-0003-1584-2748**IstinaResearcherID (IRID):** 5857994**e-mail:** kvasm@mail.ru; asmolov@ifes-ras.ru*Александр Валерьевич Соловьев,*

заместитель главного редактора журнала «Россия в глобальной политике»;
приглашенный преподаватель департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Россия, 119049, Москва, А/Я 623, ФИМП.

ResearcherID: Y-6177-2018**ORCID:** 0000-0003-2897-0909**e-mail:** a.soloviev@globalaffairs.ru**Дополнительная информация**

Поступила в редакцию: 5 июня 2021.

Переработана: 14 июля 2021.

Принята к публикации: 19 июля 2021.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Благодарности

Авторы выражают искреннюю признательность анонимным рецензентам за конструктивную критику и замечания, а также А. Ланькову и А. Цыганкову за ценные советы и комментарии.

Цитирование

Асмолов, К.В., Соловьев, А.В. Стратегическая автономия Республики Корея: интеллектуальная химера или политическая реальность? // Международная аналитика. – 2021. – Том 12 (2). – С. 49–73.
<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-49-73>

Strategic Autonomy for ROK: Intellectual Pipe Dream or Political Reality?

ABSTRACT

The discourse of “strategic autonomy,” which has gained popularity in the Republic of Korea in recent years, has yet to undergo serious theoretical revision. This article attempts to fill the gap by examining the South Korean discourse of “middle powers,” from which the discourse of “strategic autonomy” grew, and the socio-historical analysis of Korean perceptions of political subjectivity, which developed under the powerful influence of both Western ideas from the early 20th century and the political realities of the military alliance with the United States. In the first section the authors examine the specifics of South Korea’s use of the concept of “strategic autonomy” in relation to its foreign policy strategy. This concept is examined using a constructivist paradigm. In the second section, the authors examine the discourse of “middle power,” around which the concept of “strategic autonomy” is built. Compared to the former, this concept is quite elaborated in Western

and Korean political discourses. Finally, the third section of the article examines the evolution of these concepts in South Korean discourse. The circumstances of the formation and development of the military-political alliance with the United States play an extremely important role in this evolution, and the discourse around its prospects largely determines the features of the country's domestic policy. The authors conclude that from the academic point of view the concept of "strategic autonomy" can only be considered as a discursive category close to the concept of "hedging," but it is an important element of South Korea's political identity and an essential factor of internal political struggle.

KEYWORDS

strategic autonomy, middle power, hedging, the ROK–U.S. alliance, systemic impact, discourse, flexible coalitions

Authors

Konstantin V. Asmolov,

PhD in History, Leading Researcher at the Center for Korean Studies, Institute of the Far East, Russian Academy of Sciences, and the International Center for Korean Studies, Institute of Asian and African Studies, Moscow State University. 32 Nakhimovsky pr., Moscow, 117997, Russia.

ResearcherID: G-5161-2019

ORCID: 0000-0003-1584-2748

IstinaResearcherID (IRID): 5857994

e-mail: kvasm@mail.ru; asmolov@ifes-ras.ru

Alexander V. Soloviev,

Deputy Editor-in-Chief, "Russia in Global Affairs," Visiting Lecturer, Department of International Relations, Department of World Economy and World Politics, National Research University Higher School of Economics. Russia, 119049, Moscow, A/Y 623, FIMP.

ResearcherID: Y-6177-2018

ORCID: 0000-0003-2897-0909

e-mail: a.soloviev@globalaffairs.ru

Additional information

Received: June 5, 2021. Revised: July 14, 2021. Accepted: July 19, 2021.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the authors.

Acknowledgements

The authors thank the anonymous reviewers for their constructive criticism and comments, as well as A. Lankov and A. Tsygankov for their valuable advice and comments.

For citation

Asmolov, Konstantin V., and Alexander V. Soloviev. "Strategic Autonomy for ROK: Intellectual Pipe Dream or Political Reality?" *Journal of International Analytics* 12, no. 2 (2021): 49–73.
<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-49-73>

Индия в постбиполярную эпоху: тридцатилетие поиска места в мире

Алексей Владимирович Куприянов, ИМЭМО РАН, Москва, Россия

Глеб Григорьевич Макаревич, ИМЭМО РАН, Москва, Россия

Контактный адрес: a.kupriyanov@imemo.ru

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются инструменты и механизмы, которые индийские политические элиты применяли для адаптации внешнеполитической стратегии по окончании холодной войны. Авторы кратко описывают внутриполитическое развитие Индии за последние 30 лет, отмечая, что, несмотря на неоднократный переход власти от одной коалиции к другой, общая внешнеполитическая и экономическая линии оставались неизменными благодаря межпартийному консенсусу, обеспечивавшему преемственность курса. Особое внимание уделяется стремлению индийского руководства сформировать мощный экономический базис, воспринимаемый в рамках стратегической мысли Индии как обязательное условие, позволяющее стране претендовать на статус великой державы. Авторы утверждают, что индийские элиты после 1991 г. взяли курс на выстраивание сферы влияния, которая должна была стать экономической, политической и военной основой для превращения Индии в один из полюсов полицентричного мира. Выделяются ключевые для индийской внешней политики направления (Южная Азия, Юго-Восточная Азия, регион Индийского океана, Ближний Восток) и отмечается, что основные внешние вызовы безопасности Индии остались прежними (Китай и Пакистан), хотя изменились качественно: КНР стала одной из сверхдержав, обогнав Индию по уровню экономического развития, а Пакистан обзавелся ядерным оружием. Авторы приходят к выводу, что в целом индийские элиты сумели сравнительно благополучно провести страну через хаос первых десятилетий постбиполярного мира, превратив ее в одну из крупнейших экономик мира и обеспечив необходимые условия для повышения статуса в мировой политике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Индия, экономика, внешняя политика, Китай, Нарендра Моди

По окончании холодной войны Индия, как и многие другие страны мира, столкнулась с серьезной внешнеполитической проблемой: потеряла смысл внешнеполитическая линия, которой до этого придерживался Нью-Дели. Позиционируя себя как одного из лидеров Движения неприсоединения, Индия стремилась набирать политические очки при помощи призывов к разоружению и примирению, укрепляя в то же время связи с обеими враждующими сторонами и сравнительно недавно освободившимися африканскими и азиатскими государствами в расчете на повышение международного статуса и вступление в клуб великих держав. К началу 1990-х гг. Индия благодаря своей удачной внешней политике вплотную приблизилась к этой цели, но неожиданный конец холодной войны разрушил все планы индийских политических элит, привыкших к биполярности и воспринимавших ее как устойчивое состояние международных отношений. В течение последних десятилетий Индия, сохраняя формальный нейтралитет, явно сближалась с Советским Союзом и другими социалистическими странами, оказывая им международную поддержку (в частности, отказавшись осудить ввод советских войск в Афганистан).

С распадом Организации Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи Нью-Дели оказался в непростой ситуации: Индия, десятилетиями стремившаяся к утверждению в статусе великой державы, не могла и не хотела идти по пути, который выбрали многие бывшие союзники СССР, предавшие коммунистические элиты суду и люстрации и перешедшие на сторону победителя. Подобный курс означал бы потерю авторитета прогрессивной державы, наработанного Индией с начала 1970-х гг.

На геополитические изменения наложились также внутривнутриполитические и внутриэкономические проблемы в самой стране. Обвинения руководства партии Индийский национальный конгресс (ИНК) в коррупции, напряженные отношения с Пакистаном, неоднозначная реакция в обществе на участие индийских вооруженных сил в военном конфликте на Шри-Ланке, рост центробежных тенденций внутри страны привел к поражению ИНК на выборах в 1989 г., а после возвращения ИНК к власти в 1991 г. остро поставил перед его руководством вопрос о необходимости переосмысления социально-экономической политики, а также регионального и глобального измерений внешней политики¹.

Настоящая статья посвящена анализу процесса поиска Индией своего места в мире в течение последних тридцати лет. В ней исследуются шаги, которые предпринимали политические элиты Индии для того, чтобы интегрироваться в новый международный порядок, сложившийся после холодной войны, и извлечь из него максимальную выгоду; рассматриваются модели, внутренние и внешние причины поведения этих элит; анализируются применяемые ими внешнеполитические инструменты, позволившие Индии не только благополучно преодолеть тридцатилетие неопределенности, но и претендовать на роль одного из столпов нового мирового порядка.

Выбор методологической основы для исследования современной индийской политики связан с определенными проблемами: традиционные западные теории

1 Белокреницкий et al. 2003, 65.

международных отношений (МО) ограниченно пригодны для анализа поведения восточных обществ. Да, Индия, равно как Китай и Япония, подверглась глубокой вестернизации в XIX–XX вв.; однако поведение ее элит объяснимо в рамках политического реализма или институционального либерализма лишь в той степени, в какой эти элиты заимствовали идеи реализма или идеализма из европейской политической теории и практики. К примеру, индийские элиты не воспринимают отношения Китая и Индии ни как игру с нулевой суммой, ни как пример растущей взаимозависимости, приводящей к минимализации конфликтов; для них это естественное сосуществование двух великих государств-цивилизаций, теснейшим образом связанных культурно и экономически и определяющих границы взаимного влияния. При этом учитывается факт существования малых государств, не менее древних, чем Индия и Китай, которые либо сохраняют независимость, либо включаются в состав этих гигантских цивилизационных политий, укрепляя в то же время культурную самобытность.

Наиболее подходящими для анализа индийской внешней политики представляются критическая теория и отдельные направления конструктивизма. Так, интерес представляет критическая геополитика, основные положения которой представлены в работах Дж. Тоала¹ и Дж. Эгнью², позволяющая проанализировать формирование геополитических представлений индийских элит в новейшее время (в частности, повышенное внимание к экономическим аспектам внешнеполитической деятельности и новейший индийский геополитический конструкт – концепцию Индо-Пацифики). Для анализа применима концепция стратегической культуры, изложенная в работах И. Джонсона³, К. Грея⁴, П. Катценштайна⁵ и других исследователей, предполагающая наличие определенной среды, ограничивающей модели поведения политических элит, находящихся под влиянием исторического опыта, представлений и предрассудков, сложившихся в ходе существования определенного общества. Концепция стратегической культуры, таким образом, требует системного использования исторических и социологических методов исследования, то есть включения в набор инструментов исторической социологии международных отношений – направления исследований МО, разработанного в трудах Дж. Хобсона⁶, С. Хобдена⁷, Дж. Лоусона⁸ и др. Это позволяет нам избавиться от свойственных традиционным концепциям МО хронофетишизма и темпоцентризма⁹, рассматривая последнее тридцатилетие развития Индии как часть долгого исторического пути. В итоге мы анализируем новейшую индийскую внешнюю политику, учитывая исторический опыт, приобретенный индийскими элитами, их представления о месте Индии в мире и ее внешнеполитических императивах, сложившихся в рамках системы представ-

1 Ó Tuathail 1995.

2 Ó Tuathail, Agnew 1992.

3 Johnston 1995.

4 Gray 1986.

5 Katzenstein 1998.

6 Hobson 2002.

7 Hobden 1998.

8 Lawson 2006.

9 Хронофетишизм – модель рассуждения, предполагающая, что происходящие в настоящем события и процессы являются неизменными и могут быть адекватно поняты без представления об историческом развитии ситуации; темпоцентризм – применение существующих в настоящем представлений к прошлому без учета специфики исторического процесса.

лений, присущей социуму, продуктом которого они являются, и под влиянием внешнего воздействия. В то же время критический анализ их целей и устремлений помогает понять, чем руководствуются эти элиты, предпринимая те или иные действия на внешнеполитической арене.

Статья состоит из четырех частей: в первой части дается краткий очерк пост-биполярной истории, во второй – анализируется развитие индийской экономики, которое в представлении политических элит Нью-Дели является основой для того, чтобы претендовать на роль великой державы (а в перспективе – и сверхдержавы); в третьей – главные императивы индийской внешней политики как на общемировом, так и на региональном уровнях; в четвертой – внешние вызовы, стоящие сегодня перед Индией.

Обзор литературы

За последнее тридцатилетие появилось множество работ, описывающих экономические, внешне- и внутривнутриполитические аспекты развития Индии в этот период. Однако до сих пор не вышло ни одной публикации, в которой бы обзорно давался комплексный анализ развития страны.

Среди имеющихся работ можно отметить любопытное расхождение в предмете изучения: если исследования зарубежных англоязычных авторов сконцентрированы в основном на проблемах экономики и внешней политики¹ и призваны объяснить для западного читателя индийское «экономическое чудо»², а также обрисовать предполагаемый дальнейший внешнеполитический курс Индии, то индийские авторы, также активно анализирующие экономические и внешнеполитические вопросы³, уделяют большее внимание проблемам внутренней политики⁴. Это вполне объяснимо: большинство их работ написано с целью критики либо защиты действующей власти, как следствие, оценки деятельности ныне живущих политиков, в частности Н. Модии и М. Сингха, кардинально разнятся. В последние десятилетия наблюдается резкое увеличение числа публикаций индийских авторов по сравнению с предшествующим периодом; индийцы зачастую выступают соавторами издаваемых на Западе работ, и западный читатель все чаще смотрит на Индию глазами ее уроженцев, невольно становясь пассивным участником политической борьбы, в рамках которой пишутся эти книги и статьи.

Особняком стоят работы, авторы которых концентрируются на жизнеописаниях премьер-министров, анализируя деятельность возглавляемых ими правительств. Таковы книги В. Ситапати, посвященные жизни и деятельности Н. Рао⁵, многочисленные апологетические биографии А.Б. Ваджпаи⁶, работы, анализирующие два премьерских срока М. Сингха (из них наиболее яркой является нашумевшая книга С. Бару⁷), и публикуемые ежегодно книги, посвященные дей-

1 Hansel et al. 2017; Wojczewski 2018.

2 McCartney 2019; Kennedy 2013; Zajączkowski et al. 2014; Luce 2008.

3 Banerjee et al. 2018; Varma 2019; Tharoor, Saran 2020; Gupta, Shukla 2009.

4 Guha 2012; Sharma 2015.

5 Sitapati 2016; Sitapati 2018.

6 Thakur, Sharma 1999.

7 Baru 2014.

ствующему премьеру – от восторженных до резко критических, среди которых можно выделить работу Б. Карнада¹. Сам стиль этих работ позволяет провести границу, отделяющую для индийцев историю от современности: если покойные Н. Рао и А.Б. Ваджапайи предстают в абсолютном большинстве исследований идеальными политическими деятелями, совершавшими незначительные ошибки, то периоды правления Сингха и Моди уже являются областью актуальной политики, а не истории и обсуждаются очень горячо. Особняком стоят труды российских ученых, публикующих как работы по конкретным направлениям развития Индии, так и обзорные труды, посвященные новейшей истории страны. Можно отметить известное тяготение отечественной индологии к истории. Хотя такой подход в целом представляется логичным и оправданным, в условиях, когда отечественная индологическая школа еще не оправилась от последствий постсоветского кризиса, он приводит к тому, что российские ученые публикуют гораздо меньше работ, посвященных современному развитию Индии. При этом работы отечественных исследователей в целом отличаются стремлением к комплексному подходу, которого не хватает многим англоязычным авторам². Тем не менее даже работы, в которых наиболее полно рассматриваются все аспекты развития Индии, хронологически не охватывают весь постбиполярный период.

Этапы постбиполярной истории

В целом в истории Индии после холодной войны можно выделить несколько крупных этапов: 1991–1996 гг. – правительство Н. Рао (ИНК), 1998–2004 гг. – правительство А.Б. Ваджапайи (БДП), 2004–2014 гг. – правительство М. Сингха (ИНК), с 2014 г. по настоящее время – правительство Н. Моди (БДП).

Правительство Н. Рао (1991–1996): экономические реформы и смена внешнеполитических ориентиров

Пришедшее к власти в 1991 г. правительство ИНК во главе с Н. Рао оказалось перед двойным вызовом: необходимостью, с одной стороны, искать новую внешнеполитическую модель взаимодействия с другими странами, а с другой – проводить реформы, которые помогли бы вписать Индию в новую общемировую экономическую либеральную модель. В отличие от России индийское руководство, традиционно бережно относившееся к сохранению социально значимых сфер и инструментов экономического развития, выбрало так называемый «срединный путь» реформ, направленный на ускорение экономического роста с учетом индийских традиций государственного регулирования. Уже при Н. Рао были заложены основные векторы внешней политики Индии в постбиполярную эпоху – прежде всего развитие отношений с АСЕАН (*Look East Policy*), Японией и Южной Кореей на востоке, призванное привлечь в индийскую экономику инвестиции и технологии «азиатских тигров» и других мощных азиатских экономик. Кроме того, Индия, невзирая на то, что ситуация на Ближнем Востоке для нее

1 Karnad 2018.

2 Из десятков трудов отечественных индологов, вышедших за последние десятилетия, хотелось бы отметить следующие: Индия сегодня 2005; Юрлов, Юрлова 2010; Кузык, Шаумян 2009.

складывалась явно неблагоприятно (в первую очередь из-за того, что ее ключевой союзник в регионе, Ирак, оказался в положении международного изгоя), продолжала поддерживать режим С. Хусейна. В то же время Нью-Дели активно налаживал связи с другими региональными игроками, с которыми страна до этого контактировала сравнительно мало – прежде всего с арабскими монархиями Персидского залива, с Ираном и Израилем¹. Такая диверсификация помогла Индии обеспечить бесперебойные поставки углеводородов невзирая на падение режима С. Хусейна в 2003 г., а также расширить сферу взаимодействия с ближневосточными игроками за счет импорта высоких технологий и оружия.

*Правительство Ваджнаи (1998–2004):
демонстрация силы и стратегическая автономия*

Хотя правительство Н. Рао не проводило реформы по модели «шоковой терапии», издержки перестройки социально-экономической модели страны вызвали недовольство населения, в результате чего на выборах 1996 г. создать правительство большинства не смогла ни одна политическая сила. Лишь в 1998 г. БДП (*Bharatiya Janata Party*; Индийская народная партия), правой партии религиозно-националистического толка, удалось сформировать правительство большинства под руководством А.Б. Ваджнаи². Однако правительство партии, открыто поддерживающей идеологию «хиндутвы» (индусского национализма) и играющей на противоречиях между индусским большинством и этноконфессиональными меньшинствами в Индии, не стало радикально менять внешнюю политику, опираясь на сложившийся «надпартийный консенсус» в определении национальных интересов государства³. Первое правительство БДП продолжило традиционный курс на стратегическую автономию во избежание открытого конфликта с США как глобальным центром силы, что могло бы подорвать ее возможности по модернизации страны и превращения ее в великую державу. При этом именно на период правления БДП приходится ряд важных шагов, существенно упрочивших положение Нью-Дели как важного мирового игрока. Речь идет прежде всего об испытаниях ядерного оружия в 1998 г., после чего Индия открыто вступила в ряды ядерного клуба, не будучи при этом участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г.

*Правительство Сингха (2004–2014):
стремительный экономический рост и сближение с США*

Продолжая политику стимулирования экономического роста, лидеры БДП недооценили значение избирателей, представляющих аграрный сектор экономики, сделав в своей программе упор на развитие городов. Этим воспользовались противники БДП из Объединенного прогрессивного альянса (ОПА) (*United Progressive Alliance, UPA*) во главе с ИНК, предложив продуманную стратегию поддержки аграрного сектора, которая включала инвестиционные программы,

1 Sanjaya Baru, "Narasimhanomics and the Middle Way," *The Hindu*, April 2, 2016, accessed April 26, 2021, <https://www.thehindu.com/opinion/lead/narasimhanomics-and-the-middle-way/article7061858.ece>.

2 "Bharatiya Janata Party," *Britannica*, March, 29, 2021, accessed April 26, 2021, <https://www.britannica.com/topic/Bharatiya-Janata-Party>.

3 Лунев 2010.

упрощение кредитования, улучшение инфраструктуры на селе¹. После победы ОПА на выборах лидер ИНК С. Ганди отказалась от поста премьер-министра в пользу М. Сингха, занимавшего ранее пост министра финансов и считавшегося «архитектором реформ» при Н. Рао.

Быстрый рост ВВП Индии во время первого срока правительства Сингха, ставший результатом проведенных правительствами Рао и Ваджпаи реформ, помог ИНК одержать убедительную победу на очередных выборах. Однако вскоре коалиция во главе с ИНК столкнулась с кризисными явлениями в индийской экономике, ставшими отголоском мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Темпы роста начали замедляться, а коррупционные скандалы в верхних эшелонах власти², помноженные на непотический характер власти в ИНК (называть Конгресс партией «династии Неру-Ганди» стали не только его политические противники, но и простые обыватели), усугубили ситуацию. Неоднозначную реакцию вызвала и внешняя политика Сингха, нацеленная на сближение с США: премьер-министра обвиняли в том, что он готов пожертвовать интересами Индии ради благосклонности Вашингтона. Низкий авторитет руководства ИНК сыграл на руку БДП, лидером которой по итогам внутрипартийной борьбы к тому моменту стал яркий харизматик «из народа», торговец чаем (*chaai-vaalaa*) Н. Модии, заслуживший репутацию «премьера большинства».

Нарендра Модии: возвращение к корням

Авторитет национального лидера, выступающего на языке хинди и защищающего индусские ценности, принимающего волевые решения в кризисных ситуациях и берущего на себя всю ответственность за происходящее в стране³, позволили БДП не только остаться у власти по итогам первого срока, но даже улучшить свой результат на всеобщих выборах 2019 г., хотя темпы роста ВВП продолжали падать. Еще до оглашения результатов выборов в 2019 г. председатель БДП А. Шах заявил, что БДП не только одержит победу, но и останется у власти ближайшие 50 лет⁴. Несмотря на существующие в кругах индийской интеллигенции опасения по поводу отхода от секуляризма, роста религиозной нетерпимости и авторитарных тенденций⁵, правительство Н. Модии сохраняет поддержку большинства населения, которому импонирует риторика и действия премьер-министра.

Индийская экономика: база для развития

Индийские политические элиты изначально относились к экономическому развитию крайне внимательно, видя в нем необходимую базу для превращения

1 "Congress Party Rule Under Manmohan Singh," Britannica, accessed April 26, 2021, <https://www.britannica.com/place/India/Congress-Party-rule-under-Manmohan-Singh>.

2 Seshadri Chari, "What separates Modi's NDA from Manmohan Singh's UPA – Chidambaram's arrest," The Print August 23, 2019, accessed April 26, 2021, <https://theprint.in/opinion/what-separates-modis-nda-from-manmohan-singhs-upa-chidambarams-arrest/280964/>.

3 Kaveri Bamzai, "What if Coronavirus had hit India under Manmohan Singh, not Modi," The Print, April 8, 2020, accessed April 26, 2021, <https://theprint.in/opinion/if-coronavirus-crisis-hit-india-under-manmohan-singh-not-modi/397338/>.

4 "BJP will win 2019; will rule for next 50 years: Amit Shah," Hindustan Times, September 9, 2018, accessed April 26, 2021, <https://www.hindustantimes.com/india-news/bjp-will-win-2019-will-rule-for-next-50-years-amit-shah/story-uqbwtvGU1osyjqZ19XKP.html>.

5 Kapil Komireddi, "Five More Years of Narendra Modi will Take India to a Dark Place," The Guardian, May 21, 2019, accessed April 26, 2021, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/21/five-more-years-narendra-modi-india-dark-place>.

Индии в великую державу. В значительной степени это было связано с самим генезисом индийского освободительного движения, опиравшегося на финансовую поддержку национальной буржуазии и находившегося под сильным влиянием западных политико-экономических идей, в частности марксизма, постулировавшего важность экономического базиса. Многие лидеры первого поколения политических элит независимой Индии, включая самого премьер-министра Д. Неру и его ближайшего советника К. Менона, симпатизировали социалистическим идеям, доказавшим свою жизнеспособность на примере СССР и набравшим после Второй мировой войны популярность в Великобритании.

Развитие индийской экономики после обретения независимости в 1947 г. отличалось высокой степенью регулирования, что выражалось в сравнительно жестком планировании и распространении госсектора на тяжелую промышленность, поскольку частный сектор был относительно слаб, а от колониального прошлого остались значительные структурные диспропорции, которые могли стать причиной социальных противоречий. Но уже к концу 1980-х гг. государственный сектор стал скорее пассивным, нежели производительным активом: значительная часть предприятий была либо низкорентабельной, либо убыточной; защита от рыночной конкуренции за счет субсидирования предприятий не поощряла новаторских инициатив; разросшийся административно-бюрократический аппарат не был способен принимать взвешенные решения по поводу дальнейшего развития¹.

В июле 1991 г. правительство Н. Рао приступило к программе либерализации экономики, что выразилось в открытии внутреннего рынка для иностранных товаров и услуг, введении частичной конвертируемости национальной валюты, привлечении иностранного капитала и новых технологий, а также в расширении частного сектора, реформировании налоговой и кредитной систем². Одним из ключевых компонентов программы являлось ослабление системы предварительного одобрения бизнес-решений индийским правительством (так называемая *Licence Raj*), в результате чего у индийских предприятий в таких отраслях, как фармацевтика, электроэнергетика, нефтепереработка, производство компьютеров и комплектующих, транспортная инфраструктура, появилась возможность привлекать прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в размере 100 процентов уставного капитала. Умеренной либерализации подвергся банковский сектор и воздушный транспорт (ПИИ – до 74% уставного капитала); телекоммуникаций и страхового сектора либерализация коснулась в меньшей степени (ПИИ – до 26% уставного капитала)³. Результатом комплексной либерализации индийской экономики стал ежегодный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) от 6 до 8 процентных пунктов в некризисные годы первого десятилетия XXI в.⁴, что обеспечило Индии звание третьей экономики мира в расчете ВВП по паритету покупательной способности (ППС)⁵.

1 Медовой, Галищева 2009, 84–90.

2 Галищева 2015.

3 Галищева 2017.

4 "GDP Growth (annual %)," The World Bank Group, accessed April 26, 2021, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>.

5 "GDP, PPP (current international \$)," The World Bank Group, accessed April 26, 2021, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD>.

На протяжении всего пореформенного периода индийское правительство поддерживало курс на постепенную либерализацию экономики, оставляя за собой возможность вмешательства для предотвращения структурных кризисов, провоцирующих социальное напряжение. Экономический курс Н. Модии («Модинномика»), нацеленный на бурный экономический рост после замедления роста ВВП во время второго срока М. Сингха, вполне соответствует традиционной экономической стратегии индийского правительства. При этом Н. Модии объявил о ликвидации Плановой комиссии Индии, с 1950 г. разработавшей 12 пятилетних планов экономического развития, заменив ее Национальным институтом трансформации Индии (*National Institute for Transforming India, NITI Aayog*), где разрабатываются стратегии по ключевым вопросам экономики и политики¹. Это важный шаг, призванный продемонстрировать гибкость кабинета Н. Модии в том, что касается принятия стратегических решений.

Самой значимой инициативой правительства БДП стала программа «Делай в Индии» (*Make in India*), рассчитанная на привлечение зарубежных инвестиций, появление инноваций, развитие навыков сотрудников в ключевых отраслях экономики. В рамках программы у зарубежных инвесторов появилась возможность вкладывать средства в индийский военно-промышленный комплекс (ВПК), железнодорожное строительство, исследования космоса и розничную торговлю². Хотя, согласно ряду оценок, Н. Модии не удалось в полной мере выполнить амбициозные планы, представленные избирателю еще во время предвыборной кампании 2014 г.³, запас доверия к нему оказался столь высок, что правительство шло на решительные, хоть и непопулярные, экономические меры: был произведен вывод из обращения купюр достоинством в 500 и 1000 рупий, призванный побороть коррупцию и спонсирование терроризма, но ударивший по широким слоям населения⁴, а также проведена неоднозначная аграрная реформа, которая вывела на улицы Нью-Дели фермеров штатов Харьяна и Панджаб⁵.

При этом Индия, будучи полноценно встроенной в общую систему товарообмена и глобальной экономики, не может избежать влияния общемировых процессов. Так, уже отмеченный кризис 2008–2009 гг. привел к замедлению темпов роста индийской экономики, что, с учетом повышенного внимания индийского истеблишмента к экономическим показателям, было расценено как провал политики правительства М. Сингха. Аналогичным образом наблюдающееся с 2016 г. замедление темпов экономического роста расценивается многими индийскими экспертами и простыми гражданами как провал экономической политики Н. Модии и активно используется оппозицией для критики нынешнего режима.

Достигнутый за последние десятилетия уровень экономического развития и темпы роста ВВП, превышающие, несмотря на замедление, 4% в год, по всей ви-

1 Брагина 2016.

2 "About Us," Make in India, accessed April 15, 2021, <https://www.makeinindia.com/about>.

3 Maitreesh Ghatak, "Modinomics – What He Promised And What We Got," NDTV, March 27, 2019, accessed April 26, 2021, <https://www.ndtv.com/opinion/what-modinomics-delivered-a-look-before-the-elections-2012305>.

4 Mudit Kapoor, "Two Years of Demonetisation: What Did The Fight Against Black Money Achieve?" Business Today, November 11, 2018, accessed April 26, 2021, <https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/what-has-pm-modi-done-to-fight-black-money-an-explainer/story/280890.html>.

5 Salvatore Babones, "India's Rich Farmers Are Holding Up Reforms Designed to Help the Poor," Foreign Policy, March 30, 2021, accessed April 26, 2021, <https://foreignpolicy.com/2021/03/30/modi-india-farmers-protests-agriculture-reforms-rich-versus-poor/>.

димости, рассматриваются индийским руководством как достаточные для того, чтобы позволить Индии наконец реализовать свои претензии на роль великой державы. При этом стратегия Индии (в том, что касается повышения ее статуса в мировом сообществе) коренным образом отличается от той, которую она проводила на протяжении холодной войны.

Внешняя политика Индии на региональном и макрорегиональном уровнях

Одной из основных задач, которые пришлось решать Индии в постбиполярном мире, стало переформатирование региональной системы международных отношений с целью создания среды, с опорой на которую Индия могла бы отстаивать свой статус великой державы.

В годы холодной войны Индия сравнительно мало внимания уделяла концептуализации пространства региона Южной Азии и Индийского океана. Хотя Нью-Дели регулярно вмешивался во внутренние дела соседних стран, либо поддерживая оппозиционные и сепаратистские движения, либо откликаясь на просьбу дружественных режимов о помощи, эта прагматичная политика обеспечения собственных интересов в зоне непосредственного соседства реализовывалась параллельно с главной линией на повышение статуса и налаживание связей со странами Африки и Ближнего Востока, поддержка которых была необходима для реализации амбициозных планов Индии как лидера Движения неприсоединения.

При этом индийские политические элиты не могли игнорировать угрозу, представляемую соседними государствами – Пакистаном и Китаем. Это восприятие Пекина и Исламабада как основных угроз в сфере безопасности сохранилось до сих пор.

Очерчивая постбиполярную региональную сферу интересов, индийское руководство концентрировалось на четырех направлениях: собственно Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке и морских пространствах Индийского океана. Пятое, африканское, направление воспринималось как вспомогательное. Эти направления взаимосвязаны, и зачастую деятельность на одном из них способствовала изменению ситуации на другом.

В *Южной Азии* Индия имела неоднозначную репутацию. Будучи крупнейшей державой региона, она, как указывалось выше, неоднократно вмешивалась в дела соседних стран, преследуя свои интересы. Основу для изменения этой политики заложил премьер-министр К. Гуджрал (1997–1998), сформулировавший основные принципы так называемой «доктрины Гуджрала», в соответствии с которыми Индии следовало создавать благоприятные условия для развития экономических и в перспективе политических связей с соседями, не рассчитывая на взаимность¹. Хотя эта стратегия не всегда проводилась последовательно (так, во время нахождения у власти правительства Ваджапай министр обороны Дж. Фернандес санкционировал акции, которые можно расценить как вмеша-

1 Murthy 1999, 639–640.

тельство в дела соседних государств), к настоящему моменту Индия воспринимается в Южной Азии в целом как «доброжелательный гегемон»¹, что, разумеется, не означает отсутствия антииндийских настроений в соседних странах или периодических споров с соседями.

Важным инструментом в достижении этой цели стали интеграционные экономические объединения. Они мало напоминают привычные экономические блоки: так, главный южноазиатский интеграционный проект (Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии, СААРК) остается одной из самых слабых интеграционных группировок в мире². Основная причина – внеэкономические факторы, главными из которых является региональное противостояние Индии и Пакистана, а также нежелание малых стран Южной Азии попасть в асимметричную зависимость от Индии. Хотя образование СААРК было инициативой малых стран Южной Азии (в первую очередь Бангладеш и Непала), успех организации всегда напрямую зависел от степени готовности и вовлеченности в процесс интеграции крупных региональных игроков – Индии и Пакистана. Однако попытка повторить опыт европейской интеграции, на который в 1980-е гг. и ориентировались страны Южной Азии, оказалась безуспешной в отсутствие атмосферы взаимного доверия и готовности обсуждать не только общие региональные проблемы, но и двусторонние конфликты.

В результате за 30 лет существования СААРК было проведено 16 саммитов, на которых стороны ограничивались общими декларативными целями без твердо поставленных задач. При этом все попытки стимулировать торговлю между соседями при помощи СААРК оканчивались провалом: доля внутрирегиональной торговли (индикатор интеграции, основанный на показателях внешней торговли стран-участниц объединения и отражающий процент взаимной торговли в общем товарообороте стран-участниц) до сих пор не превышает пяти процентов³, что показывает низкую заинтересованность стран Южной Азии в развитии торговых отношений друг с другом⁴. Это объясняется не только политическими разногласиями и отсутствием четкого целеполагания, но и структурой южноазиатских экономик. Страны региона имеют сходную структуру экономики (высокая занятость населения в сельском хозяйстве, промышленный сектор в основном состоит из предприятий текстильной промышленности, сфера услуг большинства стран не отличается капиталоемкостью и наукоемкостью и в основном представлена розничной торговлей), что не предполагает стремления к синергетическому эффекту взаимодополняющих отраслей экономики – наоборот, большинство стран Южной Азии опасаются, что возможная экономическая зависимость от Индии неминуемо перерастет в политическую⁵.

Индийские политические элиты, однако, не воспринимают опыт СААРК как негативный, полагая, что при наличии в составе организации Пакистана противостояние Нью-Дели и Исламабада было неизбежным. В известной степени допол-

1 Burgess 2009.

2 Kher 2012.

3 "The Potential of Intra-regional Trade for South Asia," The World Bank Group, accessed April 26, 2021, <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2016/05/24/the-potential-of-intra-regional-trade-for-south-asia>.

4 Галищева 2010.

5 Галищева 2009.

нить СААРК должен БИМСТЕК – региональная организация стран Бенгальского залива, где отсутствует Пакистан и Индия играет лидирующую роль. Развитию этого блока Индия уделяет сейчас основное внимание.

Внимание к *Юго-Восточной Азии* в течение последних десятилетий реализовывалось в рамках заявленного еще при Н. Рао курса *Look East Policy* и политики *Act East Policy* (принята правительством Н. Модии), которые подразумевают концептуальное изменение самой модели отношений Индии со странами ЮВА. Если до того они интересовали Нью-Дели сравнительно мало, то в рамках нового курса эти страны превращаются в ключевых региональных партнеров. При этом традиционное нежелание Индии ассоциировать себя с той или иной группой стран предопределило концентрацию Индии на развитии двусторонних отношений со странами АСЕАН (Индонезия, Вьетнам, Мьянма), однако их сотрудничество в основном развивается в области морской инфраструктуры и поддержания безопасности в Индийском океане, а также в сфере военно-технического сотрудничества. Индия могла бы использовать свой потенциал цифровой державы, но она заинтересована в том, чтобы использовать свои ресурсы в области информационных технологий в отношениях со странами развитого Севера, что подтверждается низкими показателями торговли услугами между Индией и странами АСЕАН. Таким образом, Индия стремится скорее сохранять свое присутствие в странах Юго-Восточной Азии, чем планомерно работать над выходом отношений на принципиально иной уровень¹.

Ближневосточный вектор индийской внешней политики исторически складывался из двух тенденций: критической зависимости Индии от импорта углеводородов из стран Персидского залива и уже отмеченного стремления укрепить политические связи с арабскими республиками. Нефтяной бум середины 1970-х гг. привел к массовой миграции индийских рабочих в Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию, Оман и ОАЭ. К настоящему моменту в странах Залива живут и работают более 8,5 млн индийцев. Постепенная смена приоритетов началась с начала 1990-х²; правительство Сингха постепенно выстраивало новые отношения с ближневосточными странами, но лишь после победы БДП на выборах в 2014 г. началась реализация политики *Look West*, причем основной акцент делался на развитии отношений со странами Персидского залива, Израилем и Ираном. Из арабских стран Залива Нью-Дели рассчитывает привлечь крупные инвестиции в экономику страны; Израиль, неоднократно выражавший поддержку индийской политике в Джамму и Кашмире, охотно продает Индии современное оружие и высокие технологии. В июле 2017 г. Н. Модии – первый из индийских премьер-министров – посетил Израиль, где подписал ряд соглашений. Тегеран, в свою очередь, рассматривается Нью-Дели как один из ключевых поставщиков энергоресурсов и потенциальный стратегический партнер: в настоящий момент Индия реализует проект транспортного коридора через иранский порт Чабахар, который должен стать южным пунктом маршрута «Север – Юг» и способствовать проникновению индийского капитала в страны

1 Flake et al. 2017.

2 Kumaswamy 2008.

Центральной Азии¹. При этом санкции США против Ирана вынуждают Индию маневрировать, в каждом конкретном случае делая выбор между Тегераном и Вашингтоном.

В регионе *Индийского океана* Индия до конца 1990-х гг. проводила сравнительно пассивную политику, не концептуализируя пространство как таковое и не формулируя свою стратегию в его отношении. В западных СМИ индийский курс того времени получил название «доктрина Индиры», которая, по мнению американских и европейских экспертов, подразумевала в целом неодобрительное отношение к присутствию внешних игроков в Индийском океане и определенное нежелание проецировать силу в регионе, за исключением ситуаций, когда под угрозой оказывалась безопасность Индии. Ситуация изменилась лишь в начале 2000-х гг., когда благодаря высоким темпам роста ВВП Индия смогла позволить строительство мощного флота. Н. Модии, придя к власти, объявил развитие отношений со странами региона Индийского океана одним из приоритетных направлений своей внешней политики². Практическим воплощением этой политики стали инициативы *Mausam*³ и *SAGAR*, призванные вернуть Индии лидирующую роль в регионе, утраченную в результате европейских колониальных завоеваний, а также реализация концепции Индо-Тихоокеанского региона, или Индо-Пацифики, при помощи которой Индия стремится утвердиться в статусе одного из ключевых игроков в регионе Индийского и Тихого океанов, укрепив в то же время связи со странами Юго-Восточной Азии⁴.

Африка, несмотря на неоднократные заявления индийского руководства о намерении развивать сотрудничество с континентом, до сих пор остается второстепенным направлением внешней политики Индии. Это связано прежде всего с дефицитом ресурсов и кадров, не позволяющим Нью-Дели проводить активную внешнюю политику на всех интересующих его направлениях. Индия не может соперничать в Африке с КНР и западными странами, обладающими значительно большими ресурсами, поэтому она концентрирует свои внешнеполитические усилия в странах, с которыми у нее сильны исторические связи (Кения, ЮАР). Основной упор делается на проекты, нацеленные на развитие малого бизнеса, IT-проекты, подготовку кадров и реализацию инфраструктурных проектов совместно с другими внешними игроками (Японией, европейскими странами)⁵.

Вызовы политике Индии

Отношения Индии и Пакистана являются определяющим фактором для региона Южной Азии. Нью-Дели и Исламабад подошли к 1990-м гг. с тяжелым историческим наследием в виде трех полномасштабных войн и нерешенной проблемы принадлежности Кашмира.

Для индийско-пакистанских отношений характерна постоянная конфронтация, то перетекающая во временную «разрядку», то стремящаяся к эскала-

1 Singh 2012.

2 Chaudhuri 2018.

3 Doyle, Rumley 2019, 95–98.

4 Sarma 2020.

5 Lunogelo 2015.

ции. Хрестоматийным примером является визит премьер-министра Индии А.Б. Ваджапаи в феврале 1999 г., когда он приехал в Пакистан автобусным рейсом «Амритсар – Лахор» для встречи с премьер-министром Пакистана Н. Шарифом. Успех «автобусной дипломатии» был перечеркнут началом Каргильской войны¹.

Индия подозревает Пакистан в подготовке боевиков, целью которых является осуществление террористических актов на ее территории. Наиболее громким терактом стала атака на Мумбаи, где действия членов террористической группировки «Лашкар-е Таиба», борющейся за освобождение Кашмира от «индийской оккупации», привели к гибели 166 человек². Пакистан же обвиняет Индию в нарушении прав человека на подконтрольной ей территории Кашмира, призывая мировое сообщество вмешаться и оценить адекватность действий индийских властей³.

Последние годы индийско-пакистанские отношения вновь переживают кризис. Лишение особого статуса штата Джамму и Кашмир и преобразование административной единицы в союзную территорию Джамму и Кашмир и союзную территорию Ладакх (что подразумевает прямое управление из федерального центра) в результате отмены действия статьи 370 Конституции Индии⁴ надолго отдалили перспективу урегулирования кашмирского вопроса, от которого зависит динамика индийско-пакистанских отношений.

Китайский фактор – второй, с которым Индии пришлось столкнуться после изменения политического курса. И Китай, и Индия в период после холодной войны расширяли свои сферы влияния, структурируя собственные региональные системы, так что столкновение интересов было неизбежным. До того Индия, с подозрением относясь к китайским попыткам экспортировать маоистскую идеологию и помня о поражении в китайско-индийской войне 1962 г., тем не менее не воспринимала КНР как источник экзистенциальной угрозы. При этом индийское руководство охотно возлагало на Китай вину за развитие движения наксалитов⁵, что снимало с федерального правительства ответственность за неудачи социально-экономической политики в регионах, в которых действуют наксалиты.

В настоящий момент Индия, во-первых, стремится стабилизировать свое пространство непосредственного соседства в границах Южной Азии и региона Индийского океана, гарантировав лояльность малых и средних стран; во-вторых, ищет могущественных союзников в мире, для того чтобы противостоять Китаю. Первая задача решается при помощи двусторонних экономических, политических и военных контактов; вторая – благодаря сближению с великими державами и средними странами, заинтересованными в сдерживании КНР. Проявлением такой политики является, в частности, участие Индии в Четырехстороннем

1 Лунев 2011.

2 "Revisiting the Night of Mumbai Terror Attack: When 10 Pak Terrorists Attacked India's Financial Capital," The Economic Times, November 26, 2019, accessed April 26, 2021, <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/revisiting-the-night-of-mumbai-terror-attack-when-10-pak-terrorists-attacked-indias-financial-capital/articleshow/72235424.cms>.

3 "UN Rights Chief Calls for Major Probe into Kashmir Abuses," The Dawn, June 14, 2018, accessed April 26, 2021, <https://www.dawn.com/news/1414125>.

4 Jeffrey Gettleman, Suhasini Raj, Kai Schultz, and Hari Kumar, "India Revokes Kashmir's Special Status, Raising Fears of Unrest," The New York Times, May 05, 2019, accessed April 26, 2021, <https://www.nytimes.com/2019/05/05/world/asia/india-pakistan-kashmir-jammu.html>.

5 Партизаны-маоисты, действующие на территории Индии.

диалоге по безопасности (*Quadrilateral Security Dialogue, Quad*), в рамках которого Нью-Дели, с одной стороны, пытается наладить контакты с мощными региональными игроками – Австралией и Японией, а с другой – наладить отношения с мощным внешним игроком, Соединенными Штатами, на основе общих интересов. Показательно, что, в то время как в Индии идет напряженная дискуссия на тему целесообразности дальнейшего сближения с США, необходимость сближения с Австралией и Японией под сомнение не ставится: Нью-Дели куда комфортнее вести диалог с региональными державами, нежели с мировым гегемоном.

Индия обеспокоена сближением России и Китая и негативно воспринимает критику концепции Индо-Пацифики, звучащую из Москвы. Политическое недопонимание усугубляется недостаточным уровнем развития экономических связей. В общем объеме внешней торговли Индии Россия занимает лишь 2%, по этому показателю Россию обгоняют не только Китай, США и ЕС, но и страны АСЕАН¹. Традиционные сферы взаимодействия – военно-техническое сотрудничество, атомная энергетика и освоение космоса – уже видятся недостаточными для поддержания статуса особо привилегированного стратегического партнерства², поскольку Индия опасается зависимости даже от традиционного поставщика наукоемких товаров и технологий, а потому будет стремиться к диверсификации в данных сферах. Чтобы добиться прорыва в отношениях с Индией, России необходимо представить ей новые горизонты сотрудничества, в противном случае ключевым компонентом российско-индийских отношений станет ностальгия по временам советско-индийской дружбы.

Выводы

Таким образом, Индия, оказавшись в сложной ситуации после окончания холодной войны, сумела полностью перестроить свое позиционирование и свою логику действий. Вместо того чтобы продолжить уповать на утратившее реальное влияние Движение неприсоединения, она сделала ставку на формирование сферы влияния, при этом позиционируя в качестве основного инструмента экономическую интеграцию и искусно сочетая готовность к применению жесткой силы (демонстративно создав ядерное оружие) с образом «доброжелательного гегемона», не угрожающего интересам соседей и берущего под охрану окружающие ее малые страны.

Подобная политика могла сформироваться только в условиях консенсуса элит, что серьезно отличает Индию от многих других стран, включая Россию. Этот консенсус в целом позволяет проводить линию на укрепление индийской позиции в мире, избегая резких поворотов.

Представляет интерес и последовательная ставка на экономику как на базис развития страны. Однако это направление сложно оценить исключительно положительно: индийские политические элиты и экспертное сообщество заведомо воспринимают отношения, лишенные экономического базиса, как неустой-

1 Галищева 2012.

2 Стратегическое партнерство с Индией // МИД России. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mid.ru/strategiceskoe-partnerstvo-s-indiej> (дата обращения: 26.04.2021).

чивые и «неестественные». При этом заслуживает внимания жесткая политика Индии в том, что касается защиты своего рынка (как производителей, так и потребителей). Индийские элиты осознают, что плодами экономического развития можно будет воспользоваться лишь в случае высокого уровня социальной стабильности, а потому опасаются как радикальных внутриэкономических реформ, так и участия в крупных региональных форматах, налагающих на Индию те или иные обязательства.

Остаются актуальными вызовы, доставшиеся в наследство нынешнему политическому руководству страны от биполярной эпохи: конфронтация с Пакистаном в последние десятилетия лишь обострилась в связи с радикализацией определенных слоев населения Кашмира и решительными действиями индийских федеральных властей, а соперничество с Китаем, «всепогодным» партнером Пакистана, перестало ограничиваться территориальными претензиями и вышло на макрорегиональный уровень. В этих условиях все острее стоит вопрос о частичном отходе Индии от политики стратегической автономии и все большей ориентации на сотрудничество с игроками (как региональными, так и глобальными), стремящимися к сдерживанию Китая. России в этой ситуации необходимо поддерживать репутацию самостоятельного игрока, действительно заинтересованного во всеобъемлющем развитии отношений с Индией без оглядки на реакцию Пекина и Вашингтона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Белокренницкий, В.Я., Москаленко, В.Н., Шаумян, Т.Л. Южная Азия в мировой политике. – М.: Международные отношения, 2003. – 368 с.
- Belokrenickij, V.Ya., Moskalenko, V.N., Shaumyan, T.L. *Yuzhnaya Aziya v mirovoj politike*. Moscow: International relations, 2003 [In Russian].
- Брагина, Е.А. Реформы правительства Модии в Индии // Запад – Восток – Россия. – 2016. – С. 85–88.
- Bragina, E.A. "Reformy pravitel'stva Modi v Indii." *Zapad - Vostok - Rossiya* (2016): 85–88 [In Russian].
- Галищева, Н.В. Глобализация индийской экономики: тенденции и перспективы // Вестник МГИМО. – 2017. – № 2 (53). – С. 71–89. <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2017-2-53-71-89>
- Galischeva, N.V. "Globalization of The Indian Economy: The Main Trends And Perspectives." *MGIMO Review of International relations*, no. 2 (53) (2017): 71–89 [In Russian].
- Галищева, Н.В. СААРК: станет ли ассоциация двигателем экономик Южной Азии? // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 11(640). – С. 32–40.
- Galischeva, N.V. "SAARK: stanet li asociaciya dvigatelem ekonomik Yuzhnoj Azii?" *Aziyai Afrika segodnya*, no. 11 (640) (2010): 32–40 [In Russian].
- Галищева, Н.В. Внешняя торговля Индии в 1950–2000-х гг. // Вестник МГИМО Университета. – 2012. – № 1 (22). – С. 181–186. <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2012-1-22-181-186>.
- Galishcheva, N.D. "India's Foreign Trade in 1950–2000 Years." *MGIMO Review of International Relations*, no. 1(22) (February 28, 2012): 181–86 [In Russian].
- Галищева, Н.В. Перспективы развития экономики Южной Азии // Международные процессы. – 2015. – Том 13(3). – С. 40–67. <https://doi.org/10.17994/IT.2015.13.2.42.3>.
- Galishcheva, Natalya. "Prospects for a South Asian Economy." *International Trends / Mezhdunarodnye Protsessy* 13, no. 3 (42) (November 29, 2015): 40–67 [In Russian].
- Индия сегодня: справочно-аналитическое издание / под ред. Ваниной, Е.Ю., Горячевой, А.М., Кашина, В.П. и др. – М.: Ариаварта-Пресс, 2005. – 592 с.
- Vanina, E.Yu., Goryacheva, A.M., Kashina, V.P., eds. *Indiya segodnya: spravочно-analiticheskoe izdanie*. Moscow: Ariavarta-Press, 2005 [In Russian].
- Кузык, Б.Н., Шаумян, Т.Л. Индия – Россия: стратегия партнерства в XXI веке. М.: Институт экономических стратегий, 2009. – 1224 с.
- Kuzyk, B.N., Shaumyan, T.L. *Indiya – Rossiya: strategiya partnerstva v XXI veke*. Moscow: Institut ekonomicheskikh strategii, 2009 [In Russian].
- Лунев, С.И. Внешняя политика Индии и воздействие на нее внутренних факторов // Вестник МГИМО – Университета. – 2010. – № 1(10). – С. 189–201.
- Lunev, S.I. "Vneshnyaya politika Indii i vozdeystvie na nee vnutrennih faktorov." *MGIMO Review of International Relations*, no. 1 (1) (2010): 189–201 [In Russian].
- Лунев, С.И. Пакистан или Индия: выбор для России // Международные процессы. – 2011. – Том 9 (2). – С. 112–120.
- Lunev, S.I. "Pakistan ili Indiya: vybor dlya Rossii." *International Trends / Mezhdunarodnye Protsessy* 9, no. 2 (2011): 112–120 [In Russian].

Медовой, А.И., Галищева, Н.В. Экономика Индии. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2009. – 352 с.
Medovo, A.I., Galishcheva, N.V. Ekonomika Indii. Moscow: MGIMO (U) MID Rossii, 2009 [In Russian].

Юрлов, Ф.Н., Юрлова, Е.С. История Индии. XX век. – М.: ИВРАН, 2010. – 920 с.
Yurlov, F.N., Yurlova, E.S. *Istoriya Indii. XX vek.* Moscow: IV RAN, 2010 [In Russian].

Baru, Sanjaya. *The Accidental Prime Minister: The Making and Unmaking of Manmohan Singh.* New Delhi: Penguin Books, 2014.

Burgess, Stephen F. "India and South Asia: towards a benign hegemony." In *Indian Foreign Policy in a Unipolar World*, edited by Harsh P. Pant, 231–50. London, New York, New Delhi: Routledge, 2009.

Banerjee, Anurag, Chris Rowley, and Rama P. Kanungo, eds. *Changing the Indian Economy: Renewal, Reform and Revival.* Elsevier Science, 2018.

Chaudhuri, Primit Pal. "The China Factor in Indian Ocean Policy of the Modi and Singh Governments." In *India & China at Sea: Competition for Naval Dominance in the Indian Ocean*, edited by David Brewster, 56–74. New Delhi: Oxford University Press, 2018.

Doyle, Timothy, and Dennis Rumley. *The Rise & Return of the Indo-Pacific.* New York: Oxford University Press, 2019.

Flake, Gordon. et al. "Realizing the Indo-Pacific: tasks for India's regional integration." *Perth US Asia Centre at the University of Western Australia*, 2017. <https://perthusasia.edu.au/getattachment/Our-Work/Realising-the-Indo-Pacific/PU-24-India-Book-WEB.pdf.aspx?lang=en-AU>.

Gray, Colin S. *Nuclear Strategy and National Style.* Lanham, Maryland: Hamilton Press, 1986.

Guha, Ramachandra. *Patriots & Partisans.* New Delhi: Allen Lane, 2012.

Gupta, K.R., Shukla, Vatsala. *Foreign Policy of India.* New Delhi: Atlantic, 2009.

Hobden, Stephen. *International Relations and Historical Sociology: Breaking Down Boundaries.* London: Routledge, 1998.

Hobson, John M. "What's at Stake in 'Bringing Historical Sociology Back into International Relations?' Transcending 'Chronofetishism' And 'Tempocentrism' in International Relations." In *Historical Sociology of International Relations*, edited by Stephen Hobden, and John M. Hobson, 3–41. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Zajęczkowski, Jakub, Jivanta Schottli, and Manish Thapa, eds. *India in the Contemporary World: Polity, Economy and International Relations.* New Delhi: Routledge India, 2014.

Varma, Arup, Pawan S. Budhwar, and Rajesh Kumar, eds. *Indian Business: Understanding a Rapidly Emerging Economy.* Abingdon: Routledge, 2019.

Johnston, Alastair Iain. "Thinking about Strategic Culture." *International Security* 19, no. 4 (Spring 1995): 32–64. <https://doi.org/10.2307/2539119>.

Karnad, Bharat. *Staggering Forward: Narendra Modi and India's Global Ambition.* Gurgaon: Penguin, 2018.

Katzenstein, Peter. *Cultural Norms and National Security: Police and Military in Postwar Japan.* Ithaca: Cornell University Press, 1998.

Kennedy, Lorraine. *The Politics of Economic Restructuring in India: Economic Governance and State Spatial Rescaling.* London: Routledge, 2014.

Kher, Priyanka. "Political Economy of Regional Integration in South Asia." *UNCTAD*, October 2012. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ecidc2013misc1_bp5.pdf.

Kumaswamy, P.M. "Realism Replacing Rhetoric: Factors Shaping India's Middle East Policy." *The Round Table* 97, no. 397 (August 2008): 575–587. <https://doi.org/10.1080/00358530802207385>.

Lawson, George. "The Promise of Historical Sociology in International Relations." *International Studies Review* 8, no. 3 (Sep. 2006): 397–423. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2486.2006.00600.x>.

Luce, Edward. *In Spite of the Gods: The Rise of Modern India.* New York: Anchor Books, 2008.

Lunogelo, Hoseana Bohela. "India–Africa: Perspectives on Development in Africa–Trade and Investment." *Strategic Analysis* 39, no. 5 (2015): 512–526. <http://doi.org/10.1080/09700161.2015.1069973>.

McCartney, Matthew. *The Indian Economy.* Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing, 2019.

Murthy, Padmaja. "The Gujral Doctrine and Beyond." *Strategic Analysis* 23, no. 4 (1999): 639–652. <http://doi.org/10.1080/09700169908455072>.

Ó Tuathail, Gearóid, and John Agnew. "Geopolitics and Discourse: Practical Geopolitical Reasoning in American Foreign Policy." *Political Geography* 11, no. 2 (March 1992): 190–204. [https://doi.org/10.1016/0962-6298\(92\)90048-X](https://doi.org/10.1016/0962-6298(92)90048-X).

Ó Tuathail, Gearóid. *Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space.* London: Routledge, 1996.

Thakur, C.P., and Devendra P. Sharma. *India under Atal Behari Vajpayee: the BJP Era.* New Delhi: UBS Publishers' Distributors, 1999.

Sarma, Sanghamitra. "India–Vietnam Relations through the Prism of the Indo-Pacific Concept." *Strategic Analysis* 44, no. 4 (2020): 360–377. <https://doi.org/10.1080/09700161.2020.1809213>.

Sharma, Prashant. *Democracy and Transparency in the Indian State: The Making of the Right to Information Act.* Abingdon: Routledge, 2015.

Singh Roy, Meena. "Iran: India's Gateway to Central Asia." *Strategic Analysis* 36, no. 6 (2012): 957–975. <http://doi.org/10.1080/09700161.2012.72886>.

Sitapati, Vinay. *Half-Lion: How P.V. Narasimha Rao Transformed India.* New Delhi: Penguin Books India, 2016.

Sitapati, Vinay. *The Man Who Remade India: A Biography of P.V. Narasimha Rao.* New York: Oxford University Press, 2018.

Tharoor, Shashi, Saran, Samir. *The New World Disorder and the Indian Imperative.* New Delhi: Aleph, 2020.

Hansel, Mischa, Raphaëlle Khan, and Mélissa Levaillant. *Theorizing Indian Foreign Policy.* New York: Routledge, 2017.

Wojczewski, Thorsten. *India's Foreign Policy Discourse and Its Conceptions of World Order: The Quest for Power and Identity.* Abingdon: Routledge, 2018.

Сведения об авторах*Алексей Владимирович Куприянов,*

к.ист.н., руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, ул. Профсоюзная, 23, Москва, 117997.

e-mail: a.kupriyanov@imemo.ru*Глеб Григорьевич Макаревич,*

старший лаборант-исследователь Группы Южной Азии и региона Индийского океана, ИМЭМО РАН, ул. Профсоюзная, 23, Москва, 117997.

e-mail: gmakarevich@imemo.ru**Дополнительная информация**

Поступила в редакцию: 31 апреля 2021.

Переработана: 10 июня 2021.

Принята к публикации: 29 июня 2021.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Цитирование

Куприянов, А.В., Макаревич, Г.Г. Индия в постбиполярную эпоху: тридцатилетие поиска места в мире // *Международная аналитика*. – 2021. – Том 12 (2). – С. 74–92.

<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-74-92>

India in the Post-Bipolar World: 30 Years of Searching the Place

ABSTRACT

The article analyzes the tools and mechanisms that Indian elites used to adapt the country's foreign policy to the post-Cold War world order. We describe the internal political development of India over the past 30 years, noting that the general foreign and economic policies remained unchanged due to the political consensus. We analyze the desire of the Indian leadership to form a solid economic foundation, which is perceived in the framework of India's strategic thought as a prerequisite for the country to claim the status of great power. Finally, we discuss the primary imperatives of the Indian external policy, i.e., building a sphere of influence necessary for the polycentric world. It is noted that India's main external security challenges remain the same (China and Pakistan), although they have changed qualitatively: the PRC has become one of the superpowers, overtaking India in terms of economic development, and Pakistan acquired nuclear weapons. We conclude that, on the whole, the Indian elites managed to relatively safely lead the country through the chaos of the post-Cold War world, turning it into one of the largest economies in the world and providing the necessary conditions for raising its status in world politics.

KEYWORDS

India, economy, foreign policy, China, Narendra Modi

Authors*Alexey V. Kupriyanov,*

PhD (History), Senior Research Fellow, Head of Group on South Asia and Indian Ocean, Center for Asia Pacific Studies. Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences,

23, Profsoyuznaya Str., Moscow, 117997, Russian Federation.

e-mail: a.kupriyanov@imemo.ru

Gleb G. Makarevich,

Senior Research Assistant of Group on South Asia and Indian Ocean, Center for Asia Pacific Studies,
Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations,
Russian Academy of Sciences,
23, Profsoyuznaya Str., Moscow, 117997, Russian Federation.
e-mail: gmakarevich@imemo.ru

Additional information

Received: April 31, 2021. Revised: June 10, 2021. Accepted: June 29, 2021.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the authors.

For citation

Kupriyanov, Alexey V., and Gleb G. Makarevich. "India in the Post-Bipolar World: 30 Years of Searching the Place." *Journal of International Analytics* 12, no. 2 (2021): 74–92.
<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-74-92>

Normative Power ASEAN? Globalisation of Asian Values and Its Limits

Ksenia Efremova, MGIMO University, Moscow, Russia

Correspondence: efremova@mgimo.ru

ABSTRACT

The idea of normative power Europe, pioneered by Ian J. Manners, is usually applied to the European Union's foreign policy. It states that the EU promotes one's norms and values among adjacent states, determining what is "normal" in international relations. This paper, along with the burgeoning literature that looks for normative power beyond Europe, argues that the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is another regional grouping that attempts to disseminate its norms and values worldwide, thus transforming itself into a nascent "normative power." Structure-wise, this paper proceeds as follows. First, I will briefly overview the concept of Ian Manner's normative power and its applicability to Europe and Asia. Second, I will determine the Asian values that may be the basis for ASEAN's normative stance in the world. My comparison of ASEAN and the EU's values are structured along with several topical issues: the role of a state in people's quotidian life and the question of human rights promotion. I exemplify the latter with the Myanmar crisis that evoked harsh criticism of the international community. I conclude that the transformation of ASEAN into a "normative power" is rather dubious since there are limits in promoting the Asian norms and values. In ASEAN, there is a group of developing countries that reject Western universalism and struggle to find their own way in world politics.

KEYWORDS

ASEAN, Asian values, normative power, human rights

Introduction

Values form the foundation of humanity; but are there *universal* human values? It may be argued that liberal values (which originated in Europe and widely distributed all around the world) qualify for universal recognition; yet, there still remains the possibility for some alternative sets of values (which might differ greatly from the acknowledged liberal mainstream) to coexist. According to B. Buzan, "one could imagine, for example, an interstate society that is solidarist in the sense of being based on a high degree of ideological uniformity, but where the shared values are nationalist rather than liberal."¹ This is precisely the case of Southeast Asia, which has produced the conceptual normative scheme known as "Asian values," which was much criticized and debated in the 1990s.

The bulk of academic literature devoted to this topic² assumes implicitly that "Asian values" represent a kind of intellectual and political challenge to the liberal worldview, yet this is not enough for Southeast Asian countries to take the lead as a global norms provider. A rare exception is a pioneer article by He Jiajie,³ where she argues that the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), along with the European Union (EU), may become another world gravity centre in terms of norms and values. As He rightfully suggests, ASEAN can be regarded an emerging "normative power" due to its normative impact on international relations, which somehow corresponds to that of the EU. There is a great difference, however, in the nature of their impact: "The EU's normative power has been considered as the agent of 'Europeanization beyond the EU' [...] and it attempts to influence the domestic politics of its normative targets in the EU's own image. By contrast, ASEAN's normative role is featured as a dialogue-driven process and stresses the importance of negotiation and renegotiation."⁴

Departing from He's argument that ASEAN should be considered a "normative power," which promotes its own set of values distinct from (and sometimes contradictory to) those of the European tradition, I discuss their nature and international impact. Particularly, I aim to identify ideological concepts that make the core of "Asian values," and to assess critically the possibility of their globalisation (i.e., their spread around the world as an alternative to Western liberal values). Thus, I argue that ASEAN promotes its own set of values worldwide as a part of a broader project to gain more international weight. My arguments are structured as follows: first, I analyse the values that ASEAN promotes and discuss the organization's role as a potential "normative power" (in comparison to the EU). Then, I provide some explanations of how and why ASEAN has become an alternative source of values for developing countries and what the limitations of this self-imposed role are. Further on, I offer some brief remarks on the issue of human rights. In conclusion, the prospects for and obstacles to transforming ASEAN into a genuine "normative power" (including Western criticism) are summarised.

1 Buzan 2010, 142.

2 See Mauzy 1997; Barr 2000; Milner 2000; Subramaniam 2000; Boll 2001; Langguth 2003; Hoon 2004; Jenco 2013; Visone 2017.

3 He 2016.

4 Ibid., 92.

Norms Definition: “Asian Values”

Much has been written on “normative power Europe” since I.J. Manners introduced the term in his seminal work¹ published more than 15 years ago. The notion of “normative power” originally referred to the European Union and its changing role in world politics. Manners argues that “the power of ideas and norms,” which implies the “ability to shape conceptions of ‘normal’ in international relations,” matters no less than “the power of empirical force.”² However, to define certain norms as a normative basis for one’s international behaviour is not enough to become a normative power. For that, these norms have to be “diffused” and recognised by other states.

The notion of “normative power,” originally applied by I. Manners to the EU, refers to the ability of a state or a group of states to share certain norms and values with other nations and to shape their conceptions of what is “normal” in international relations.³ The very idea of Europe as a global norms provider can be traced to colonial times, when the historical mission of Europeans to “civilise” indigenous peoples of Asia, Africa, America, and Australia was considered by many as something natural and unquestioned. The concept of “the White Man’s burden,” hailed by Nobel laureate Sir R. Kipling, was employed to justify European imperialism and colonial conquests. Portuguese, Spanish, Dutch, British, French, Belgian, Italian, and German colonisers brought with them their religion and customs, which were declared superior to aboriginal traditions. Thus, Western norms and values were (mostly forcefully) introduced to non-Western cultures and ultimately interiorised by local elites.

Decolonisation opened a new chapter in the world history by giving once exploited peoples an equal status with their former masters. It resulted in the rapid growth of postcolonial studies that busted the myth of European superiority. However, the idea of Europe as a cultural and political world centre survived these perturbations, transforming itself into a politically correct form of global normative leadership. Discussing the EU as a normative power, I. Manners distinguishes several core norms that are found in the EU’s basic documents, namely: liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law. These norms “clearly have a historical context to them,”⁴ being a part of the European culture and traditions. Yet, these particular European norms were proclaimed to be universal and fit for all humankind.

The worldwide applicability of European norms and values was challenged by many non-Western intellectuals including a sizable cohort of Southeast Asian politicians and statesmen. The most prominent among them were Lee Kuan Yew (the first prime minister of Singapore) and M. Mohamad (the longest-serving prime minister of Malaysia), who introduced an alternative concept of “Asian values.” The concept gained prominence in the late 1980s – early 1990s, when ASEAN witnessed booming economic growth, and was commonly regarded as a regional answer to the spread

1 Manners 2002.

2 Ibid., 238–239.

3 Ibid., 239.

4 Ibid., 243.

of liberal democratic values, which was perceived by regional elites as “the cultural imperialism of the West.”¹

It is worth noting that Asian resistance to Western ideological domination originated from those non-communist countries, which declared themselves (and were commonly considered) “democratic,” compared to the “undemocratic” communist regimes of China, Vietnam, Laos, and (then) Cambodia. However, their understanding of democracy diverged greatly from the classic European or American model based on the primacy of liberal values. Contrary to Western patterns, Southeast Asian intellectuals deconstructed the very concept of liberal democracy into “liberal” and “democracy,” thus making an “illiberal democracy” possible. As F. Zakaria observed,

... it appears that many countries are settling into a form of government that mixes a substantial degree of democracy with a substantial degree of illiberalism. Just as nations across the world have become comfortable with many variations of capitalism, they could well adopt and sustain varied forms of democracy. Western liberal democracy might prove to be not the final destination on the democratic road, but just one of many possible exits.²

Some Asian thinkers went even further to proclaim the universality of their own “illiberal values.” Thus, “consensus, harmony, unity and community,” which form the essence of Asian culture and identity, were proposed as an alternative to Western liberalism.³ These views were summarised and codified in the Bangkok Declaration (1993), which acknowledged human rights to be “universal in nature,” yet stipulated “the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds.” The declaration also stated that “the promotion of human rights should be encouraged by cooperation and consensus, and not through confrontation and the imposition of incompatible values.”⁴ This passage clearly demonstrates that liberal values were considered “incompatible” by some Asian leaders with their strategies of national development. Therefore, they were replaced by the so-called “Asian values” mentioned above.

What are these Asian values? They are a set of norms, values and attitudes that are derived from the basic thesis of cultural relativism. At the core of Asian values lies an assertion of the cultural particularity of Southeast Asia that makes political liberalisation in the region unnecessary and unwanted. What is upheld instead is *statism*, or the predominant role of the state over society. The state is seen as a paternalistic, caring and regulating political force, strong and stable, which provides and protects the rights of its citizens. Society is hierarchical, where those who occupy the higher positions possess more rights and, respectively, more responsibilities than those who are underneath. As Barr puts it,

1 Subramaniam 2000, 21.

2 Zakaria 1997, 24.

3 Hoon 2004, 155.

4 “Report of the Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights,” The UN Digital Library, March 29–April 2, 1993, accessed July 7, 2021, <https://digitallibrary.un.org/record/167021>.

Cultural perspectives originating in the region therefore stem from and tend to lead to a web-like relational or communitarian view of society where everyone knows his or her place in a social hierarchy. This world-view is usually juxtaposed to ‘western’ liberal and atomistic views of society that emphasise the autonomy of persons.¹

Asian society is modelled after the traditional family, where the relationship between rulers and subjects is likened to that between fathers and sons. Its main pillars are social order, political stability, collective social norms, communal peace, economic prosperity, consensus building, trust in political leaders, and good governance. It is assumed that

... the moral and ethical bases of a society are rooted in its culture and that Asian and western societies differ fundamentally in their understandings of morality and ethics. In particular, morality and ethics in Asian societies are based on familism and duty as much as rights. In Asian societies one of the roles of the state is to establish those moral and ethical standards. The state has a clear role in determining the moral and ethical criteria on which its society is based, and presumably also in enforcing those criteria.²

The following Table compares the fundamental principles of “Asian” and “European” (i.e., Western liberal) societies taken as ideal types, and their respective values.

Table

**ASIAN AND EUROPEAN VALUES
АЗИАТСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ**

“Asian values”	“European values”
Collectivism	Individualism
Social hierarchy	Equality and non-discrimination
Contextual rights and duties	Universal rights and freedoms
Statism	Liberalism
Paternalism	Laissez-faire
State-imposed social order	Self-organised civil society
Morality and ethics	The rule of law

Source: compiled by the author.

The Table demonstrates that the concept of Asian values, initially developed by Southeast Asian political philosophers and practitioners, challenges the very foundations of Western liberal society. This intellectual challenge became possible due to the “decolonisation of the mind” (a term popularised by the Kenian writer N. wa Thiong’o in the 1980s), which regional elites have undergone since independence.

¹ Barr 2000, 311.

² Subramaniam 2000, 24–25.

ASEAN appeared in the new system of moral coordinates – one that is no longer centred on Europe – as an alternative source of norms and values for developing countries (most of them being former European colonies), “which are preoccupied with their own historical memories and cultural sensitivity that are very different from those of the EU.”¹ Thus, Europe was “put in its place” as just one of the world’s regions, not necessarily the leading one. This (Southeast) Asian messianism allowed ASEAN to position itself as another normative power, which stands alongside the EU.

However, the logic of cultural relativism demonstrated by Southeast Asian politicians was rejected by many liberal scholars and human rights activists,² who added their voices to the Asian values debate. They argued that Western liberal democracy successfully transcended cultural boundaries, citing Japan, Taiwan, and South Korea as proof. Moreover, some analysts believe that the 1997 Asian financial crisis brought an end to the ambitious Southeast Asian attempt to formulate an ideological alternative to the globalisation of Western norms and values. To them, the inability of “illiberal” Southeast Asian governments to sustain high growth rates meant that Asian values, which proclaimed order and economic prosperity as a part of the social contract, were “thoroughly discredited internationally.”³ It seemed for a moment that the Asian values discourse had become outdated and lost its appeal.

Yet, the idea of common norms and values authentic to Southeast Asian nations – as opposed to the “universal” liberal norms and values – persisted in the minds of regional elites. In November 2012, ASEAN leaders adopted the ASEAN Human Rights Declaration, which inherited the ideas formulated in Bangkok 20 years ago. It stated, in particular, that “the enjoinder of human rights and fundamental freedoms must be balanced with the performance of corresponding duties.”⁴ This passage raised concerns of many observers, including the UN human rights agency, which pointed out that its wording “does not reflect international human rights law.”⁵ Nevertheless, the document was not amended. Its adoption without amendments demonstrates that Asian values are still to be considered an important part of the regional political discourse.

Norms Diffusion: The “ASEAN Way”

The Asian values debate is usually concentrated on state–society relations. In particular, proponents and opponents of cultural relativism discuss the issue of the liberal democracy and its applicability to non-Western societies.⁶ This discussion focuses on the dilemma of whether ASEAN has developed a unique set of values as an alternative to the Western liberal tradition, or whether there are no “Asian values” as such, but just an attempt of illiberal (and thus undemocratic) Southeast Asian regimes to stay in power for good. As I tried to demonstrate above, there is certainly strong

1 He 2016, 102.

2 See Sen 2003.

3 Thompson 2001, 154–155.

4 “ASEAN Human Rights Declaration,” Jakarta: ASEAN Secretariat, November 18, 2012, accessed July 7, 2021, http://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf.

5 “UN Experts Raise Concerns Over ‘Landmark’ Southeast Asian Human Rights Declaration,” The UN News, 2012, accessed July 7, 2021, <https://news.un.org/en/story/2012/11/425852>.

6 Langguth 2003, 31–41.

evidence to support the former point of view. European universalism is deeply rooted in tragic experiences of the colonial past, when voices of aboriginal peoples were ruthlessly subdued. What we witness today is the natural revivalism of once culturally subjugated nations, which struggle to formulate an indigenous response to continuing Western ideological pressure.¹

This is a question of norms production. However, to become a normative power, it is not enough to produce specific norms and values: it also means to employ certain policy instruments to spread and ensure the acceptance of these norms both domestically and internationally.² In other words, it is a question of norms diffusion. My paper further addresses the issue of the “alternative normality” in international relations, which is promoted by ASEAN. I argue, in particular, that its implementation through multilateral mechanisms of regional and interregional cooperation provides a unique chance for ASEAN to be followed by other developing states of the global South. Moreover, these diplomatic tools sustain the ASEAN's image as alternative provider of international norms to the EU, and facilitate its participation in the processes of global governance.

To begin with, let me trace the origin of the “alternative normality” in international relations, which is pushed (and somehow privatised) by Southeast Asian countries. It can be dated back to 1954, when Panchsheel (the Five Principles of Peaceful Co-Existence) were proclaimed as the guiding principles for China-India and China-Myanmar relations, as well as for their relations with all other countries of the world. These principles included: (1) mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty; (2) mutual non-aggression; (3) mutual non-interference; (4) equality and mutual benefit; and (5) peaceful co-existence.³ Thus, a formal diplomatic foundation was laid for a peaceful co-existence of communist and non-communist countries – something unthinkable in the historical context of that time, when the Cold War was unfolding between the United States and the USSR.

In 1955, Panchsheel were incorporated into the Ten Principles of International Peace and Cooperation set out in the Final Communiqué of the Asian-African conference of Bandung, which was signed by 29 Afro-Asian countries, among them the future founders of ASEAN – Indonesia, Thailand, and the Philippines, as well as Myanmar, Laos, Cambodia, North and South Vietnam. The relevance of Panchsheel was further emphasised when their tenets were integrated into the Declaration on Peaceful and Neighbourly Relations among States (A/RES/12/1236) co-sponsored by India, Yugoslavia and Sweden, which was unanimously adopted by the United Nations General Assembly on December 14, 1957. In 1961, the Conference of Non-Aligned Nations in Belgrade (attended by three Southeast Asian nations – Indonesia, Myanmar, and Cambodia) accepted Panchsheel as the principled core of the Non-Aligned Movement's ideology.⁴

Panchsheel laid down the foundation for the basic principles of intra-ASEAN relations proclaimed in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, which

1 Dascal 2007.

2 He 2016, 94–95.

3 “Panchsheel,” Ministry of External Affairs, Government of India, 2004, accessed July 7, 2021, http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/191_panchsheel.pdf.

4 “Panchsheel.”

was adopted on the 1st ASEAN Summit, held on Bali, Indonesia in 1976. They were: (1) mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations; (2) the right of every state to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion; (3) non-interference in the internal affairs of one another; (4) settlement of differences or disputes by peaceful means; (5) renunciation of the threat or use of force; and (6) effective cooperation among themselves.¹ It is easy to notice that the Treaty's provisions reiterated the norms of international interaction originated in Panchsheel.

These principles make the core for what is known as "the ASEAN Way," a unique set of diplomatic practices based on informal consultations and consensus decision-making. Its fundamental tenets, such as *musyawarah* (consultation) and *mufakat* (consensus-building), are deeply rooted in Malay cultural traditions that have eventually developed within the region. Decision-making in the ASEAN way means that, "if a consensus cannot be reached on a contentious issue, the ASEAN member states agree to disagree and go their separate ways, with ASEAN assuming no official position on the issue [...] When intra-ASEAN issues cannot be resolved, they can be put aside so that they do not interfere with cooperation on other matters."² This passage clearly indicated that there is a marked difference in decision-making procedures compared to negotiation practices employed in the EU.

Another point of divergence between ASEAN and the EU is their attitudes towards the logic of maintaining regional peace and stability. The foreign policy of the united Europe derives from the democratic peace theory, which stipulates that "democracies do not fight each other." To guarantee a peaceful international environment, the EU promotes democratic values within its neighbourhood, supporting (sometimes insistently) democratic trends there. The European Neighbourhood Policy launched in 2003 and reviewed in 2011 "is based on the values of democracy, rule of law and respect of human rights."³ Unlike the EU, ASEAN does not insist on political transformation of future members towards democracy (as was the case with Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, and Cambodia). However, it conditioned their membership on acceding to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia that contains the core norms and principles to which ASEAN adheres.

This difference can be explained theoretically by contrasting the nature of ASEAN and the EU. In a recent study, He makes an insightful comparison of ASEAN and EU's policies as normative powers. She argues that the EU and ASEAN employ different policy instruments to spread their norms and ensure their acceptance by other countries. As a "collective great power," the EU "is a hegemonic actor that tends to socialize its normative targets by imposing conditionality" (e.g. democracy, human rights, etc.), while "ASEAN's normative role is more accommodative and inclusive" because it is composed of "relatively weak and developing states."⁴ Unlike the EU, ASEAN's institutional practices lack enforcement measures that attempt to influence

1 "Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, 1976," February 1976, accessed August 3, 2021, <http://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976>.

2 Koga 2010, 81.

3 "European Neighbourhood Policy," 2016, accessed July 7, 2021, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en.

4 He 2016, 96–99.

and reshape domestic politics of target countries. The policy instruments employed by ASEAN to spread its norms worldwide include cumulative dialogue and social (re) negotiations through regional institutions, which are accommodative in nature.¹

It follows that ASEAN regionalism (and inter-regionalism) is not “intrusive,” but “inclusive.”² This means that ASEAN does not interfere in the internal affairs of its members and dialogue partners, offering them a culture of mutual respect, compromise and consultations. This culture is aimed at “socializing” other countries by making their regional policies compatible with the “ASEAN way.” To achieve this goal, ASEAN countries urge their partners to accede to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (1976), which is the basic document that sets out the principles of the intra-regional code of conduct. However, major dialogue partners of ASEAN have long been reluctant to become a signatory to the Treaty. For example, China and India joined the Treaty in 2003, Russia, Japan and South Korea in 2004, Australia and New Zealand in 2005, the United States in 2009, Canada in 2010, and the EU only in 2012.

ASEAN dialogue partnerships can be divided into two broad categories: (1) extra-regional powers – China, India, Japan, Australia, the United States, Russia, etc.; and (2) regional organisations and groupings composed of European, Latin American, Asian and African states. Their relations form two distinct types of interaction: “subject-object” and “subject-subject.” The former types of interaction are asymmetric due to the uneven power distribution between the parties, while the latter are equal (though both are mutually beneficial). Historically, “subject-object” relations dominated in the structure of ASEAN international cooperation patterns. It was not until the 1990s, when “subject-subject” relations appeared on the ASEAN agenda. At present, however, it is relations of the second type that constitute the bulk of ASEAN interregional arrangements.

“Subject-object” relations are characterised by power disparity, which requires special cooperation patterns. Having long been considered an “object” in geopolitical games of its mighty partners, ASEAN demonstrated its outstanding diplomatic skills by offering them an asymmetric model of interaction, where it plays a central role by forming and transforming the international milieu (the “driver’s seat” phenomenon). This concept “helps create strategic space for a grouping of relatively weak countries to enjoy a measure of latitude they would otherwise not be able to move on their own.”³ The ASEAN centrality, approved and supported by extra-regional actors, helps ensure that no one of them will prevail in the region at the expense of other parties. Thus, ASEAN guarantees equidistance and non-alignment to external powers, facilitating peaceful dialogue among them.

A classic example of “subject-object” relations is the system of ASEAN dialogue partnerships, which dates back to the mid-1970s and is based on the mechanism of consultations with external powers in the bilateral format of ASEAN+1. These consultations are usually held after the annual ASEAN Foreign Ministers’ Meeting, where the latter develop a common stance on issues that ought to be discussed with their partners. These consultations are thus dubbed “Post-Ministerial Conferences”

1 Ba 2009, 8.

2 He 2016, 96–97.

3 Tan 2017, 735.

(PMC). The PMC practice eventually evolved into ASEAN+1, ASEAN+3 (China, Japan, South Korea), and ASEAN+CER (Australia, New Zealand) summits, which constitute the base for ASEAN partnership relations at present. The principle of ASEAN centrality, which makes these dialogue partnerships possible, implies that extra-regional powers strive to accommodate ASEAN-promoted norms and values. Even in those cases when an explicit conflict of interests occurs, ASEAN still attempts to work out a code of conduct that prevents open confrontation between parties.

"Subject-subject" relations allow ASEAN to establish equitable cooperation with other regional groupings. Here it acts as an international organization, which spreads its norms and values abroad by extending the ASEAN way principles onto its partner institutions. Instead of "formal negotiations with identifiable and enforceable benchmarks, and more generally within a framework that stresses the rule of law," ASEAN offers a paradigm of informal consultations with non-binding obligations reached by consensus. Set against the Western liberal approach, the ASEAN way "presents an increasingly distinctive and influential option for other states, especially those in the global South."¹ By discussing issues of interregional and global importance, ASEAN attempts to find a consensus solution that benefits all parties concerned. This kind of cooperation strengthens ASEAN international positions, giving it a chance to participate in the process of global governance.

"Subject-subject" relations can be illustrated by ASEAN's interaction with other regional groupings: the European Union (EU), the Economic Cooperation Organization (ECO), the Gulf Cooperation Council (GCO), the Southern African Development Community (SADC), the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), etc. Other examples of ASEAN's interregional cooperation include the Asia-Europe Meeting (ASEM), the Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC), and the Asia Cooperation Dialogue (ACD). These particular dialogue platforms are especially interesting because they were established at ASEAN's initiative and therefore their founding documents bear the stamp of ASEAN ideology.

Thus, the Final Chair Statement of the 1st ASEM summit held in Bangkok in 1996 requires that "the dialogue among the participating countries should be conducted on the basis of mutual respect, equality, promotion of fundamental rights and, in accordance with the rules of international law and obligations, non-intervention, whether direct or indirect, in each other's internal affairs."² The same fundamental principles – "respect for each other's sovereignty and territorial integrity; non-interference in each other's internal affairs; equality, mutual benefit and the common goal of development; respect for each other's unique cultures and social values; and decision-making by consensus" – were included in the framework document signed by FEALAC foreign ministers at the inaugural meeting held in Santiago, Chile in 2001.³ A year later, they were reiterated in Cha-Am, Thailand,

1 Stubbs 2008, 452.

2 "New Comprehensive Asia-Europe Partnership for Greater Growth, 1st ASEM Summit (ASEM1)," Asia-Europe Meeting, ASEM Infoboard, March 1–2, 1996, accessed August 2, 2021, https://cdn.aseminfoboard.org/documents/1996_-_ASEM1_-_Chair_Statement_Svhj1Gx.pdf.

3 "Framework for a Forum for Dialogue and Cooperation between East Asia and Latin America," March 30, 2001, accessed July 7, 2021, http://www.fealac.org/File_download.jsp?Type=OFFICE&AttachFileIdx=50.

where foreign ministers from 18 Asian countries met together to establish the Asia Cooperation Dialogue.

To sum up, it seems obvious that ASEAN not only proclaims its own norms and values distinct from those of the EU, but has also established an effective mechanism of globalising its normative practices through the system of dialogue partnerships and interregional arrangements. But when it comes to international recognition of these norms, ASEAN is on shaky ground. The very idea of illiberal values is exposed to the fierce criticism of those scholars and politicians who refuse to admit the thesis of cultural relativism that implies the existence of alternative, non-mainstream worldviews. To them, the ASEAN leaders who reject the universal nature of liberal values are mistaken at best, or misleading at worst.

Norms Controversy: The Human Rights Issue

The main point of collision between the proponents and opponents of Asian values is the issue of human rights. The discussion centres on the argument of whether or not human rights violations justify humanitarian intervention. The ASEAN governments reject any interference in the internal affairs of other states, including for humanitarian reasons, while their Western partners insist on promoting the notion of upholding human rights.

One of the most telling cases here is Myanmar, which has been in the focus of international attention for more than 30 years due to its poor human rights record. ASEAN used to defend Myanmar from international ostracism, which was caused by its domestic policies. What is interesting here is the positive stance that ASEAN as a group has taken towards Myanmar, an ASEAN member country, despite fierce criticism from the UN Security Council, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Watch and other human rights agencies, as well as from their own citizens. It is worth noting that ASEAN's common desire to prevent extra-regional powers from intervening in regional affairs prevails over the individual concerns of its member countries. The Myanmar case clearly demonstrates that ASEAN's unity is based on common norms and values, which are shared by all Southeast Asian countries regardless of their political, cultural or religious background – and that they are quite different from the liberal norms and values praised by the West.

For the EU, human rights are fundamental values, which have to be upheld anytime and anywhere. For ASEAN, however, it is regional cohesion that takes the primary position in the hierarchy of values; ASEAN prefers to overlook Myanmar's poor human rights record in order to maintain "regional resilience" (i.e., the ability to collectively sustain peace and stability in the region). It has to be acknowledged, further, that the ASEAN way of dealing with Myanmar proved to be more effective in terms of reaching the ultimate goal – spreading its norms and values to Yangon / Nay Pyi Taw – while the EU apparently failed the task. That can be explained by common Southeast Asian mentality, which the EU underscored.

The Myanmar story is a long story of misunderstanding between the EU (and the West in general) and their Southeast Asian partners, whose understanding of democratic governance is based on a rather different set of norms and values. Whether these values are good or bad is up for debate (though analysts should refrain

from any value judgments). What must be stressed, however, is that assigning virtues to ASEAN that it never possessed – such as a desire for promoting (liberal) democracy in Southeast Asia – is counterproductive. Take, for example, the commonly accepted vision that ASEAN's efforts in human rights socialization are “widely considered to be a failure.”¹ This implicitly assumes that ASEAN intends to promote human rights (just as the EU does), while it does not. What ASEAN does promote, however, is “Asian values” and the “ASEAN way” – and this is a story of success rather than one of failure.

Conclusion

Is ASEAN a normative power? There is some evidence that supports the point of view that it is. But ASEAN also faces a great challenge in attempting to spread its norms and values worldwide – and this is the challenge of cultural relativism, which constitutes the fundamental base of its normative vision. Southeast values are by definition confined to the borders of Southeast Asia. They are non-universal by their nature since “they are conditioned by national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds.”² Therefore, they could hardly be globalised in the same sense as the EU's (liberal) values, which are widely considered to be universal. When it comes to norms recognition, ASEAN's potential as a norms provider is limited to a group of developing countries that reject Western universalism and struggle to find their own way in world politics. Nevertheless, ASEAN's normative role as an ideological alternative to the EU should not be underestimated and deserves further study.

1 Davies 2012, 3.

2 “Report of the Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights,” March 29–April 2, 1993, accessed July 7, 2021, <https://digitallibrary.un.org/record/167021>.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Ba, Alice. (Re)Negotiating East and Southeast Asia: Region, Regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009.

Barr, Michael D. "Lee Kuan Yew and the 'Asian values' debate." *Asian Studies Review* 24, no. 3 (2000): 309–334. <https://doi.org/10.1080/10357820008713278>.

Boll, Alfred M. "The Asian Values Debate and its Relevance to International Humanitarian Law." *International Review of the Red Cross* 83, no. 841 (2001): 45–58. <https://doi.org/10.1017/S1560775500106170>.

Buzan, Barry. "Reconstructing the Pluralist–Solidarist Debate". In *From International to World Society?* 139–160. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511616617.008>.

Dascal, Marcelo. *Colonizing and Decolonizing Minds*. Tel Aviv: Tel Aviv University, 2007.

Davies, Mathew. "The Perils of Incoherence: ASEAN, Myanmar and the Avoidable Failures of Human Rights Socialization?" *Contemporary Southeast Asia*, 34, no. 1 (2012): 1–22.

He, Jiajie. "Normative Power in the EU and ASEAN: why they Diverge." *International Studies Review* 18, no. 1 (2016): 92–105. <https://doi.org/10.1093/isr/viv028>.

Hoon, Chang Yau. "Revisiting the Asian Values Argument Used by Asian Political Leaders and its Validity." *Indonesian Quarterly* 32, no. 2 (2004): 154–174.

Jenco, Leigh. "Revisiting Asian Values." *Journal of the History of Ideas* 74, no. 2 (2013): 237–258. <https://doi.org/10.1353/jhi.2013.0014>.

Koga, Kei. "The Normative Power of the 'ASEAN Way': Potentials, Limitations and Implications for East Asian Regionalism." *Stanford Journal of East Asian Affairs* 10, no. 1: 80–95.

Langguth, Gerd. "Asian Values Revisited." *Asia Europe Journal* 1, no. 1 (2003): 25–42. <https://doi.org/10.1007/s103080200005>.

Manners, Ian. "Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?" *Journal of Common Market Studies* 40, no. 2 (2002): 235–258. <https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353>.

Mauzy, Diane K. "The Human Rights and 'Asian Values' Debate in Southeast Asia: Trying to Clarify the Key Issues." *Pacific Review* 10, no. 2 (1997): 210–236. <https://doi.org/10.1080/09512749708719218>.

Milner, Anthony. "What happened to 'Asian Values'?" In *Towards Recovery in Pacific Asia*, edited by Segal, G. and Goodman, D., 55–68. London, Routledge, 2000.

Sen, Amartya Kumar. *Human Rights and Asian Values*. New York: Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 2003.

Stubbs, Richard. "The ASEAN Alternative? Ideas, Institutions and the Challenge to 'Global' Governance." *Pacific Review* 21, no. 4 (2008): 451–468.

Subramaniam, Surain. "The Asian Values Debates: Implications for the Spread of Liberal Democracy." *Asian Affairs* 27, no. 1 (2000): 19–35.

Tan, See Seng. "Rethinking 'ASEAN Centrality' in the Regional Governance of East Asia." *The Singapore Economic Review* 62, no. 3 (2017): 721–740. <https://doi.org/10.1142/S0217590818400076>.

Thiong'o, Ngugi wa. *Decolonising the Mind: the Politics of Language in African Literature*. Nairobi: East African Education Publisher, 1986.

Thompson, Mark R. "Whatever Happened to 'Asian Values'?" *Journal of Democracy* 12, no. 4 (2001): 154–165. <https://doi.org/10.1353/jod.2001.0083>.

Visone, Tommaso. "The 'ASEAN Way'. A Decolonial Path beyond 'Asian Values'?" *Perspectives on Federalism* 9, no. 1 (2017): E1–E12. <https://doi.org/10.1515/pof-2017-0001>.

Zakaria, Fareed. "The Rise of Illiberal Democracy." *Foreign Affairs* 76, no. 6 (1997): 22–39.

Author

Ksenia A. Efremova,

PhD (Political Science), Associate Professor, Department of Asian and African Studies, Research Fellow, Centre for Comprehensive Chinese Studies and Regional Projects, MGIMO University, 119454, Moscow, Vernadsky Prospekt, 76.

e-mail: efremova@mgimo.ru

Additional information

Received: March 10, 2021. Revised: July 27, 2021. Accepted: August 3, 2021.

Acknowledgments

The author is grateful to organisers and participants of the IPSA RC36 Papers Development Workshop "Empirical Analysis of Political Power" held on May 24, 2019 in Saint Petersburg, Russia, for their valuable comments on an earlier version of this paper.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author.

For citation

Efremova, Ksenia A. "Normative Power ASEAN? Globalisation of Asian Values and Its Limits." *Journal of International Analytics* 12, no. 2 (2021): 93–106. <https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-93-106>

Есть ли у АСЕАН нормативная власть? Глобализация азиатских ценностей и ее пределы

АННОТАЦИЯ

Концепция «нормативной власти», впервые введенная Яном Дж. Маннерсом, обычно применяется к внешней политике Европейского союза (ЕС). Она описывает способность распространять свои нормы и ценности среди других (чаще – соседних) государств, формируя общепринятое понимание того, что является «нормальным» в международных отношениях. В данной работе, присоединяющейся к набирающей популярность литературе, посвященной поиску феномена нормативной силы за пределами Европы, утверждается, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является еще одной региональной группировкой, которая пытается распространить свои нормы и ценности по всему миру, тем самым превращая себя в источник «нормативной силы». В структурном плане данная работа построена следующим образом. Во-первых, автор кратко останавливается на концепции нормативной власти Я. Маннерса и ее применимости по отношению к Европе и Азии. Во-вторых, в статье определяются азиатские ценности, которые могут быть основой для нормативной позиции АСЕАН в мире. Сравнение ценностей АСЕАН и ЕС построено на рассмотрении двух проблем: роли государства в повседневной жизни людей и продвижении прав человека. В качестве примера последнего автор останавливается на кризисе в Мьянме, который вызвал резкую критику со стороны международного сообщества. Делается вывод, что превращение АСЕАН в «нормативную державу» весьма сомнительно, поскольку ее потенциал как поставщика норм ограничен группой развивающихся стран, которые отвергают западный универсализм и пытаются найти свой собственный путь в мировой политике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

АСЕАН, азиатские ценности, нормативная власть, права человека

Сведения об авторе

Ксения Александровна Ефремова,

к.полит.н., доцент Кафедры востоковедения, научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов, МГИМО Университет, 119454, Москва, Проспект Вернадского, 76.

email: efremova@mgimo.ru

Дополнительная информация

Поступила в редакцию: 10 марта 2021.

Переработана: 27 июля 2021.

Принята к публикации: 3 августа 2021.

Благодарности

Я благодарна организаторам и участникам семинара IPSA RC36 Papers Development Workshop “Empirical Analysis of Political Power,” состоявшегося 24 мая 2019 года в Санкт-Петербурге, за ценные комментарии к ранней версии этой статьи.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Цитирование

Ефремова, К.А. Есть ли у АСЕАН нормативная власть? Глобализация азиатских ценностей и ее пределы // Международная аналитика. – 2021. – Том 12 (2). – С. 93–106.

<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-93-106>

Российско-японские отношения на рубеже веков: закономерности, маршруты, лидеры

Олег Геннадьевич Парамонов, МГИМО, Москва, Россия

Контактный адрес: paramonov_og@rambler.ru

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена анализу причин, в силу которых у Токио в период после завершения холодной войны возникло осознание необходимости пересмотра выработанной в предшествующие десятилетия «жесткой линии» в отношениях с Москвой. Еще в период, предшествующий распаду СССР, Токио не скрывал своих намерений использовать тяжелую социально-экономическую ситуацию в СССР (а затем и в России) с целью получения территориальных уступок. Даже тогда повестку российско-японского диалога определяла скорее российская сторона, что во многом было связано и с серьезными ошибками японских политиков. После начавшегося в 2000-х гг. неожиданного для Запада и Японии выхода России из состояния экономической и политической турбулентности новые надежды Токио были связаны с уступками по «территориальному кейсу» из-за заинтересованности России в японских инвестициях, технологическом сотрудничестве (прежде всего с целью развития Дальнего Востока и прилегающих к нему территорий). Однако и здесь Токио ожидало фиаско. Японская внешняя политика в отношении России до прихода в конце 2012 г. «эпохи Абэ» демонстрировала «реактивный» характер, да и в дальнейшем громкие инициативы Токио, связанные с российско-японской повесткой, часто оказывались старыми предложениями Москвы, и благоприятные моменты для их реализации были в значительной степени упущены.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

российско-японские отношения, евразийская дипломатия, Южные Курилы, «два плюс альфа»

Введение

В 1996 г. были опубликованы воспоминания выдающегося советского, российского дипломата, историка-востоковеда С.Л. Тихвинского, принимавшего личное участие в процессе нормализации советско-японских отношений во второй половине 1950-х гг., в том числе в качестве главы советского представительства в Токио. В послесловии к книге «Россия – Япония. Обречены на добрососедство» С.Л. Тихвинский высказал мнение, что постепенное развитие добрососедских отношений между двумя странами в самых широких областях – внешней торговле, научных, образовательных, культурных обменах, в обеспечении региональной безопасности, а не форсировании переговоров вокруг Южных Курил – создаст предпосылки и к решению проблемы мирного договора¹.

В данной работе предполагается выявить базовые закономерности, сложившиеся в российско-японских отношениях на протяжении почти тридцатилетнего периода после распада СССР, отразить изменения траекторий их эволюции, выявить их возможную преемственность с периодом холодной войны, взглянуть на результаты использования Токио такого инструмента, как «интернационализация» своих территориальных претензий к Москве. Также будет рассмотрено влияние личностного фактора на характер отношений Москвы и Токио.

В качестве хронологических рамок данного исследования выбран период с 1991 по 2020 г. Выбор нижней границы обусловлен тем обстоятельством, что в условиях системной трансформации международных отношений, связанной с распадом одной из двух сверхдержав, возникли ожидания сближения «новой России», заявлявшей о себе как о части «демократического мира», с Японией. Предполагается в некоторых случаях и обращение к периоду холодной войны, что связано с одной из исследовательских задач. Верхняя хронологическая граница исследования определена исходя из вступления в силу в июле 2020 г. поправок в Конституцию Российской Федерации, касающихся в том числе гарантий защиты территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации. Кроме того, состоявшаяся в сентябре 2020 г. досрочная отставка С. Абэ с поста премьер-министра Японии фактически подвела черту под наиболее масштабной попыткой сближения двух стран.

Обзор литературы

Представляется важным отметить, что в период 1990-х гг. в российском японоведении имело место такое явление, как поляризация экспертного сообщества на два условных лагеря: сторонников скорейшего заключения мирного договора с Японией на условиях, предполагавших и серьезные уступки в адрес Токио, и наличие приверженцев безусловного сохранения не только территориального, но и более широкого статус-кво в отношениях с Японией, видевших в Токио прежде всего «младшего» союзника Вашингтона. При этом многие из отечественных японоведов являлись общественными деятелями и знаковыми медийными фигурами, а ведущаяся между ними полемика оказывала влияние на

1 Тихвинский 2006.

политизацию российско-японской повестки. Заметна была некоторая избыточная сосредоточенность авторов публикаций по тематике российско-японских отношений на обсуждении исторических и международно-правовых оснований принадлежности Южных Курил к СССР / России.

Вместе с тем во второй половине 1990-х гг. в российско-японских отношениях постепенно, как и предполагал С.Л. Тихвинский, начинает формироваться более широкая, «двухтрековая» повестка, включающая, помимо обсуждения проблемы пограничного размежевания, диалог по вопросам экономического сотрудничества, обсуждение региональных вызовов. Одним из первых эту тенденцию отметил А.В. Загорский¹.

После завершения к середине 2000-х гг. периода некоторой турбулентности в российской внешней и внутренней политике возникли предпосылки для более взвешенного и широкого взгляда на отношения между СССР / Россией и Японией. В связи с этим знаковым событием стал выход работы А.Н. Панова, имеющего ценный опыт совмещения активной научной деятельности и дипломатической работы в качестве посла России в Японии (1996–2003)². Еще одна работа А.Н. Панова, написанная в форме воспоминаний о дружбе с представителями одной из наиболее ярких политических династий Японии, с которой непосредственно связана история нормализации советско-японских отношений в 1955–1956 гг., во многом нацелена и на понимание глубинной природы подходов Токио к отношениям с Москвой в период после завершения холодной войны³.

В ноябре 2013 г. в Токио состоялась первая российско-японская встреча в формате «два плюс два» (министры иностранных дел и обороны). Обсуждение проблем региональной безопасности начинает становиться важным элементом российско-японской повестки. На это знаковое обстоятельство обращает внимание Д.В. Стрельцов в вышедшей в 2015 г. монографии, посвященной исследованию региональных приоритетов Японии в сфере внешней политики⁴.

В том же году выходит в свет под редакцией С.В. Гришачева первое в истории советского и российского японоведения учебное пособие по истории отношений между Россией и Японией, охватывающее период с XVIII в. Авторам данного издания удалось решить уникальную задачу, выпустив работу, адресованную не только студентам-японоведам, но также представляющую значительный интерес для специалистов и широкого круга читателей⁵. С.В. Гришачев, так же как А.А. Киреева⁶, В.В. Нелидов⁷, являются представителями «постбиполярного» поколения российских японоведов.

Рассмотрению подходов Японии к проблеме территориального размежевания, в том числе в контексте анализа исторических предпосылок к ее возникновению, посвящена опубликованная в 2018 г. монография В.В. Кузьминкова⁸. Автор отмечает, что в условиях доминирования в Токио сторонников «жесткой

1 Zagorsky 1999.

2 Панов 2007.

3 Панов 2010.

4 Стрельцов 2015.

5 Гришачев 2015.

6 Dian, Kireeva 2021.

7 Нелидов 2019.

8 Кузьминков 2018.

линии» в отношении Москвы и среди них в японском политическом дискурсе имеются заметные разногласия, связанные, например, с их взглядами на перспективы отношений Японии и СССР / России в целом, а также весьма широко представлены точки зрения, которые можно рассматривать как альтернативные по отношению к «жесткой линии».

Большой интерес представляет вышедшая в 2019 г. коллективная монография А.Н. Панова, Д.В. Стрельцова, К.О. Саркисова, в которой отношения между Японией и Россией рассматриваются как в контексте регионального, так и глобального измерения внешней политики Токио¹.

А. Буха, уже длительное время работающего в Японии, можно рассматривать в качестве условного связующего звена между современным отечественным и зарубежным японоведением, поскольку его «семейные корни» связаны с СССР, чем, вероятно, в значительной степени и объясняется его интерес к российско-японским отношениям. В вышедшей в 2009 г. работе А. Буха впервые была принята попытка дать интерпретацию подходов Японии к России с точки зрения национальной идентичности². В данной работе автор отмечает значительное уменьшение восприятия России в Японии в качестве угрозы, имевшее место примерно с 1997 г. Этому способствовали как появление актуальных вызовов для Японии, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР и с возвышением Китая, так и конкретные действия, предпринятые в тот период российским руководством, в результате чего утвердилось понятие о «новой России» как о стране, движимой не идеологией, а требованиями политического «реализма», что и вызвало общий позитивный настрой в отношении «новой России» в японских политических дебатах³.

Здесь также важно упомянуть и вышедшую в 2009 г. статью американского эксперта Дж. Фергюсона, в которой рассматривается происходившая в 1996–2007 гг. (с некоторыми паузами) активизация диалога России и Японии в контексте предшествующих попыток сближения. При этом автор не ограничивается периодом после завершения Второй мировой войны, а идет значительно дальше, ко временам сближения «вчерашних врагов» после подписания в 1905 г. Портсмутского мирного договора.

Что касается вызвавшего значительный резонанс на Западе сближения Москвы и Токио, начавшегося накануне президентских выборов в США 2016 г., то о его причинах размышляет Г. Розман⁴. По его мнению, стремление С. Абэ к развитию отношений с Россией, продемонстрированное после его возвращения в 2012 г. на пост премьер-министра Японии, не следовало сводить только к решению геополитических задач, связанных, например, с китайским фактором. Он полагает, что мотивы С. Абэ были связаны с намерением избавить Японию от восприятия ее региональными соседями, и в мире в целом, как «побежденной страны». По мнению Г. Розмана, если в 2001 г. российское руководство еще могло рассматривать развитие отношений с Японией как способ сбалансировать

1 Панов 2019.

2 Bukh 2011.

3 Ibid.

4 Rozman 2017.

чрезмерную ориентированность азиатского вектора своей внешней политики на Китай, то от подобных иллюзий оно окончательно избавилось уже к середине 2000-х гг. Согласно точке зрения исследователя, стремительный подъем Китая полностью обесценил региональный потенциал Японии.

Т. Барретт, занимающаяся преподавательской деятельностью в Японии, указывает на то обстоятельство, что природно-техногенная катастрофа 11 марта 2011 г. стала серьезным фактором роста заинтересованности Японии в развитии энергетического сотрудничества с Россией¹. Кроме того, в фокусе ее исследования находится проблема использования японскими политиками территориальных претензий к России для получения внутривнутриполитических дивидендов. По ее мнению, этим особенно часто пользовался Дз. Коидзуми в период своего пребывания на посту премьер-министра (2001–2006). Впрочем, и ставший в 2009 г. премьер-министром Ю. Хатояма, с которым были связаны новые надежды на улучшение российско-японских отношений, о чем писал и А.Н. Панов, в ходе своей избирательной кампании и после ее окончания был вынужден учитывать взгляды избирателей Хоккайдо, для которых вопрос так называемых «Северных территорий» является крайне чувствительным. По мнению эксперта, и российская сторона использовала «курильский кейс» для решения внутривнутриполитических задач, однако Т. Барретт настаивает на том, что именно действия японских политиков правоконсервативных и националистических взглядов оказывали разрушительное воздействие на перспективу достижения компромисса в отношениях между Москвой и Токио.

Применительно к российско-японским отношениям Д.В. Стрельцов и А.Л. Лукин для решения исследовательских задач считают целесообразным использовать комбинацию теоретических подходов, основанных на неореализме и конструктивизме. В данном исследовании также предполагается применить подобный инструментарий. Акторами здесь являются национальные государства, при этом Япония и США также являются участниками договора безопасности. Намерение Японии сделать свои претензии к СССР частью международной повестки в период холодной войны, используя такой институт, как «Группа семи», давало ей определенные надежды, которые после завершения эпохи межблокового противостояния постепенно превратились в поводы для разочарования в своих западных партнерах. В настоящее время в условиях отсутствия механизма коллективной безопасности в Восточной Азии национальные государства и альянсы с участием США оказывают ключевое влияние на региональную стабильность². При этом Япония, традиционно опиравшаяся на такой институт, как союз безопасности с США, в условиях ослабления военно-политических возможностей своего союзника также вынуждена становиться государством, способным «постоять за себя». Территориальные уступки со стороны России, на которых настаивают в Токио, могут рассматриваться Японией в качестве ресурса для увеличения собственного регионального влияния.

1 Burrett 2014.

2 Восточной Азии необходима система коллективной безопасности, заявили в МИД // РИА НОВОСТИ. 5 декабря 2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20171205/1510280657.html> (дата обращения: 20.07.2021).

В период после завершения холодной войны, как упоминалось выше, начался процесс отказа Токио от взгляда на Москву как на источник военной угрозы. Принцип доверия, без которого, в соответствии со взглядами конструктивистов, невозможно полноценное международное сотрудничество, в конце 1990-х гг. был официально заявлен Токио в качестве базового принципа для улучшения отношений с Москвой. Впрочем, реализация этого принципа сильно зависела от личностного фактора в японской политике, и лишь некоторые из японских премьер-министров (в частности, Р. Хасимото, Е. Мори и С. Абэ) придавали действительно большое значение выстраиванию подлинно доверительных отношений как на личном уровне, так и между представителями бизнеса и общественности. Москва при этом прилагала значительные усилия в этом направлении еще во времена М. Горбачева.

Новая Россия и Япония

Перед тем как рассматривать постсоветский период отношений между Москвой и Токио, важно отметить, что помощь, оказанная Японией США в холодной войне, является скорее недооцененной. В 1970-х гг. руководство СССР было вынуждено учитывать риски выстраивания антисоветского треугольника Вашингтон – Токио – Пекин. Япония активно участвовала в политической изоляции и санкционной «блокаде» СССР после ввода советских войск в Афганистан. Решительность Я. Накасонэ, занимавшего пост премьера Японии в 1982–1987 гг., свидетельствовала о готовности Японии к участию в консолидированной стратегии Запада по отношению к СССР, в частности о возможности контроля Сил самообороны над стратегически важными морскими коммуникациями, чтобы не допустить прохода в Тихий океан советских подводных лодок в случае военного кризиса.

Вместе с тем к числу выгодоприобретателей от победы Запада в холодной войне Японию можно было отнести с большой натяжкой. Общий оптимизм западных партнеров, видевших в России новую (не только по геополитической конфигурации и численности населения, но и «по сути») страну, в Японии не разделяли. Хотя распад СССР способствовал росту ожиданий территориальных уступок, четкой стратегии у Токио в отношении России не было. Этому способствовал целый ряд как внутренних, так и внешних причин. Здесь следует упомянуть начавшуюся в последнем десятилетии прошлого века затяжную экономическую рецессию в Японии и связанную с этим серьезную волатильность в японской политике. Распад СССР привел к исчезновению идеологической основы для конкуренции между правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) и главной на тот момент оппозиционной силой страны – Социалистической партией Японии¹.

К внешним факторам можно отнести возвышение Китая, которое во многом состоялось благодаря финансовой, технологической и другим видам помощи со стороны Японии, предоставленной в период холодной войны. Вниматель-

1 Стрельцов, Лукин 2017.

но наблюдали из Токио и за нормализацией отношений Москвы и Пекина: этот процесс был запущен в 1989 г. после визита М. Горбачева в Китай. Не внушал оптимизма Токио и приход в 1993 г. в Белый дом администрации Б. Клинтона, поскольку отношения с США в периоды президентства кандидатов от демократических партий складывались обычно намного сложнее, чем при президентах-республиканцах.

Что касается непосредственно российско-японских отношений, то здесь у России, несмотря на утрату статуса сверхдержавы, сохранились инструменты для влияния на весьма чувствительные для Токио вопросы. Так, в условиях системной трансформации международных отношений мог стать актуальным вопрос реформирования ООН, включая расширение состава постоянных членов Совета Безопасности. Здесь очевидны параллели с ситуацией, возникшей в середине 1950-х гг., когда необходимость получения согласия СССР на вступление Японии в ООН заметно усилила в Токио позиции сторонников скорейшей нормализации отношений с Москвой.

Следует упомянуть и о весьма драматичном вопросе российско-японской повестки, который, к сожалению, до сих пор не утрачивает актуальность. Речь идет об уточнении мест захоронения японских военнопленных, скончавшихся по различным причинам, в том числе из-за тяжелых условий содержания, на территории СССР в первом послевоенном десятилетии¹. Япония постоянно подчеркивала заинтересованность в уточнении местонахождения подобных захоронений, а также в их переносе в Японию. Еще в середине 1960-х гг. японское правительство обратилось к правительству СССР с просьбой о розыске мест захоронений японских военнослужащих. В апреле 1991 г. в Токио было подписано межправительственное соглашение о лицах, находившихся в лагерях для военнопленных, в соответствии с которым Москва взяла на себя обязательства действовать Японии в поисках и возвращении на родину останков военнопленных². В Японии опасались, что тяжелая экономическая ситуация существенно затруднит для российской стороны выполнение данного обязательства, и были заинтересованы в использовании любой диалоговой площадки в целях совместной работы по данному направлению.

Что касается надежд Токио на уступки со стороны Москвы по так называемой «территориальной проблеме», то определенный оптимизм у Токио в отношении руководства новой России могло вызывать следующее обстоятельство. Еще в январе 1990 г. в качестве народного депутата Верховного Совета СССР Б. Ельцин посетил Японию и выдвинул «поэтапный план решения территориальной проблемы», реализацию которого предполагалось осуществлять в течение длительного срока (например, даже смены поколений). Хотя в целом план был признан в Токио неприемлемым, там могли оценить «смелость» российского политика³.

Последующие события вскоре покажут, что здесь имела место неверная оценка личностного фактора Б. Ельцина. В дальнейшем диалог с Японией будет

1 Подробнее см.: Катасонова 2003.

2 Эхо войны на Тихом океане. Япония не верит России // Рамблер. [Электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/other/42907946/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения 11.08.2021).

3 Панов 2007, 52.

рассматриваться президентом Б. Ельциным и его администрацией прежде всего с точки зрения возможных внутренних имиджевых рисков. Так называемый «курильский вопрос» очень быстро стал важным фактором внутри России.

Так, руководство МИДа России, полагая, что возникли предпосылки к тому, чтобы разрубить гордиевы узлы дипломатии времен холодной войны, активно занималось разработкой и продвижением новых инициатив по японскому треку, не всегда согласовывая их с первым президентом России Б. Ельциным. Результатом данной работы станет появление формулы «два плюс альфа», предусматривающей заключение мирного договора с Японией и передачу ей Шикотана и Хабомаи, а также обсуждение вариантов дополнительных уступок со стороны России, касающихся двух «больших островов» (Кунашир и Итуруп).

В марте 1992 г. состоялась поездка в Японию главы внешнеполитического ведомства А. Козырева, заявленной целью которой являлась подготовка визита в Японию Б. Ельцина. В ходе встречи А. Козырева с главой МИД Японии М. Ватанабэ японской стороне (как было подтверждено в интервью от 2012 г. участником данной встречи Г. Кунадзе, занимавшим тогда пост заместителя министра иностранных дел) было сделано предложение по урегулированию так называемой «территориальной проблемы» по формуле «два плюс альфа»¹.

Отклонив предложение А. Козырева, японская сторона выдвинула формулу «отложенного суверенитета», предполагавшую признание российской стороной японского суверенитета над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, однако конкретные сроки и другие детали фактической передачи островов Японии должны были стать предметом последующего обсуждения. Здесь также можно провести параллели с ситуацией холодной войны, поскольку японский подход основан на идее «остаточного суверенитета», реализованной Вашингтоном в отношении Окинавы, ставшей в 1951 г. формально подмандатной территорией ООН, а фактически перешедшей под полный контроль американских военных. Вашингтон только в 1972 г. согласился с фактическим восстановлением суверенитета Токио над Окинавой. В Японии, впрочем, предпочитают вместо «отложенного суверенитета» использовать термин «формула Гонконга», чтобы избегать неприятных ассоциаций. В дальнейшем и «два плюс альфа», и идея «отложенного суверенитета» возвращались в российско-японскую повестку².

В Токио, исходя из потребности России в любых видах экономической помощи, включая продовольствие, а также на основе взглядов ряда влиятельных представителей российской общественности и академической сферы, могли ожидать, что вопрос передачи Южных Курил будет решен в ходе запланированного на 1992 г. визита президента в Японию. При этом японская сторона совершила серьезную тактическую ошибку, решив использовать старый и, как казалось, проверенный инструмент давления на Москву – интернационализацию своих претензий к России, добившись включения в политическое заявление Мюнхен-

1 Панов et al. 2019, 319–320.

2 Zagorsky 1999, 349.

ского саммита «Группы семи» пункта в пользу «полной нормализации японо-российских отношений посредством решения территориальной проблемы», связав с этим и предоставление России экономической помощи¹.

Этот шаг Токио вызвал сильное раздражение у приглашенного на саммит Б. Ельцина. 9 сентября 1992 г., за четыре дня до согласованной сторонами даты визита президента в Японию, российской стороной было объявлено о его отмене. Здесь присутствовало и намерение Б. Ельцина разыграть «патриотическую карту» в условиях возникновения предпосылок к конституционному кризису в России. Возникла затяжная пауза в российско-японских переговорах. Вместе с тем во время первого визита Б. Ельцина в Китай в декабре 1992 г. была подписана совместная декларация об основах взаимоотношений между странами, ряд соглашений, касающихся таких сфер, как ядерная энергетика, военно-техническое сотрудничество, что не осталось без внимания Токио.

Далее, под нажимом со стороны президента США Б. Клинтона Токио пригласит Б. Ельцина на саммит «Группы семи» в ноябре 1993 г., где будет согласована новая дата визита российского лидера в Японию, затем японская сторона снимет и свои возражения по вопросу полноформатного подключения России к деятельности данного форума. Забегая вперед, можно отметить, что после Украинского кризиса 2014 г. именно Токио станет главным сторонником возвращения России в эту структуру.

Новой датой визита Б. Ельцина в Японию было выбрано 11 октября 1993 г. Президент России надеялся извлечь максимальные репутационные выгоды посредством демонстрации западным лидерам восстановления своего политического авторитета у российской элиты. В сложившихся условиях отказ российского лидера от обсуждения принципиальных для Японии вопросов выглядел с точки зрения коллективного Запада, но не самого Токио, оправданным. Сразу после прибытия в Японию Б. Ельцин принес извинения за обращение с сотнями тысяч японцев, оказавшихся в советском плену в результате Второй мировой войны. В дальнейшем слова извинений были повторены во время аудиенции у императора Акихито, а также на встрече с представителями бизнес-сообщества².

Визит закончился подписанием ряда документов, в том числе двух базовых – Токийской декларации о российско-японских отношениях (далее – Токийская декларация) и Декларации об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Токийская декларация стала первым межгосударственным документом в истории отношений Москвы и Токио постсоветского периода. Вместе с тем необходимо уточнить принципиальную разницу между Московской декларацией 1956 г. (далее – Декларация 1956 г.) и двумя декларациями постсоветской эпохи – Токийской и Московской (1998), поскольку Токио впоследствии настаивал на их преемственности. В первом случае речь идет о документе международно-правового характера, в отношении которого Москвой и Токио применялись все необходимые ратификационные процедуры, предусмотренные международным

1 «Семерка не стала «восьмеркой» // Российская газета – Федеральный выпуск № 156 (492). 9 июля 1992 [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/gazeta/1992/07/09.html> (дата обращения 2.08.2021).

2 “Yeltsin, in Tokyo Limelight, Avoids Island Dispute,” The New York Times, October 4, 2003 (Archive), accessed April 4, 2021, <https://www.nytimes.com/1993/10/14/world/yeltsin-in-tokyo-limelight-avoids-islands-dispute.html>.

правом. Во втором случае речь идет о политических документах. По своему содержанию Токийская декларация является скорее паллиативным документом, позволившим российской стороне уклониться от формулировки внятной позиции насчет действенности Декларации 1956 г. Японская сторона также смогла «сохранить лицо», получив подтверждение того, что предметом переговоров являются четыре острова¹.

Хотя в Токийской декларации подтверждалась поддержка демократических преобразований и экономических реформ в России, в подходах Токио к отношениям с Россией сохранялся принцип «*иригутирон*» (решение проблемы на «входе»). Согласно этому принципу, так называемый «территориальный вопрос» является для Токио приоритетной темой повестки. Достижение выгодного для Токио варианта его разрешения ставилось в качестве условия для последующего оказания экономической и других видов помощи². Однако к середине 1990-х гг. Россия стала ориентироваться на сотрудничество с международными финансовыми институтами, во многом с этим обстоятельством была связана наступившая в российско-японских отношениях некоторая пауза. В Токио осознали, что нужно искать новую стратегию диалога с Россией.

Москва и евразийская дипломатия Токио

В начале 1996 г. премьер-министром Японии стал Р. Хасимото, которого можно отнести к редкому для Японии типу политика, обладающего лидерскими качествами и харизмой. В июле 1997 г. состоялось выступление Р. Хасимото в *Кэйдзай Доюкай* (Японская ассоциация исполнительных директоров), являющейся наряду с *Кэйданрэн* одной из наиболее влиятельных структур, представляющих интересы крупного бизнеса Японии. Речь премьер-министра была посвящена перспективам отношений с Россией, Китаем, а также с государствами центральноазиатской «пятерки» и Закавказья, отнесенными премьером к региону «Шелкового пути». Премьер-министр предложил выстраивать отношения с Россией на трех принципах. Принцип «доверия» предполагал искренние и дружеские отношения с партнером по переговорам – Б. Ельциным. Это сильно отличалось от традиционно настороженного, а иногда даже высокомерного отношения японского истеблишмента к советским и российским политикам³. Принцип «взаимной выгоды» предполагал отказ от «игр с нулевой суммой» в двусторонних отношениях. Принцип «долгосрочного подхода» предполагал формирование дружественных многоуровневых отношений, направленных в XXI в. Реализация вышеуказанных принципов должна была способствовать, по мнению японского премьера, выходу на решение наиболее сложной проблемы двусторонних отношений. Таким образом, подход «*иригутирон*» начал трансформироваться в «*дэгутирон*» (решение на «выходе»), предполагавший многотрековую повестку с целью создания благоприятной атмосферы для ре-

1 Гришачев 2015, 243.

2 Jung 2015, 265.

3 Известный советский дипломат О. Трояновский упоминает о том, что некорректное, даже развязное поведение японского премьер-министра К. Танака во время его визита в Москву в октябре 1973 г. способствовало созданию общей негативной атмосферы на его переговорах с советским руководством. Подробнее см.: Трояновский 2017, 264.

шения сложных политических вопросов. Как было отмечено выше, подобные принципы предлагались японскому правительству руководством СССР во второй половине 1980-х гг.¹

Вместо быстрого выхода на решение так называемой «территориальной проблемы», Р. Хасимото предложил обсуждать с Россией сотрудничество в экономической сфере и в области региональной безопасности, что в целом соответствовало базовому подходу Москвы к выстраиванию отношений с Токио еще во времена «нового мышления» М. Горбачева.

Появление данной концепции, часто упоминаемой как «евразийская дипломатия», было связано не только с личными взглядами Р. Хасимото, но и с осознанием в Токио того обстоятельства, что после завершения холодной войны их «экзистенциальные» проблемы в отношениях с Россией стали не столь интересны для Вашингтона. Проявления формальной поддержки японских территориальных претензий, безусловно, были. Например, в тексте японо-американской Совместной декларации по безопасности от 1996 г. говорилось о том, что «полная нормализация японо-российских отношений, основанных на Токийской декларации 1993 г., важна для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе»².

Показательной в этом плане является история с присоединением России к форуму АТЭС. Япония дольше других стран не поддерживала российскую заявку, надеясь использовать эту ситуацию для нажима на Россию. США первоначально также были настроены против. Затем в Вашингтоне изменили позицию на противоположную. Р. Хасимото, понимая, что Японии теперь придется «вести игру в одиночку», предложил концепцию «евразийской дипломатии», способную, по его мнению, найти положительные отклики и в России. Что касается АТЭС, Токио дал согласие на присоединение России к форуму в ноябре 1997 г., перед самым началом саммита в Ванкувере.

Концепция «евразийской дипломатии» во многом создала предпосылки для проведения неформальных саммитов («встречи без галстуков») Б. Ельцина и Р. Хасимото в ноябре 1997 г. под Красноярском (резиденция «Сосны») и в апреле 1998 г. в японском курортном городе Кавана. Между лидерами России и Японии действительно возникла глубокая личная симпатия. Российский президент даже внес предложение заключить мирный договор к 2000 г., выглядевшее скорее экспромтом, что несколько озадачило его партнера. Схожая ситуация возникла и в сентябре 2018 г., когда С. Абэ в своем выступлении и последующем интервью в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума призвал В. Путина подтвердить намерение двигаться к заключению мирного договора. В ответ В. Путин предложил С. Абэ заключить до конца 2018 г. мирный договор без предварительных условий. Продолжая свою мысль о заключении мирного договора с Японией, В. Путин сказал: «А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне

1 Хроника внешнеполитических событий в СССР, 1986 г. // Горбачев Фонд. 2010. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gorby.ru/archival/expocenter/vneshpolitika/show_29323/ (дата обращения: 06.04.2021).

2 "Japan-U.S. Joint Declaration On Security- Alliance For The 21st Century," Ministry of Foreign Affairs of Japan, April 17, 1996, accessed May 8, 2020, <https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.html>.

кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет». По словам В. Путина, эта мысль пришла ему в голову спонтанно. «70 лет мы ведем переговоры. С. Абэ сказал: давайте поменяем подходы. Давайте»¹. С. Абэ на тот момент не нашел что ответить.

Согласие Р. Хасимото не акцентировать в Красноярске внимание на вопросах, затрагивающих российский суверенитет над Южными Курилами, вызвало положительную реакцию у российских партнеров. В Каване к этой теме вернулись, и японская сторона снова предложила использовать принцип «отложенного суверенитета» в отношении островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Принципиально новой стала идея Р. Хасимото подходить к вопросу вокруг Южных Курил не как к территориальному спору, а как к вопросу о пограничном размежевании, что было вполне приемлемо для Москвы. Впоследствии российские официальные лица и эксперты стали активно использовать новую терминологию². К сожалению, период пребывания Р. Хасимото на посту премьер-министра оказался недолгим: в июле 1998 г. он был вынужден подать в отставку из-за фиаско возглавляемой им партии на выборах. Его преемником на посту премьер-министра стал К. Обути, не обладавший такими лидерскими качествами, как у его предшественника, но в целом разделявший его взгляды.

К. Обути посетил Россию в ноябре 1998 г., когда российская сторона выдвинула новое предложение заключить договор о мире и дружбе до 2000 г., после чего в более благоприятных условиях перейти к работе над проектом договора о границе. Идея «промежуточного договора» к тому моменту также была не нова: еще в январе 1978 г. СССР передал японской стороне проект Договора о добрососедстве и сотрудничестве, предполагавший дальнейшие переговоры по мирному договору. Советское предложение тогда было оставлено без ответа³.

По итогам визита К. Обути была подписана Московская декларация об установлении созидательного партнерства между Российской Федерацией и Японией (далее – Московская декларация). В документе подтверждалась «решимость прилагать все усилия с целью заключения мирного договора к 2000 г.», а также в качестве важнейшей задачи двусторонних отношений было провозглашено «установление долгосрочного созидательного партнерства на базе принципов доверия, взаимной выгоды, долгосрочной перспективы и тесного экономического взаимодействия». В отдельный блок была выделена кооперация в международных делах (глобальные вопросы и азиатско-тихоокеанская проблематика).

31 декабря 1999 г. Б. Ельцин объявил о своей отставке с поста президента России, назначив В. Путина премьер-министром и исполняющим обязанности главы государства. В. Латышев отмечает, что японские эксперты впоследствии признавали, что после неожиданного выбора Б. Ельциным В. Путина в качестве своего преемника на посту президента никто из политиков и высокопоставленных чиновников в Токио не имел представления о взглядах будущего российского лидера на мировую политику и на российско-японские отношения в частно-

1 Трудный мир, развитие Дальнего Востока и суперколыцо. О чем говорили на ВЭФ в среду // ТАСС информационное агентство. 12 сентября 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/vef-2018/articles/5558389> (дата обращения: 15.09.2018).

2 Bukh 2011; Zagorsky 1999, 349; Brown 2011.

3 Стрельцов 2015, 229; Kuroiwa 2011.

сти. В Токио помнили о визите В. Путина в Японию в 1995 г. в качестве вице-мэра Санкт-Петербурга для участия в одном из симпозиумов¹. Вместе с тем вскоре будет понятно, что у В. Путина имелся глубокий интерес к Японии, начавший формироваться, по всей видимости, когда еще в школьные годы будущий президент занимался борьбой дзюдо. Впоследствии некоторые термины из этого вида спорта, например «хикивакэ» (ничья), благодаря В. Путину войдут и в лексикон международных отношений².

Рабочие контакты между К. Обути и В. Путиным были установлены уже в январе. Однако 2 апреля К. Обути был госпитализирован с тяжелой болезнью и спустя несколько дней скончался. Новый премьер-министр Японии Е. Мори с большой симпатией относился к России, что во многом было связано с его семейными традициями. Его отец С. Мори был полковником императорской армии Японии, причем существуют две версии его послевоенной биографии. Согласно одной из них, С. Мори несколько лет провел в лагерях военнопленных под Иркутском. Как и многие японцы, пережившие советский плен, С. Мори по возвращении в Японию стал активным сторонником развития связей с СССР, считая его своей «второй родиной»³. По другой версии, интерес к СССР у С. Мори возник в 1959 г., когда, будучи мэром японского города Нэагари, он посетил Россию. На него произвело положительное впечатление состояние мест захоронений японских военнопленных в районе Иркутска (город Шелехов). С. Мори прилагал значительные усилия для установления побратимских связей между городами Иркутской области и префектуры Исикава, а часть своего праха он завещал похоронить на кладбище Шелехова, что и было сделано в 1991 г. Е. Мори неоднократно подчеркивал, что считает своим долгом продолжить дело отца. Свою первую зарубежную поездку в качестве премьер-министра Е. Мори совершил не в США, как обычно делали его предшественники, а в Россию. 28–29 апреля 2000 г. состоялась неформальная встреча Е. Мори и исполнявшего обязанности Президента России В. Путина в Санкт-Петербурге, в ходе которой была согласована дата визита В. Путина в Японию.

Визит состоялся с небольшой задержкой (вместо конца августа – 3–5 сентября), но сопровождавшая российского президента делегация была беспрецедентно представительной. В Совместном заявлении о взаимодействии России и Японии в международных делах Россия выразила поддержку кандидатуры Японии для вступления в постоянные члены Совета Безопасности ООН. Были подписаны Программа углубления сотрудничества в торгово-экономической области между странами, фактически давшая старт началу энергетической дипломатии, а также документы о сотрудничестве по линии пограничных ведомств и в правоохранительной сфере. Значительный резонанс вызвало то обстоятельство, что В. Путин впервые признал действенность Советско-японской декларации 1956 г. в полном объеме, что было подтверждено на брифинге для журналистов. Вместе с тем в итоговое заявление президента России и премьер-министра Японии по

1 Латышев 2005, 61.

2 Подробнее см.: Dian, Kireeva 2021, 12.

3 Японию возглавил политический тяжеловес. Его масса 100 кг // Коммерсант. 6 апреля 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/144633>. (дата обращения: 06.04.2021).

проблеме мирного договора это признание не было включено. Позже В. Путин и Е. Мори встретились в ноябре 2000 г. на саммите АТЭС, где договорились провести неформальную встречу в Иркутске весной 2001 г.

В то же время на прогресс в российско-японских отношениях повлиял личностный фактор, связанный с Е. Мори. Этот японский политический «тяжеловес», до настоящего времени сохраняющий свое влияние в ЛДП, принадлежит к классическому для японской внутренней политики типу «серого кардинала», умеющего поддерживать баланс интересов между различными внутрипартийными группами. Проблема этого типа политиков состоит в том, что пребывание в должности премьер-министра часто становится для них слишком тяжелым испытанием, поскольку «выход из тени» (например, коммуникации со СМИ) дается им весьма сложно. К сожалению, карьерная траектория Е. Мори складывалась по этой схеме. Сторонники «традиционного подхода» (жесткой линии) в отношении России по вопросу мирного договора, сохранявшие значительное влияние в ЛДП, воспользовались невнятной реакцией Е. Мори на произошедшее 9 февраля 2001 г. столкновение американской атомной субмарины и японского учебного судна, сопровождавшееся гибелью нескольких курсантов. Неформальная встреча 25 марта Е. Мори и В. Путина в Иркутске происходила в ситуации, когда досрочная отставка Е. Мори с поста премьера выглядела уже решенным делом. С. Хакамада, профессор университета Аояма Гакуин, считающийся экспертом по России, полагал, что В. Путину не было смысла вести серьезные переговоры с политической «хромой уткой»¹.

В принятом по итогам встречи Иркутском заявлении президента России и премьер-министра Японии о дальнейшем продолжении переговоров по проблеме мирного договора впервые была упомянута Декларация 1956 г. Стороны согласились с тем, что она «представляет собой базовый юридический документ, положивший начало процессу переговоров о заключении мирного договора после восстановления дипломатических отношений между нашими странами».

Возвращение Токио к «жесткой линии»

В 2001 г. среди претендентов на должность премьер-министра Японии рассматривался и Р. Хасимото, однако главой правительства стал Дз. Коидзуми. Новый премьер-министр обладал политической харизмой, серьезными амбициями, подкрепленными выдающимися для японской политической культуры лидерскими качествами. Этот политик, в отличие от своего предшественника на этом посту, не испытывал каких-либо сантиментов по отношению к России, не скрывал приверженности принципу «Четыре острова – единое целое», был принципиальным сторонником ориентации на сотрудничество с США в вопросах внешней политики. «Евразийская дипломатия» Р. Хасимото, на которую ориентировались К. Обути, Е. Мори при выстраивании отношений с Россией, как казалось, будет надолго «положена под сукно».

1 "Mori-Putin Summit Expectations Low," The Japan Times, March 24, 2001, accessed April 2, 2021, [http:// www.japantimes.co.jp/news/2001/03/24/national/mori-putin-summit-expecnations-low](http://www.japantimes.co.jp/news/2001/03/24/national/mori-putin-summit-expecnations-low).

Новым стимулом для оживления диалога между Россией и Японией стала активизация российско-китайского сотрудничества в сфере энергетики по проекту нефтепровода в Восточной Сибири (Ангарск – Дацин). Здесь во многом сработала логика «переманивания невесты» в японо-китайском соперничестве. В Токио начали по различным каналам, особенно через деловые круги, продвигать варианты своего участия в проекте при условии выбора основного маршрута в направлении порта Находка. В поддержке маршрута «Ангарск – Находка» решил лично принять участие и глава японского правительства. Впрочем, интерес Японии к сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере не следует сводить только к китайскому фактору. Для Японии важно, что маршруты поставок энергоресурсов через российский Дальний Восток, несмотря на наличие короткого морского сегмента маршрута, являются намного более короткими и безопасными, чем танкерные перевозки с Ближнего Востока¹.

Также Дз. Коидзуми рассчитывал и на содействие России по северокорейскому досье: японскую сторону интересовали новые каналы для прояснения судеб японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами и объявленными Пхеньяном «умершими при различных обстоятельствах». После того как в 2002 г. Ким Чен Ир признал факт подобных похищений, общественная дискуссия вокруг результативности действий японского правительства по этому направлению стала важным элементом японской внутривластной повестки.

Визит Дз. Коидзуми в Москву состоялся 9–11 января 2003 г., начавшись с посещения Театрального центра на Дубровке с целью возложения траурного букета в память о жертвах террористического акта. Главным результатом визита стало Совместное заявление о принятии Российско-японского плана действий (далее – План действий), фактически являвшегося весьма детальной дорожной картой российско-японских отношений по шести направлениям: политический диалог, переговоры по мирному договору, сотрудничество на международной арене, торгово-экономическое сотрудничество, культурные и гуманитарные обмены, а также сотрудничество по линии оборонных и правоохранительных ведомств (противодействие терроризму, содействие японской стороны в утилизации выведенных из состава российского флота атомных субмарин). В отношении вопроса мирного договора были применены достаточно обтекаемые формулировки, которые можно было рассматривать скорее как декларацию о намерениях. Таким образом, сторонник «жесткой линии» в отношении России также примирился с двухтрековой повесткой, а отношения скорее вернулись в русло «дзугутирон».

В июне 2003 г. Е. Мори в качестве специального посланника Дз. Коидзуми прибыл в Москву и передал В. Путину приглашение посетить Японию с официальным визитом. На полях состоявшегося в июне 2004 г. саммита «Большой восьмерки» на острове Си Айленд (Джорджия, США) В. Путин и Дз. Коидзуми договорились о том, что президент России посетит Японию в начале 2005 г. Стороны

1 В настоящее время Россия осуществляет поставки нефти через трубопровод ВСТО-2 в Японию и страны Юго-Восточной Азии, однако их объем в японском импорте сырой нефти является незначительным (порядка 4 %). Одним из препятствий к наращиванию объема поставок сибирской нефти являются технические трудности, связанные с ее извлекаемостью. Подробнее см.: Yenni-Lindgren 2018, 155.

планировали приурочить визит к 150-летию подписания Симодского трактата в 1855 г¹. Однако В. Путин прибыл в Японию 20 ноября 2005 г. Перенос даты визита В. Путина в Японию, по всей видимости, был связан с тем обстоятельством, что дипломаты двух стран прилагали все усилия по созданию возможностей для выхода на подписание мирного договора или другого сопоставимого по значимости документа между Россией и Японией. Знаковые исторические даты, связанные с Симодским трактатом и приближавшимся пятидесятилетним юбилеем Декларации 1956 г., создавали бы для подписания подобных договоренностей благоприятный общий фон, а высокие рейтинги находящегося в начале второго президентского срока В. Путина и заканчивающего свое пребывание на посту премьер-министра Дз. Коидзуми способствовали бы созданию необходимой для этого политической атмосферы. Однако выйти на компромисс стороны, по всей видимости, так и не смогли.

С. Абэ, сменивший в сентябре 2006 г. Дз. Коидзуми на посту премьер-министра Японии, был вынужден сосредоточить свои усилия на китайском направлении внешней политики, поскольку отношения с Пекином оказались в состоянии «заморозки» из-за таких демонстративно недружественных действий его предшественника, как, например, участие в церемониях в синтоистском святилище Ясукуни. Первая личная встреча С. Абэ и В. Путина произошла на саммите АТЭС в Ханое в ноябре 2006 г. Однако уже в сентябре 2007 г., сославшись на серьезные проблемы со здоровьем, С. Абэ заявил о своей досрочной отставке. Впрочем, в декабре 2012 г. этот политик с триумфом вернется на пост главы правительства Японии.

В период между первым и вторым кабинетами С. Абэ японская внешняя политика имела ситуативный, реактивный характер не только на российском направлении, но и в целом. К заметным событиям стоит отнести состоявшееся в феврале 2009 г. посещение премьер-министром Т. Асо по приглашению президента России Д. Медведева острова Сахалин с целью участия в церемонии по открытию первого в стране завода по производству сжиженного газа. В апреле 2009 г. в японских СМИ появилось вызвавшее значительный резонанс интервью спецпредставителя правительства по внешней политике С. Яти о возможности раздела Южных Курил исходя из их общей площади. Вполне вероятно, что высокопоставленный чиновник от своего имени озвучил идею Т. Асо, но премьер-министр публично этот подход не поддержал. 11 июня 2009 г., накануне парламентских выборов в Японии, ее парламент принял поправки к закону «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий», что не осталось без должной оценки со стороны Федерального Собрания Российской Федерации.

В сентябре 2009 г., как отмечалось выше, главой нового правительства стал Ю. Хатояма – лидер Демократической партии. Его дед И. Хатояма, один из основателей ЛДП, будучи премьер-министром в 1954–1956 гг., лично участвовал в финальном раунде переговоров по нормализации отношений с СССР,

1 “Putin Agrees to Visit Japan in early 2005,” The Japan Times, June 11, 2004, accessed May 20, 2021, <https://www.japantimes.co.jp/2004/06/11/announcements/putin-agrees-to-visit-japan-in-early-2005/>.

состоявшемся осенью 1956 г. в Москве. Однако, потратив значительную долю своего политического капитала на попытку выполнения своего предвыборного обещания, связанного с решением вопроса о передислокации одной из американских баз на Окинаве, в июне 2010 г. Ю. Хатояма ушел в отставку¹. Его преемники на посту премьер-министра, соратники по Демократической партии, были «фигурами компромисса».

В сентябре 2010 г. состоялся визит президента России Д. Медведева на Кунашир, после чего ряд высокопоставленных российских чиновников посетили Кунашир и Итуруп. Д. Медведев стал первым со времен СССР руководителем, посетившим Курильские острова. Реакция японской стороны ожидаемо была подчеркнута негативной.

Россия и «эпоха Абэ»

В том, что С. Абэ, вернувшийся, как отмечалось выше, на пост премьера Японии в конце 2012 г., обозначил достижение качественного сдвига в отношениях с Россией одной из главных тем своей политической повестки, нельзя недооценивать личностный фактор и семейные традиции. Его отец, Синтаро Абэ, политик, имевший в Японии безупречную репутацию, на посту министра иностранных дел успел сделать немало для улучшения отношений между Россией и Японией, даже будучи уже смертельно больным человеком. В апреле 2013 г. С. Абэ впервые посетил Москву. По итогам переговоров стороны признали «ненормальным» отсутствие мирного договора, в июне того же года начались консультации на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросу мирного договора. В ноябре 2013 г. состоялась первая встреча руководителей оборонных и внешнеполитических ведомств России и Японии. Указанный формат переговоров, часто упоминаемый как «два плюс два», ранее использовался Токио только для консультаций с Вашингтоном и привилегированными западными партнерами². С. Абэ продолжил развивать и реализовывать многое из предложенных в свое время подходов Р. Хасимото к отношениям с Россией, встраивая переговоры с Россией по мирному договору в рамки значительно более широкого диалога, причем не только по тематике экономического сотрудничества, гуманитарных обменов, но и по проблемам региональной безопасности.

В марте 2014 г. в Японии стали усиливаться позиции сторонников ориентации на курс Вашингтона в отношении России, которые С. Абэ не мог игнорировать, при этом и администрация Б. Обамы начала нажим на Токио. Японское правительство объявило о санкционных ограничениях в отношении России: были приостановлены консультации по облегчению визового режима, отложены переговоры по ряду проектов, предполагавших подписание соглашений об инвестиционном сотрудничестве, о кооперации в космической сфере, о предотвращении опасной военной деятельности. Является весьма распространенным мнение о том, что японские санкции имели скорее символический характер и

1 Панов et al. 2019, 355.

2 Моргулов: формат 2+2 с Японией – это привилегированная форма диалога // РИА Новости. 30 октября 2013. [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20131030/973610725.html> (дата обращения: 03.04.2021).

являлись способом лавирования между политикой партнеров по «Группе семи» и нежеланием обострять отношения с Россией. Однако Д. Стрельцов полагает, что решение Японии об участии в санкциях было продиктовано не только соображениями «западной солидарности», но и в контексте ее собственных интересов в Восточной Азии. Это связано с озабоченностью Токио напористостью Пекина по территориальным спорам с соседями, в первую очередь претензиями на острова Сэнкаку / Дяюйдао. Нейтральная позиция Токио по ситуации вокруг Крыма была бы воспринята как доказательство отсутствия у Токио принципиальности в вопросах перекройки границ¹. Впрочем, в мае 2014 г. «Газпром» и китайская *CNPC* подписали контракт стоимостью 400 млрд долларов о поставке российского газа в Китай, срок действия соглашения рассчитан на 30 лет. Для Японии российско-китайское энергетическое сотрудничество является намного более чувствительным вопросом, чем для ее партнеров по «Группе семи»². По мере того как становилась очевидной достаточно высокая устойчивость российской экономики к санкционному давлению, С. Абэ решил действовать без особой оглядки на администрацию Б. Обамы, поскольку ухудшение региональной среды безопасности в Восточной Азии вышло на неприемлемый для Токио уровень. Начавшаяся в США одна из наиболее драматичных и противоречивых президентских кампаний в истории этой страны привела к снижению транспарентности американской внешней политики в целом. В результате правительство С. Абэ столкнулось с необходимостью поиска новых точек опоры в регионе, рассматривая при этом и Россию в качестве возможного партнера.

В мае 2016 г. премьер-министр Японии С. Абэ прибыл в Сочи с неофициальным визитом, предложив В. Путину план из 8 пунктов, предусматривающий активизацию сотрудничества в сферах энергетики (включая ядерную), здравоохранения, урбанистики, гуманитарных обменов, высоких технологий, а также содействие в индустриальном развитии российского Дальнего Востока. М. Крылов предположил, что С. Абэ предложил В. Путину формулу Московской декларации 1956 г. («договор плюс два острова») в увязке с определенными условиями. Платой за российские уступки в рамках этого варианта выступал экономический пакет. Платой за японские – возможные оговорки о статусе Кунашира и Итурупа. Если это предположение соответствовало действительности, то в этот раз уже в Токио прибегли к пресловутой формуле «два плюс альфа»³.

В июне 2016 г. возобновились консультации глав дипломатических ведомств по вопросу заключения мирного договора. Несмотря на не слишком внятные попытки администрации Б. Обамы убедить японского премьера отказаться от следующей встречи с президентом России, визит В. Путина в Японию состоялся в декабре 2016 г., во время которого стороны достигли предварительной договоренности по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Инициатива в этом вопросе исходила от Японии, но В. Путин подчеркнул, что подобная деятельность будет вестись исключительно в рамках российского

1 Стрельцов 2020, 70.

2 Richardson 2017, 19.

3 О каком новом подходе договорились Путин и Абэ // Московский Центр Карнеги. 11 мая 2016. [Электронный ресурс]. URL: <https://carnegie.ru/commentary/63547> (дата обращения: 11.04.2021).

правового поля¹. Впрочем, план совместного экономического освоения спорных территорий предлагался еще в 1996 г. Е. Примаковым, занимавшим на тот момент пост министра иностранных дел, когда в ходе своего визита в Токио он официально представил японской стороне концепцию совместной хозяйственной деятельности на спорных островах². В Токио, видимо, решили воспользоваться этой идеей.

В дальнейшем российско-японские контакты приобрели регулярный характер (к 2020 г. число встреч лидеров двух стран приблизится к трем десяткам). Помимо общения на высшем уровне в марте 2017 г. возобновились встречи в формате «два плюс два». В ноябре и декабре 2017 г. Японию посетили главнокомандующий сухопутными войсками России генерал-полковник О. Салюков и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России В. Герасимов. «Пиковой точкой» российско-японского сближения стала встреча в Сингапуре в ноябре 2018 г., где лидеры договорились активизировать переговоры по мирному договору, основываясь на советско-японской совместной Декларации 1956 г. В этом документе четко прописано, что острова Шикотан и Хабомаи будут переданы Японии после заключения мирного договора.

Хотя Д. Трамп, ставший в начале 2017 г. главой Белого дома, дал С. Абэ значительную свободу действий на российском направлении, переговоры по вопросу мирного договора не были исключительно двусторонним вопросом³. Россия могла рассматривать варианты каких-либо компромиссов по острову Шикотан и гряде Хабомаи только в случае юридических гарантий, что там никогда не окажутся войска США, а также какие-либо объекты, имеющие отношение к японо-американской ПРО. Однако этот вопрос уже не был исключительно в японской компетенции, хотя С. Абэ в 2018 г. и заверил В. Путина, что в том случае, если Россия передаст Японии эти острова, там никогда не будет американских военных баз. Сценарий, при котором США могут начать терять интерес к военно-политическому сотрудничеству с Японией из-за его асимметричного характера, рассматривался скорее как элемент «торга» администрации Д. Трампа со своими союзниками⁴.

В 2020 г. российско-японские отношения развивались уже разнонаправленно. Свой вклад в это внесла, безусловно, пандемия COVID-19, лишившая, помимо прочего, Токио и возможности провести в 2020 г. летнюю Олимпиаду, но для охлаждения в отношениях имелись и другие причины.

Сдерживающие факторы

Большая часть японской политической элиты разделяет господствующий на Западе взгляд, согласно которому Россия «бросает вызов постбиполярному мировому порядку» во главе с США, и что даже с учетом заявлений российского руководства о развороте на Восток, на практике азиатский вектор российской

1 Жителей Курил излечит японская медицина. СМИ: Япония предложит России план совместной деятельности на Курилах // Газета.Ru. 26 февраля 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/02/26_a_10544759.shtml (дата обращения: 12.04.2021).

2 Москва пока предлагает торговать, а не торговаться // Газета «Коммерсантъ» № 196 от 16.11.1996, с. 4.

3 "Resetting Japan-US Relations / Challenges for a New Prime Minister," The Diplomat, October 7, 2020, accessed April 2, 2021, <https://thediplomat.com/2020/10/resetting-japan-russia-relations/>.

4 Нелидов 2019, 70.

политики продолжает играть в общей стратегии Москвы роль, подчиненную ее интересам на евроатлантическом пространстве. Правительство С. Абэ активно подвергалось критике за то, что действовало в отношении с Россией недостаточно осмотрительно.

С точки зрения Москвы, серьезным препятствием для развития сотрудничества с Токио является военный союз США и Японии (в частности, участие Токио в глобальной системе ПРО США). Хотя в Токио подчеркивают, что размещенные на японской территории объекты ПРО обслуживаются исключительно персоналом Сил самообороны и термин «японо-американская ПРО» является некорректным, координация между США и Японией по противоракетной проблематике достигла такого уровня, что автономной от США японской ПРО не существует по факту. Вышеупомянутый термин, кстати, широко используется в публикациях американских экспертов. Кроме того, с 2008 г. Япония участвует в совместной с США разработке новой модификации противоракеты SM-3 – SM-3 Block IIA, которая, по информации из источников Пентагона, прошла успешные испытания и будет использоваться также в наземных системах ПРО, размещаемых США на территории Восточной Европы.

Слишком резкий поворот российского руководства в сторону Токио мог быть воспринят с определенной настороженностью в Китае, ставшем сегодня главным оппонентом США и Японии в Восточной Азии. «План экономического развития из восьми пунктов», как отмечает В. Нелидов, не привел к существенной активизации российско-японских экономических связей, уступающих по своей интенсивности не только сотрудничеству Москвы с Пекином, но и, например, с Сеулом. «Совместная хозяйственная деятельность на Южных Курилах свелась к скромным пилотным проектам»¹.

Заключение

После внесения в июле 2020 г. поправок в Конституцию Российской Федерации, по всей видимости, завершается почти тридцатилетняя эпоха в отношениях России и Японии, в которой запросы Токио на получение территориальных уступок со стороны России являлись одной из неотъемлемых составляющих двусторонней повестки.

Тем не менее из заявлений премьер-министра Японии Е. Суга и его министров можно сделать вывод, что в Токио продолжают думать о том, что точка в вопросе их претензий в отношении Южных Курил еще не поставлена. Оптимизм японских политиков может быть здесь связан и с упоминанием в обновленной российской конституции возможности делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы. В этом случае Токио придется продолжать вести игру «в долгую», сосредоточившись на развитии отношений с государствами, которые признаются Японией дружественными – прежде всего с членами НАТО. Вместе с тем геополитическая ситуация, сложившаяся после завершения холод-

1 Нелидов, В.В. Российско-японские отношения в 2020 г.: есть ли надежда на лучшее? // Говорят эксперты МГИМО. 22 января 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://mgimo.ru/about/news/experts/rossijsko-yaponskie-otnosheniya-v-2020-godu-est-li-nadezhda-na-luchshee/> (дата обращения: 12.04.2021).

ной войны, продемонстрировала японским политикам, что на действенное участие западных партнеров в борьбе за оспаривание российского суверенитета над Южными Курилами рассчитывать не приходится.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

История российско-японских отношений: XVIII – начало XXI века: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. С.В. Гришачева. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 336 с.

Grishachev S.V., ed. *Istoriya Rossijsko-yaponskikh otnoshenii: XVIII – nachalo XXI veka: Ucheb. posobie dlya studentov vuzov*. Moscow: Izdatel'stvo «Aspekt Press», 2015 [In Russian].

Катасонова, Е.Л. Японские военнопленные в СССР: большая игра великих держав. – М.: Институт востоковедения РАН – «Крафт», 2003. – 432 с.

Katasonova, Elena L. *Yaponskie voennoplennye v SSSR: bol'shaya igra velikikh derzhav*. Moscow: Institut vostokovedeniya RAN – “Krafft”, 2003 [In Russian].

Кузьминков, В.В. К истории территориального размежевания между Россией и Японией: японский взгляд. – М.: ИДВ РАН, 2016. – 304 с.

Kuzminkov, Vladimir V. *K istorii territorial'nogo razmezhevaniya mezhdru Rossiei i Yaponiei: yaponskii vzglyad*. Moscow: IDV RAN, 2016 [In Russian].

Латышев, И.А. Путин и Япония. Будут ли уступки? 2000–2005. – М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2005. – 416 с.

Latyshev, Igor A. *Putin i Yaponiya. Budut li ustupki? 2000–2005*. Moscow: Izd-vo Ehksmo, Izd-vo Algoritm, 2005 [In Russian].

Нелидов, В.В. Российско-японские двусторонние отношения: пределы сближения // Восточная Азия: факты и аналитика. – 2019. – № 2. – С. 65 – 82. <https://doi.org/10.24411/2686-7702-2019-10012>.

Nelidov, Vladimir V. “Russian-Japanese Bilateral Relations: Limits of Rapprochement.” *East Asia: Facts and Analytics*, no. 2 (2019): 192–208 [In Russian].

Панов, А.Н. Клан Хатояма. Потрет семьи на фоне истории Японии. – М.: ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 224 с.

Panov, Aleksandr N. *Klan Khatoyama. Potret sem'i na fone istorii Yaponii*. Moscow: ZAO OLMA Media Grupp, 2010 [In Russian].

Панов, А.Н. Россия и Япония: становление и развитие отношений в конце XX – начале XXI века (достижения, проблемы, перспективы). – ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 2007. – 311 с.

Panov, Aleksandr N. *Rossiya i Yaponiya: stanovlenie i razvitie otnoshenii v kontse XX – nachale XXI veka (dostizheniya, problemy, perspektivy)*. FGUP Izdatel'stvo “Izvestiya” Upravleniya delami Prezidenta RF, 2007 [In Russian].

Панов, А.Н., Саркисов, К.О., Стрельцов, Д.В. История внешней политики Японии 1868–2018 гг. – М.: Международные отношения, 2019. – 456 с.

Panov, Aleksandr N., Sarkisov, Konstantin O., Strel'tsov, Dvitrii V. *Istoriya vneshnei politiki Yaponii 1868–2018 gg*. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2019 [In Russian].

Стрельцов, Д., Лукин, А. Российско-японские отношения через призму теории // Международные процессы. – 2017. – №2. – С. 44–63. <https://doi.org/10.17994/IT.2017.15.2.49.3>.

Strel'tsov, Dmitriy V., and Artem L. Lukin. “Russia-Japan Rapprochement Through the Lens of IR Theory. Neo-Classical Realism, Constructivism and Two-Level Games.” *International Trends / Mezhdunarodnye Protssy* 15, no. 2 (49) (April–June 2017) [In Russian].

Стрельцов, Д.В. Внешнеполитические приоритеты Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. – Институт Востоковедения РАН; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. – М.: Вост. лит., 2015. – 279 с.

Strel'tsov, Dmitrii V. *Vneshnepoliticheskie prioritety Yaponii v Aziatsko-Tikhoookeanskom regione*. Moscow: Vost. lit., 2015 [In Russian].

Стрельцов, Д.В. Российско-японские отношения: долгосрочные факторы развития. // Вестник МГИМО-Университета. – 2020. – № 13(3). С. 68–85. <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2020-3-72-68-85>.

Strel'tsov, D. V. “Russian-Japanese Relations: Long-Term Development Factors.” *MGIMO Review of International Relations* 13, no. 3 (2020): 68–85 [In Russian].

Тихвинский, С.Л. Избранные произведения в 5 кн. – М.: Наука, 2006.. (Кн. 4. Отечественная и всемирная история: Великая Отечественная война, внешняя политика и международные отношения). – 561 с.

Tikhvinskii, Sergei L. *Izbrannye proizvedeniya v 5 kn*. M.: Nauka, 2006. (Kn. 4. *Otechestvennaya i vseмирnaya istoriya: Velikaya Otechestvennaya voina, vneshnyaya politika i mezhdunarodnye otnosheniya*, 2006 [In Russian].

Трояновский, О.А. Через годы и расстояния. История одной семьи. – М.: Центрполиграф, 2017. – 351 с.

Troyanovskiy, Oleg A. *Cherez gody i rassstoyaniya*. Moscow: Tsentrpoligraf, 2017 [In Russian].

Bukh, Alexander. *Japan's National Identity and Foreign Policy*. London: Routledge, 2011.

Burret, Tina. “National Interests Versus National Pride. The Russo-Japanese Northern Territories Dispute.” *Problems of Post-Communism* 61, no. 5 (2014): 14–31. <https://doi.org/10.2753/PPC1075-8216610502>

Dian, Matteo, and Anna Kireeva “Wedge Strategies in Russia-Japan Relations.” *The Pacific Review*, February 18, 2021, 1–31. <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1887331>.

Brown, James D.J. “Great East Japan Earthquake and Russian-Japanese relations.” *Post-Soviet Affairs* 29, no. 3 (2011): 197–236. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2013.786552>.

Jung, Giwoong, Seok Sang Yoon, and Sung Hoon Jeh. “Why Japan and Russia have Failed to Solve the Territorial Dispute: The 1956 Joint Declaration and the Mechanism of Political Coherence.” *Asia Europe Journal* 14, no. 3 (2016): 261–278. <https://doi.org/10.1007/s10308-015-0439-5>.

Kuroiwa, Yukiko. “Northern Challenges: The Japan–Russian Border Dispute and Local Voices.” *Journal of Borderlands Studies* 26, no. 3, (2011): 283–295. <https://doi.org/10.1080/08865655.2011.686970>.

Richardson, Paul B. "Geopolitical Cultures, Pragmatic Patriotism, and Russia's Disputed Islands." *Eurasian Geography and Economics* 59, no. 1 (2018): 7–27. <https://doi.org/10.1080/15387216.2017.142147>.

Rozman, Gilbert "Unanswered Questions about Japan-Russia Relations in 2017." *Asia-Pacific Review* 24, no. 1 (2017): 74–94. <https://doi.org/10.1080/13439006.2017.1320161>.

Yenni-Lindgren, Wrenn. "New Dynamics in Japan-Russia Energy Relations 2011–2017." *Journal of Eurasian Studies* 9, no. 2 (2018): 152–164. <https://doi.org/10.1016/j.euras.2018.06.002>.

Zagorsky, Alexei. "Russian-Japanese Relations: Back to Deadlock." In *The Russia and Asia. The Emerging Security Agenda*, edited by Gennady Chufirin, 318–336. Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press, 1999.

Сведения об авторе

Олег Геннадьевич Парамонов,

к.ист.н., старший научный сотрудник, Центр исследований Восточной Азии и ШОС,
Институт международных исследований, МГИМО МИД России,
проспект Вернадского, 76, Москва, 119454.

e-mail: paramonov_og@rambler.ru

Дополнительная информация

Поступила в редакцию: 31 апреля 2021.

Переработана: 10 июня 2021.

Принята к публикации: 29 июня 2021.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Цитирование

Парамонов, О.Г. Российско-японские отношения на рубеже веков: закономерности, маршруты, лидеры // *Международная аналитика*. – 2021. – Том 12 (2). – С. 107–129.
<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-107-129>

Russian-Japanese Relations at the Turn of the Century: Patterns, Routes, Leaders

ABSTRACT

This article analyzes why, during the post-Cold War period, Tokyo became aware of the need to reconsider its hard-line relations with Moscow, which had been developed in previous decades. Even in the period preceding the collapse of the USSR, Tokyo did not conceal its intentions to use the difficult socio-economic situation in the USSR and then in Russia to obtain territorial concessions.

Even then, however, the Russian side mostly determined the agenda of the Russian-Japanese dialogue, which was largely due to serious mistakes made by Japanese politicians. After Russia emerged from the economic and political turbulence that began unexpectedly for the West and Japan in the 2000s, Tokyo's new hopes were connected with concessions on the "territorial case" because of Russia's interest in Japanese investments and technological cooperation, especially for the development of the Far East and adjacent areas. Nevertheless, even here Tokyo faced a fiasco. Before the arrival of the Abe era in late 2012, Japan's foreign policy toward Russia became increasingly "reactive," and even later Tokyo's high-profile initiatives related to the Russian-Japanese agenda often turned out to be old proposals from Moscow that had been made during the time of Michael Gorbachev, and favorable moments for their implementation were largely missed.

KEYWORDS

Russia-Japan relations, Eurasian Diplomacy, South Kurils, two plus alpha

Author

Oleg G. Paramonov,

PhD (History), Senior Research Fellow, Center for East Asian and Shanghai Cooperation Organization Studies, Institute for International Studies, Moscow State Institute of International Relations, 76, Prospect Vernadskogo, Moscow, Russia, 119454, Russian Federation.

e-mail: paramonov_og@rambler.ru

Additional information

Received: April 31, 2021. Revised: June 10, 2021. Accepted: June 29, 2021.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author.

For citation

Paramonov, Oleg G. "Russian–Japanese Relations at the Turn of the Century: Patterns, Routes, Leaders."

Journal of International Analytics 12, no. 2 (2021): 107–129.

<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-107-129>

Внешняя политика Турции в постбиполярной системе координат

Павел Вячеславович Шлыков, ИСАА МГУ, Москва, Россия

Контактный адрес: shlykov@iaas.msu.ru

АННОТАЦИЯ

Внешняя политика Турции в первое десятилетие после распада биполярной системы сохраняла черты преемственности в сравнении со временем холодной войны: незыблемыми для нее оставались кемалистские принципы лаицизма и выбор в пользу дальнейшей вестернизации, ориентация на сотрудничество с ЕС и евроатлантическими структурами.

Однако постбиполярный период продемонстрировал существенные изменения внешнеполитического курса Турции. Существующие объяснения этого феномена зачастую отталкиваются либо от апелляции к исламской идентичности Партии справедливости и развития как основной причине произошедших изменений, либо от подходов, во главу угла которых ставятся экономические интересы Турции и в рамках которых акцентируется внимание на попытках Турции укрепить экономическую взаимозависимость с соседями по региону. Учитывая усложняющийся характер взаимосвязи внутренней и внешней политики и все более подвижные характеристики международной среды, представляется, что анализ внешней политики Турции в постбиполярный период требует альтернативного концептуально-методологического подхода, который позволял бы рассматривать изменения турецкой внешнеполитической линии с учетом сразу трех измерений. В этой статье автор прибегает именно к такому подходу. Он включает в себя изучение внутренней политики, международного контекста и трансформацию идейного и институционального обеспечения внешней политики. При таком подходе становится возможным объяснить логику «неожиданных» переориентаций Турции от сотрудничества с ЕС и западными странами в целом к попыткам закрепить свою ведущую роль на Ближнем Востоке и утвердиться в роли регионального гегемона по отношению к ситуативным альянсам с различными государственными и негосударственными игроками в более широком международном контексте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

внешняя политика Турции, Ближний Восток, отношения Турции с США и ЕС, азиатский поворот, российско-турецкие отношения

Причудливые повороты и неожиданные зигзаги внешнеполитического курса Турции за последние два десятилетия стали объектом пристального внимания не только специалистов и мировых СМИ, но и широкой аудитории. Растущий интерес, с одной стороны, породил множество версий, объясняющих замысловатые траектории внешней политики Анкары, каждая из которых предлагала свой набор ключевых детерминант; с другой – серьезно исказил само понимание преемственности и трансформации внешней политики в турецком контексте.

Окончание холодной войны не вызвало революционных изменений во внешнеполитическом курсе Анкары, который на протяжении 1990-х гг. оставался верен кемалистским принципам с их приматом лаицизма и вестернизации, определявшим прозападную в целом ориентацию Турции на протяжении большей части ее новейшей истории. Однако в 2000-е гг. с приходом к власти в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Р. Эрдогана¹ традиция кемалистской внешней политики пресеклась² и стал наблюдаться процесс ее «ускоренной либерализации», главным драйвером которого выступало стремление получить статус полноправного члена ЕС³. При этом уже к концу 2000-х гг. во внешней политике Анкары наметились новые акценты, на первый план вышла идея исламской идентичности Турции⁴, что отразилось на самопозиционировании страны и ее международной повестке.

Очевидные перемены во внешнеполитическом курсе «Новой Турции» (так в 2000-е гг. стали именовать режим Р. Эрдогана, подчеркивая революционность проводимой им социально-политической трансформации, по аналогии с «Новой Турцией» К. Ататюрка⁵) вызвали волну споров о смене вектора и ориентации внешней политики Анкары. В СМИ и академических изданиях с конца 2000-х гг. все чаще стали звучать утверждения о «переориентации Турции на Восток» или, как в своей статье поэтично сформулировал А. Коэн, «расставании с Западом»⁶, а также о «неоосманской» политике Турции⁷. С легкой руки Т. Огузлу даже появился термин «ближневосточная ориентация» (*Middle Easternization*) внешней политики Турции⁸, вызвавший критику в профессиональном сообществе из-за спорности авторской аргументации, поскольку перемены курса по большей части состояли в наращивании активности по периметру собственных границ, что, как справедливо отмечали некоторые исследователи, «противоречит сути тезиса о смене ориентации»⁹.

Существующая научная литература по-разному трактует природу флуктуирующей и часто трудно предсказуемой внешней политики Турции, выделяя порой взаимопротиворечащие факторы в качестве ее детерминант. Так, одна из наиболее распространенных трактовок акцентирует внимание на исламском

1 ПСР выиграла парламентские выборы 2002 г., получив возможность сформировать однопартийное правительство. С этого времени партия Р. Эрдогана удерживала власть в стране, побеждая на всех последующих выборах.

2 Sözen 2010, 103–123; Стародубцев 2011, 160–165; Надеин-Раевский 2013, 84–92.

3 Кудряшова 2010; Гаджиев 2020.

4 Kılınç 2006, 67–88.

5 Знаменитая 36-часовая речь Кемала Ататюрка 1927 г. в свое время вышла в переводе на основные европейские языки под заголовком «Путь Новой Турции».

6 Cohen 2010, 25–35.

7 Onar 2009, 229–241; Дружиловский, Аватков 2013, 73–88.

8 Oğuzlu 2008, 3–20.

9 Başer 2015, 304–305.

(или «исламистском») характере режима Р. Эрдогана. Доминантой усиливающейся исламской идентичности объясняется и антиамериканизм, и выпады против Израиля¹. Однако исламская идентичность ПСР и «исламистское происхождение» лидеров «Новой Турции» не помешало правительству ПСР в 2000-е гг. быть «одним из самых прозападных в истории страны»². Почему же исламская идентичность в 2000-е гг. не мешала следовать прозападному курсу, а в 2010-е гг. стала причиной радикального пересмотра внешней политики? И правильно ли связывать смену курса исключительно с приходом к власти эрдогановской ПСР в 2002 г.?

До последнего времени большинство исследований по внешней политике Турции характеризовались акцентом на событийной составляющей, «спорах и стратегических альянсах», что роднило их с классическими трудами по политической истории. Пионерами концептуального осмысления внешней политики Турции и ее изучения сквозь призму теории международных отношений выступили работы М. Гёнюлюбола, Ф. Сёнемезоглу, У. Хейла³. При этом работы, использующие инструментарий внешнеполитического анализа, преимущественно исходили из примата внутривнутриполитических факторов как главных детерминант внешнего курса Анкары. Подобный внутривнутриполитический детерминизм можно увидеть и в обширном «Анализе внешней политики» Ф. Сёнемезоглу, и в «Турецкой внешней политике, 1919–2008» Х. Чакмака, и в работах М. Мюфтюлер-Бач, В.А. Надеина-Раевского, И.И. Ивановой, С.Б. Дружиловского, Н.Г. Киреева⁴, которые хронологически разделяли внешнеполитический континуум на периоды пребывания у власти той или иной партии. Руководствуясь такой логикой, некоторые исследователи (например, М. Кара и А. Сёзен) отмечали принципиальные отличия внешней политики Турции «до ПСР» и «после» ее прихода к власти даже с точки зрения «концепции национальной роли»⁵, то есть исторически сформировавшихся представлений о том, как именно должна вести себя страна.

Стремление связывать перемены во внешнеполитическом курсе со сменами правительства вступает в очевидное противоречие с распространенным тезисом о детерминирующей роли кемалистской идеологии, выступающей константой для внешней политики вне зависимости от состава правительства, фигуры премьера и идейных предпочтений правящей партии. Об этом писали в 1990-е и 2000-е гг. Б. Крисс и Ф. Кейман⁶, поскольку сфера внешней политики в Турции долгое время оставалась относительно изолированной от партийной жизни. Считалось, что столь ответственная область национальных интересов не может быть заложником межпартийных противоречий и ценностно-идеологических коллизий. Как справедливо отмечает создатель самого масштабного исследования по внешней политике республиканской Турции Б. Оран, «безотносительно того, какая партия в конкретный момент была правящей, консервативная но-

1 Çağaptay 2009; Киреев 2015, 229–240.

2 Dahlman 2004, 553–574; Özer-Imer et al. 2013, 218–251.

3 Gönübol 1996; Sönmezoglu 1994; Sönmezoglu 2006; Hale 2012; Ercan 2017; Yalvaç 2014, 117–138; Yeşilyurt 2017, 65–83.

4 Sönmezoglu 1994; Çakmak 2008; Müftüler-Baç 2011, 279–291; Киреев 2007; Стародубцев 2011, 160–180; Надеин-Раевский 2013, 84–92; Дружиловский, Аватков 2013, 73–88; Иванова 2019.

5 Kara, Sözen 2016, 47–66.

6 Criss 1997; Keyman 2007, 215–234; Turunç 2011, 535–546.

менклатура внешнеполитических ведомств стояла на страже статус-кво, старалась придерживаться принципа благоразумного невмешательства»¹, особенно в конфликты на Ближнем и Среднем Востоке², и поддерживать существующий баланс сил на региональном уровне.

В свою очередь, попытки объяснить перемены во внешнеполитическом курсе исключительно сменой правительства и приходом к власти новой партии, по сути, подразумевают изолированность Турции от воздействия меняющейся региональной и глобальной конъюнктуры, которая становится лишь фоновым фактором и постулирует прямую зависимость внешнеполитического целеполагания от идеологических предпочтений правящей элиты. Кроме того, такой идеоцентричный подход на самом деле не может объяснить ни преемственности, ни перемен внешнеполитического курса, что прекрасно иллюстрирует ключевой для внешней политики Турции процесс переговоров с Брюсселем. Так, заявку на вступление в объединенную Европу в 1987 г. подало правоцентристское правительство Партии Отечества Т. Озала, соглашение о Таможенном союзе с ЕС в 1995 г. заключало правительство Т. Чиллер, лидера либеральной Партии верного пути, статус страны-кандидата на Хельсинкском саммите 1999 г. получала делегация правительства Б. Эджевита, председателя левоцентристской Демократической левой партии. А реформы для соответствия Турции Копенгагенским критериям уже проводили в жизнь правительства А. Гюля и Р. Эрдогана, создателей консервативной происламской Партии справедливости и развития. В итоге разница идеологических платформ никак не помешала сохранению курса на интеграцию с Европой. Все правительства Турции безотносительно их идеологической ориентации придерживались курса на вступление в ЕЭС/ЕС с 1980-х гг. И правительство ПСР не было исключением.

Не может такой подход объяснить и смену парадигмы внешней политики в рамках периода правления одной и той же партии. Тот же пример динамики развития отношений с ЕС и «европейского проекта» это хорошо иллюстрирует. Так, правительство ПСР до середины 2000-х гг. активно работало над приведением Турции в соответствие с Копенгагенскими критериями и активно расширяло сферы кооперации с ЕС. Однако уже с конца 2000-х гг. возобладали прямо противоположные тенденции, которые к середине 2010-х гг. выкристаллизовались в резко негативный по отношению к Западу в целом и ЕС в частности курс. И лозунг «Турция – ключ к Европе», и грозные инвективы в адрес «западных лидеров – врагов ислама», – все это было характерно для ПСР, только в разное время. Правительство Эрдогана в свое время ускорило евроинтеграцию Турции, и именно правительство Эрдогана осознанно пошло на ее замораживание.

Еще одним распространенным подходом к объяснению внешней политики Турции, особенно ее возросшей активности на региональном уровне, выступала «либеральная парадигма», набравшая популярность в 2000-е гг. Центральный тезис о доминанте демократизации и либерализации подчеркивал выдвижение на передний план экономических инструментов, прежде всего развития торго-

1 Oran 2006–2013.

2 Gözen 1998, 1343–1360.

вых отношений с соседними странами, по меткому выражению К. Киришчи – превращение Турции в «государство-купца»¹. На рубеже 2000-х и 2010-х гг. в обиход вошли и другие емкие эпитеты-характеристики внешней политики Турции, самым распространенным из которых стало понятие «проактивности»². Однако объяснительный потенциал таких подходов оказался ограниченным. Во-первых, либеральные ожидания не оправдались: Турция не сумела выстроить региональную политику на принципах взаимодополняемости и сопряжения интересов, не удалось и продвинуться в разрешении таких острых внешнеполитических коллизий, как отношения с Арменией или «кипрский вопрос». Во-вторых, уже в 2010-е гг. для внешней политики первичное значение обрели вопросы безопасности на фоне разочарования в эффективности «мягкой силы», иными словами, возобладал классический реализм.

Конструктивистские подходы к интерпретации внешней политики Турции, делающие акцент на исламистской политической идентичности ПСР, тоже не смогли стать универсальным аналитическим инструментом. Объясняя рост активности Турции на Ближнем Востоке проявлением «неосманизма»³, «панисламизма»⁴ или «мусульманской солидарности» ПСР⁵, часто упускалось из внимания, что во многом этот процесс был запущен еще до прихода к власти партии Р. Эрдогана. Не давал такой подход и ответа на вопрос, почему на протяжении 2000-х гг., когда у власти уже два срока подряд находилось правительство ПСР, отношения с Израилем во всех сферах – от экономики до безопасности⁶ – бурно развивались (и исламистская идентичность партии этому не препятствовала), а в 2009 г. Р. Эрдоган вдруг взялся за реализацию «секретной исламистской программы»⁷.

Таким образом, существующая научная литература по большей части не дает ключа к пониманию динамики внешней политики Турции, ее закономерностей и основных детерминант. Даже в тех случаях, когда в расчет берутся не только внутривнутриполитические факторы, но и изменения внешней конъюнктуры, часто упускается из виду следующий важный момент: Турция как «держава среднего уровня» в своих действиях нередко оказывается скованной интересами и политикой внерегиональных глобальных акторов. Сбрасывая со счетов это обстоятельство, не всегда можно постичь логику внешнеполитического курса Анкары.

Учитывая сказанное, представляется, что трансформация внешней политики Турции за три десятилетия после окончания холодной войны требует альтернативной системы координат, которая бы не становилась жертвой однофакторного подхода, а учитывала бы в комплексе противоречивость внешней и внутривнутриполитической динамики и международно-политический потенциал Турции. В представленной статье предпринимается попытка преодолеть редукционизм, характерный для ряда предшествовавших исследований и проанали-

1 Kirişçi 2009, 46.

2 Öniş, Kutlay 2013, 1409–1426.

3 Дружиловский, Аватков 2013, 73–88; Надеин-Раевский 2016, 22–31.

4 Özkan 2014, 119–140.

5 Kiliç 2006, 67–88; Keyman 2007, 215–234.

6 Иванова 2019.

7 Gunter, Yavuz 2007, 289–301; Gunter 2016, 123–135.

зировать изменения во внешней политике Турции после окончания холодной войны с учетом трех измерений: динамики внутренней политики, международного контекста и трансформации идейного и институционального обеспечения внешней политики.

Внешняя политика в 1990-е гг.: факторы сохранения преемственности курса

Окончание холодной войны и спровоцированные этим коренные изменения в глобальном и региональном балансе сил поставили перед Турцией, привыкшей к статусу «фланговой страны» на южных рубежах НАТО, принципиальные вопросы дальнейшей внешнеполитической стратегии. Распад СССР означал избавление от пресловутой «советской угрозы». У Турции больше не было общей границы с грозным «северным соседом», а влияние Москвы на соседние с Турцией бывшие «страны социалистической ориентации» резко снизилось. При этом перед Анкарой открывались заманчивые перспективы реализации своих интересов на постсоветском пространстве ввиду тесных культурно-религиозных связей с новыми независимыми республиками Южного Кавказа и Центральной Азии. Анкара достаточно быстро постаралась получить выгоду от открывшихся возможностей, установив дипломатические отношения и наладив тесное взаимодействие с тюркскими республиками, ранее входившими в состав СССР. Однако светлые перспективы омрачались тем, что в начале 1990-х гг. Турция переживала непростой момент крушения прежних внешнеполитических ориентиров, казавшихся незыблемыми.

Исчезновение СССР, как справедливо пишет известный специалист по международным отношениям М. Мюфтюлер-Бач, «заставило многих западных лидеров задуматься о будущем отношений с Турцией, поскольку ее роль по сдерживанию СССР, лежавшая в основе сотрудничества Запада с Анкарой в сфере безопасности, полностью себя исчерпала»¹. Очевидно, что подобный взгляд на Турцию как выпавшее звено западной системы международной безопасности означал неизбежную деградацию геополитической ценности Анкары для ее западных союзников, что в практическом плане не сулило ничего хорошего. Во-первых, это было чревато сокращением военной и экономической поддержки, а во-вторых, делало более уязвимой позицию Анкары по таким болезненным вопросам, как кипрское урегулирование или нарушение прав человека². При этом с окончанием холодной войны острота проблемы региональной безопасности для Турции не только не снизилась, но, наоборот, ощутимо возросла. Вспыхнувшие ранее региональные конфликты не пошли на спад, а набор горячих точек расширился за счет новых конфликтов (войны в Персидском заливе, Югославии, Нагорном Карабахе, Чечне).

Нарастающая региональная напряженность создавала очевидные угрозы безопасности как для Европы, так и для Турции. Ситуация осложнялась еще и тем, что исчез характерный для холодной войны баланс региональных сил, со-

1 Müftüleri-Bac 1996, 256–257.

2 Uslu 2004, 4–5.

ответственно, страны Ближнего Востока, Балкан и Центральной Азии существовали уже в иной системе координат, очертания которой до конца еще были не ясны. Для Турции положение усугублялось ростом сепаратистской активности Рабочей партии Курдистана (РПК) и выдвижением территориальных претензий со стороны Греции и Сирии, то есть «войной на два с половиной фронта», как метко сформулировал в своей статье известный турецкий дипломат Ш. Элекдаг¹. В свою очередь, Запад был озабочен негативными последствиями финансового кризиса в восточноевропейских странах, который угрожал экономическому климату в Западной Европе. Завершение биполярной эры, таким образом, не привнесло стабильности и создало немало новых проблем – как в экономике (необходимость экономической интеграции стран бывшего социалистического лагеря), так и в сфере безопасности (новые этноконфессиональные конфликты)².

В 1990-е гг. Турция переживала время часто сменяющихся друг друга слабых коалиционных правительств. В общей сложности состав кабинета министров менялся 9 раз, а руководство МИДа и того больше – 13. В этих условиях ни отдельно взятый глава правительства, ни министр иностранных дел не имели возможности на практике реализовать свои идеи и поэтому существенным образом не могли повлиять на ход внешнеполитического процесса. Даже первый в истории страны премьер-исламист Н. Эрбакан, выдвинувший концепцию «справедливого порядка» (*Adil Düzen*), не успел воплотить ее в жизнь, продержавшись на посту председателя правительства лишь год до своего фактического свержения в результате «постмодернистского переворота» 1997 г.

Кадровая чехарда в руководстве правительства привела к тому, что задачи по выработке и реализации внешней политики фактически решались не сменяющимися друг друга политиками, а бюрократией среднего звена – профессиональными дипломатами³, воспитанными в категориях классического реализма и концепции баланса сил в международных отношениях, но главное – следующими в фарватере кемалистской традиции с ее приматом прозападного курса. Консервативность взглядов кадровых дипломатов способствовала тому, что вопреки меняющейся внешней конъюнктуры Турция в целом двигалась в русле традиционной кемалистской внешней политики, поддерживая существующие альянсы и продвигая идею о важности Турции как гаранта региональной безопасности. Помимо позиционирования Турции как страны, разделяющей западные ценности и при этом находящейся вне зоны турбулентности, центральной идеей внешней политики в 1990-е гг. стал тезис о Турции как единственной стране Ближнего Востока, способной быть реальным союзником Запада, готовым совместными усилиями обеспечивать относительную стабильность в регионе⁴. В практическом плане такая позиция означала необходимость поиска возможностей для сопряжения интересов Турции и сотрудничества с Западом в сфере безопасности. Нередко такой союз вынуждал Турцию идти на невыгодные компромиссы.

1 Elekdağ 1996.

2 Gilpin 2001, 333–334.

3 Важно отметить, что Министерство иностранных дел Турции исторически стояло особняком в структуре органов власти за счет замкнутой кадровой политики (основной состав ведомства всегда составляли карьерные дипломаты) и опоры на давние, еще дореспубликанские, традиции.

4 Müftüler-Bac 1996, 256–257.

Так, поддержав западную коалицию против Ирака во время войны в Персидском заливе (1990–1991), Анкара фактически пожертвовала торгово-экономическими отношениями с Багдадом и получила неконтролируемый рост террористической активности РПК и леворадикальных группировок, устраивавших взрывы по всей Турции. В логику прозападной внешней политики 1990-х гг. вписывалось и налаживание тесного сотрудничества с Израилем, ставшим стратегическим партнером Анкары на Ближнем Востоке.

Опасения негативных последствий от утраты бывшего стратегического значения для Запада после окончания холодной войны подталкивало Турцию к активному развитию отношений с Европой. Из этого логически вытекало стремление к полноправному членству в общеевропейских международных структурах и готовность к расширению сотрудничества в самых разных сферах – от экономики до безопасности. В ЕС достаточно позитивно относились к идее взаимодействия с Турцией в вопросах безопасности, которое, как отмечалось в ставших ежегодными докладах Еврокомиссии по Турции, могло реализовываться «в рамках только что созданного Евро-средиземноморского партнерства, а также на Балканах и в Центральной Азии»¹. В 1995 г. Турция вошла в Таможенный союз с ЕС, а в 1999 г. получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, ради которого Анкара пошла даже на нормализацию отношений с Грецией по «кипрскому вопросу», который, наряду с обвинениями в масштабных нарушениях прав человека в Турции, был главным камнем преткновения в переговорах с Брюсселем.

Фактически в 1990-е гг. главным драйвером внешней политики Турции выступала евроинтеграция. Членство в ЕС как приоритет внешней политики, с одной стороны, соответствовал прозападной ценностной матрице профессиональных турецких дипломатов, с другой – не вызывал отторжения у большинства турецких политиков. При этом на изменения внешнеполитической конъюнктуры и новые вызовы постбиполярного мира Турция в 1990-е гг. давала привычные «ответы» времен холодной войны – укрепляла отношения с западными союзниками и убеждала их в стратегической значимости Турции в критически важных с точки зрения общеевропейской безопасности регионах: на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Характер перемен во внешней политике Турции в 2000-е гг.

Первое десятилетие XXI в. для Турции прошло под знаком нарастающей по экспоненте активности США на Ближнем и Среднем Востоке. Теракты 11 сентября 2001 г. и последовавшая за ними война международной антитеррористической коалиции в Афганистане, а затем и вторжение США на территорию Ирака в 2003 г., – все это разрушило наметившийся в 1990-е гг. новый баланс сил в регионе. Парадоксальным образом в 2000-е гг. главным раздражителем для Турции выступало присутствие в регионе военного контингента главного

1 "Regular Report from the Commission on Turkey's Progress Towards Accession," European Commission, 1998, pp. 51–52, accessed July 7, 2021, https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/Tur_En_Realitons/Progress/Turkey_Progress_Report_1998.pdf; "Turkey 2007 Progress Report," European Commission, 2007, pp. 41–42, accessed July 7, 2021, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2007/nov/turkey_progress_reports_en.pdf.

союзника – США, которое привело к формированию на севере Ирака курдской автономии, поскольку именно курды выступили главной опорой американцев. Для Анкары это означало появление нового триггера «курдского вопроса» в Турции и существенным образом осложняло любые внешнеполитические шаги.

До конца 2002 г., когда на парламентских выборах победу одержала ПСР Р. Эрдогана, продолжалась характерная для 1990-х гг. эпоха слабых коалиционных правительств. Кабинет Б. Эджевита, занявшего пост премьера в 1999 г., в целом придерживался прозападного курса (опора на НАТО и ЕС), важными элементами которого стала не только поддержка действий международной антитеррористической коалиции во главе с США, но и успехи в продвижении переговорного процесса с Брюсселем. Именно правительство Б. Эджевита запустило комплекс административно-политических преобразований, так называемые «пакетные реформы», для соответствия Турции Копенгагенским критериям после получения официального статуса страны-кандидата на Хельсинкском саммите 1999 г.

Приход к власти происламской консервативной ПСР, сформировавшей впервые с 1991 г. сильное однопартийное правительство, вопреки опасениям ряда аналитиков мало что изменил во внешней политике Турции, которая оставалась в фарватере кемалистского прозападного курса. Отчасти это объяснялось нехваткой собственных кадров для замещения ответственных постов в Министерстве иностранных дел. В правительстве Р. Эрдогана в 2000-е гг. на посту главы МИДа находились видные деятели ПСР: сначала А. Гюль (2003–2007), затем А. Бабаджан (2007–2009) и, наконец, А. Давутоглу (2009–2014). Ни А. Гюль, ни А. Бабаджан (оба экономисты по образованию) профессионально не занимались вопросами международных отношений. Профессор А. Давутоглу, хотя и был широко известен в академических кругах благодаря своим оригинальным идеям (его нашумевшая книга «Стратегическая глубина: международное положение Турции» увидела свет в 2001 г.), до назначения в 2003 г. главным советником Р. Эрдогана по внешней политике и получения в особом порядке ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла не занимался практической дипломатической работой.

В таких условиях преодолевать инерцию сплоченной корпорации профессиональной мидовской бюрократии даже столь неординарным фигурам, как А. Давутоглу, было крайне затруднительно. Более того, внутри самой ПСР не наблюдалось полного единодушия в вопросах внешней политики, что показала история с голосованием в ВНСТ по использованию турецких военных баз для переброски американского контингента в Ирак. Достигнутые на уровне глав государств договоренности парламент фактически заблокировал¹.

Ситуация была примечательна с нескольких точек зрения: она показала рост антиамериканизма в политическом истеблишменте, невысокую партийную дисциплину и ограниченность возможностей для маневра у руководства ПСР

1 В марте 2003 г. законопроект, хотя и получил одобрение 264 депутатов, не был принят, поскольку совокупное число проголосовавших против (250) и воздержавшихся (19) оказалось на 5 голосов больше. Подробнее см.: "Turkey Upsets US Military Plans," BBC, March 1, 2003, accessed July 7, 2021, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2810133.stm>. Афронт турецкого парламента был вызван, с одной стороны, опасениями депутатов-исламистов из правящей Партии справедливости и развития (ПСР), доминировавших в палате, с другой – протестом депутатов курдского происхождения, сочувствовавших иракским курдам и воздержавшихся от голосования.

в отстаивании своих внешнеполитических решений. Кроме того, она демонстрировала желание правительства резко не отказываться от прежнего прозападного курса, подтверждением чему служила довольно сдержанная риторика в отношении США по Ираку и разрешение на использование турецкого воздушного пространства, что, очевидно, объяснялось «опасениями оказаться за бортом послевоенного переустройства Ирака»¹. Однако все равно турецко-американские отношения дали трещину. Несмотря на обоюдное желание сглаживать возникающие проблемы, сотрудничество с США в сфере безопасности для ПСР представлялось трудно осуществимым ввиду расхождения по принципиальному для Турции «курдскому вопросу». Если для США иракские курды выступали главными союзниками, а курдская автономия на севере Ирака представлялась «наиболее стабильной частью страны»², то в Анкаре с обеспокоенностью наблюдали, как подъем курдского сепаратизма на севере Ирака, где у РПК имелись свои базы, стремительно распространялся на Турцию.

Апеллируя к тому, что США пришли в регион под лозунгом борьбы с международным терроризмом, Турция отчаянно пыталась привлечь США к противостоянию РПК, которую они признали террористической организацией еще в 1997 г.³ Не найдя достаточной поддержки в Вашингтоне, Анкара пошла альтернативным путем – стала укреплять взаимодействие по линии безопасности с ЕС в рамках европейской Общей внешней политики и политики безопасности (одной из «трех опор Евросоюза»), большинство деклараций которой Турция подписала к 2007 г.⁴ Фактически этот шаг стал отражением трансформации концепции национальной безопасности и нового видения оптимальных механизмов ее обеспечения.

В сближении с ЕС ярко проявился политический реализм Р. Эрдогана, который решал этим шагом сразу несколько проблем: с одной стороны, укреплял свои позиции внутри страны, поскольку демократизация в соответствии с Копенгагенскими критериями предполагала снижение влияния армии и военной элиты, принципиального противника усилившихся консервативно-исламистских сил, с другой – компенсировал неготовность США солидаризироваться с Турцией в борьбе против РПК. При этом не потребовалось делать резких внешнеполитических движений. К моменту прихода ПСР к власти вся инфраструктура сотрудничества с ЕС уже была налажена. Турция имела статус страны-кандидата с 1999 г., процесс реформ для соответствия Копенгагенским критериям был запущен в феврале 2002 г.⁵, логичным итогом стало официальное открытие переговорного процесса в 2004 г.

Ради вступления в ЕС и закрепления сотрудничества с Брюсселем по вопросам безопасности Анкара готова была пойти на серьезные компромиссы по бо-

1 Свистунова 2008, 84–85; Oktav 2011, 58–59.

2 Шлыков 2017а, 35–65.

3 "Foreign Terrorist Organizations," US Department of State, accessed July 7, 2021, <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/>.

4 "Turkey 2007 Progress Report," European Commission, 2007, pp. 75–76, accessed July 7, 2021, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2007/nov/turkey_progress_reports_en.pdf.

5 "Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri (European Union Harmonization Packages)," Ankara: The Republic of Turkey. The Office of Prime Minister. The Secretariat General for European Union Affairs, 2007, accessed July 7, 2021, <https://www.ab.gov.tr/files/pub/abuyup.pdf>.

лезненным для себя вопросам. Так, правительство Р. Эрдогана поддержало план К. Аннана по урегулированию «кипрской проблемы», который предполагал и вывод турецкого военного контингента с территории острова, и существенные территориальные уступки Греции.

Внешнеполитическое хеджирование Турции не ограничивалось европейским направлением. Схожую логику можно было наблюдать и в Центральной Азии, выступившей полигоном практической реализации «турецкого евразийства»¹, и на Ближнем Востоке. Вызвавшие серьезные опасения в Турции успехи иракских курдов в создании автономного района подтолкнули Анкару к нормализации и развитию отношений с Сирией и Ираном². Ближний и Средний Восток на шкале внешнеполитических приоритетов Турции постепенно начал занимать все более значимое место. В 2000-е гг. Турция активно продвигала ближневосточную проблематику в рамках международных форумов, позиционируя себя в роли связующего звена между регионом Ближнего Востока и Европой. Наиболее заметным событием стала инициатива создания Альянса цивилизаций, с которой выступили Р. Эрдоган и его испанский коллега Р. Сапатеро в 2005 г.³ Турецкие власти предпринимали усилия, направленные на максимальное расширение географии политического участия Анкары в международных структурах. В 2005 г. Турция добилась статуса страны-наблюдателя в Африканском союзе и Лиге арабских государств, в 2008 г. стала стратегическим диалоговым партнером Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также присоединилась в 2010 г. к одному из основополагающих для АСЕАН Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и в 2012 г. получила статус диалогового партнера ШОС⁴.

Трансформация внешней политики Анкары в 2010-е гг.

Трансформацию внешней политики Турции в 2010-е гг. определили четыре фактора: последствия мирового экономического кризиса, «арабская весна», общенациональные протесты лета 2013 г. и попытка государственного переворота 2016 г. Мировой экономический кризис пошатнул доминирование США в мировой политике в целом и на Ближнем Востоке в частности. Б. Обама, ставший президентом в 2009 г., поспешил завершить слишком затратную войну в Ираке (американские силы формально были выведены в 2011 г.) и расставил новые приоритеты внешнего курса, одним из которых стал американский «Поворот к Азии». Снижение интереса США к Ближнему Востоку для Турции означало, что впредь США должны были меньше вмешиваться в дела ее ближнего зарубежья.

В свою очередь, охвативший Европу кризис суверенного долга, сначала затронувший периферийные страны ЕС (Греция, Ирландия), а затем распространившийся практически на всю еврозону, заставил ведущие страны Евросоюза

1 Шлыков 2017b, 58–76.

2 Öztürk 2015, 75–76.

3 "United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)," New York: United Nations Alliance of Civilizations, 2007, accessed July 7, 2021, <https://www.unaoc.org/who-we-are/>.

4 Шлыков 2019, 65–106.

сосредоточиться на решении внутренних проблем¹ и вызвал всплеск евро-скептицизма. Стремительно набиравшие популярность популистские партии Великобритании и Германии, ратовавшие за выход своих стран из ЕС², показали истощенность стратегии расширения ЕС. С одной стороны, привлекательность ЕС как оазиса стабильности и благополучия померкла, с другой – Брюссель все меньше проявлял интерес к вопросам глобальной политики, Ближний Восток отошел на периферию его интересов, а главной головной болью стал вопрос нелегальных мигрантов, давление которых на страны ЕС увеличивалось по экспоненте. Соответственно, Турция уже не могла рассчитывать на прежний масштаб взаимодействия с ЕС по вопросам региональной безопасности.

При этом напряженность по периметрам границ Турции в 2010-е гг. стремительно нарастала. Массовые протесты, охватившие практически все страны Ближнего и Среднего Востока в 2011 г. и приведшие к смене казавшихся неизблемыми режимов и гражданским войнам, непосредственно затронули Турцию. «Арабская весна» вызвала необходимость в спешном порядке проводить ревизию стратегии национальной безопасности и внешнеполитического курса. Гражданская война, охватившая соседнюю Сирию, вызвала небывалую волну беженцев, число которых уже к 2014 г. превысило 1,5 млн, а в 2020 г. достигло более 4 млн. Возникший в Сирии вакуум власти способствовал появлению курдской автономии на севере страны, ставшей питательной средой для боевиков РПК и других экстремистских группировок, которые резко увеличили свою террористическую активность в Турции. Выстроенная в 2000-е гг. модель отношений со странами Ближнего Востока в одночасье рухнула, поскольку ни прежние договоренности, ни возникшие за это время ситуативные альянсы не соответствовали стремительно изменившейся региональной конъюнктуре. Отношения с Израилем были испорчены, серьезные опасения вызывала возросшая активность Ирана³ и начавшаяся в 2015 г. военная операция России в Сирии на стороне режима Б. Асада.

Важнейшим драйвером трансформации внешней политики в 2010-е гг. выступили внутриполитические факторы, серьезным образом изменившие не только содержание внешнеполитического курса, но и механизмы его институционального воплощения, в результате чего все нити управления внешнеполитическим процессом сконцентрировались в руках одного человека – президента Р. Эрдогана. С конца 2000-х гг. Р. Эрдоган взялся за выстраивание жесткой вертикали власти и преодоление влияния как военной элиты, так и старой бюрократической номенклатуры. Отправной точкой этого процесса можно считать избрание в 2007 г. на пост президента А. Гюля, одного из ближайших соратников Р. Эрдогана, сооснователя ПСР. Впервые в истории страны пост главы государства занял политик с исламистским бэкграундом. Далее последовали масштабные судебные процессы против «кемалистской элиты» – представителей истеблишмента, не принявших режим Р. Эрдогана. Фигурантами громких дел («Эргенекон», «Ку-

1 "The Threat of Grexit Returns," Carnegie Europe, February 9, 2017, accessed July 7, 2021, <https://carnegieeurope.eu/strategieurope/67949>.

2 Капитонова et al. 2020.

3 Tamiz, Johnson 2015.

валда», «План клетка») стали сотни отставных и действующих военных, видных общественных и государственных деятелей.

Вторым ключевым событием стал конституционный референдум 2010 г. Даже день его проведения был символично назначен на 12 сентября, 30-летнюю годовщину одного из самых кровавых военных переворотов в Турции. Поправки в основной закон лишили армию правовой автономии и урезали институциональные возможности военной элиты влиять на политический процесс через такие структуры, как Совет национальной безопасности (СНБ).

Наконец, очередная триумфальная победа ПСР на третьих с 2002 г. парламентских выборах в 2011 г. (партия получила 49,8%) вселила в Р. Эрдогана ощущение полного карт-бланша и возможности успешно осуществить слияние партийного аппарата с государственным. Обновление бюрократической номенклатуры, которое осуществлялось в популистской манере с наклеиванием ярлыков и обвинениями в отрыве от народа, в полной мере затронуло и Министерство иностранных дел, которое в 2009 г. возглавил А. Давутоглу. Назначение на пост министра иностранных дел главного советника Р. Эрдогана по внешней политике ознаменовало начало нового наступления партийной номенклатуры на «старую бюрократию» и установление непосредственной связи и прямого подчинения процесса формирования внешней политики лидеру ПСР.

В результате внешняя политика Анкары стала резко отходить от принципов классического реализма, а ее стержнем выступили концепции А. Давутоглу, его идеи «стратегической глубины» Турции и «стратегии обнуления проблем с соседями». Упор на важность османского культурно-исторического наследия, хранителем которого объявлялась Турция, формировал альтернативную систему геополитических координат и внешнеполитических приоритетов. Ближний Восток стал точкой концентрации внешнеполитических ресурсов, в то время как сотрудничество с Западом ввиду его малой продуктивности к концу 2000-х гг. отошло на второй план.

Хотя летом 2014 г. А. Давутоглу перестал возглавлять МИД, заняв пост премьер-министра, а в 2016 г. ушел в отставку и вскоре покинул ряды ПСР, его идеи фактически остались базисом внешней политики Турции¹, которая и в начале 2020-х гг. характеризовалась, с одной стороны, комбинацией правопопулистской и исламистской риторики, с другой – концентрацией внимания на регионе Большого Ближнего Востока как зоне приоритетных интересов. И поскольку ни популизм, ни исламизм не формировали прочного идейно-политического базиса, амплитуда колебаний внешнеполитического курса могла быть достаточно большой, что хорошо проиллюстрировали флуктуации в политике Анкары на сирийском направлении.

С избранием Р. Эрдогана на пост президента Турции в 2014 г. все важные внешнеполитические решения стали вырабатываться и формулироваться узким кругом его советников. Монополизация внешней политики президентом привела к тому, что на смену стратегии поиска консенсуса и выработки компромиссов на дипломатическом уровне пришел ситуативный подход к принятию

1 Baykan 2018.

решений, ориентирующийся во многом лишь на текущую конъюнктуру, а приоритетным механизмом реализации внешней политики стало «ручное управление» и двусторонние контакты на высшем уровне. В обход ранее устоявшейся процедуры, координируемой Советом национальной безопасности Турции, Р. Эрдоган предпочел лично вести диалог с главами других государств практически по всем вопросам.

На этом фоне существенным изменениям подверглась кадровая политика МИДа. Ключевые посты в ведомстве и руководящие позиции в дипмиссиях нередко занимали люди без опыта дипломатической работы. Более того, сузились и операционные возможности самого министерства. В 2010-е гг. Р. Эрдоган инициировал создание сразу нескольких ведомств, которые функционально стали дублировать МИД и вторгаться в сферу его непосредственной ответственности: Совет по координации общественной дипломатии (*Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu*), Управление по делам соотечественников и проживающих за рубежом турок (*Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı*), фонд-вакф «Просвещение» (*Maarif Vakfı*). Все новые структуры вводились в прямое подчинение президенту. В 2010-е гг. сложилась парадоксальная ситуация, когда в вопросах внешней политики Национальная разведывательная организация и ее глава Х. Фидан стали играть первую скрипку, а МИД вместе с профильными ведомствами оказались на вторых ролях. При этом окончательно внешнеполитический курс страны формулировался узким кругом советников президента Р. Эрдогана, подобранных не столько по профессиональным критериям, сколько исходя из личной преданности главе государства¹.

Параллельно расширялись полномочия созданных ранее структур, действовавших во внешнеполитической деятельности – таких как Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (*Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – TİKA*) и Управление по делам религии (*Diyanet İşleri Başkanlığı – Diyanet*)². В результате у Р. Эрдогана появилась возможность прямого ручного управления внешней политикой и механизмы детального контроля любой внешнеполитической деятельности. Р. Эрдоган стал основным центром определения характера тех или иных внешнеполитических процессов.

Масштабные массовые протесты лета 2013 г., начавшиеся в форме выступлений «защитников парка Гези» в центре Стамбула и затем охватившие практически всю страну, дали возможность представить мирный гражданский протест как попытку свергнуть законно избранное правительство. Протестующих официально объявили агентами иностранных спецслужб и проводниками интересов враждебных внешних сил. В итоге Запад и все, кто выступал пособником «западного империализма», стали главными объектами негативной риторики турецких властей. Все враждебные Турции силы и явления были объединены понятием-концепцией «закулисного злодея-кукловода», «враждебного сверхума», направленного на сдерживание Турции и нивелирование успехов ее социально-экономического и политического развития³. С середины 2010-х гг.

1 Neset et al. 2019.

2 Sevin 2017.

3 Taş 2020.

концепт «враждебного сверхразума» (*üst akıl*) наряду с «Террористской организацией Фетхуллаха Гюлена» (*Fetullahçı Terör Örgütü – FETÖ*) стал основой конспирологических теорий в стране¹.

С одной стороны, вытеснение старой бюрократии и лишение ее возможности влиять на внешнеполитический курс, с другой – заметное снижение активности ЕС и США на Ближнем Востоке привели к расширению поля для маневра Турции и дали возможность на практике реализовать потенциал «стратегической глубины» Турции.

Осознание бесперспективности попыток добиться полноправного членства в ЕС и общий кризис в отношениях с Брюсселем, у которого оставалось все меньше эффективных инструментов давления на Турцию, привели к фактическому замораживанию переговорного процесса. Финансовые проблемы ряда стран ЕС и европейский долговой кризис объективно снизили привлекательность ЕС. И Анкара со все меньшим энтузиазмом и готовностью шла на выполнение Копенгагенских критериев и требований Еврокомиссии. Кроме того, главное препятствие на пути в ЕС («кипрская проблема») с конца 2000-х гг. представлялось практически непреодолимым. Правительство Турции не скрывало разочарования из-за провала референдума по Кипру в 2004 г. и, соответственно, плана К. Аннана, полностью возлагая вину на Грецию, заблокировавшую его реализацию. Раздражение вызывал и тот факт, что Кипр в 2004 г. вошел в ЕС, а Турция так и осталась в статусе страны-кандидата. Учитывая политическую и экономическую блокаду Турецкой Республики Северного Кипра, у Турции оставалось все меньше стимулов для поиска компромиссов ради продвижения переговорного процесса с Брюсселем.

С этой точки зрения внешняя политика Турции 2010-х гг. резко контрастировала с периодом 2000-х гг., когда приоритетным считалась кооперация и сопряжение интересов Анкары и Брюсселя на региональном уровне. Это хорошо видно на примере ближневосточной политики Анкары. Турция не искала возможностей сотрудничества с ЕС после «арабской весны», лишь публично обвиняя Брюссель в бездействии и неспособности остановить гражданскую войну в Сирии и нежелании выступить против переворота в Египте.

Критика ЕС и антизападная риторика в 2010-е гг. стала характерна и для оппозиционных партий, которые, как и ПСР, осуждали двойные стандарты европейских лидеров по отношению к Турции² и демонстративное сотрудничество США с сирийскими курдами из Партии демократического союза и других группировок. Последнее особенно раздражало турецких националистов.

Даже в вопросе сирийских беженцев и урегулирования миграционного кризиса правительство Турции не видело возможности для полноценного сотрудничества с ЕС, а по большей части использовало фактор беженцев как инструмент давления на Брюссель и предмет торга для получения финансовой помощи вместе с другими преференциями.

Ближний Восток в широком понимании этого географического понятия стал главным полигоном реализации внешней политики Турции в 2010-е гг.,

1 Karaosmanoğlu 2021, 77–99.

2 Balkır, Eylemer 2016, 38–39.

где разыгрывалась в том числе и исламистская карта. Как справедливо отмечали в своей статье, препарирующей содержание внешней политики ПСР, Б. Коп и О. Зихниоглу, «поддерживая умеренные исламистские силы в разных странах региона, Анкара стремилась объединить их в своеобразную цепь солидарности под предводительством Турции»¹.

В 2010-е гг. Турция не стремилась искать точки совпадения интересов с ЕС и США и возможности для их сопряжения, как это было характерно для предшествующего десятилетия. Приоритетным для Анкары представлялось обеспечение свободы маневра и создания основы для наступательного наращивания своего влияния в регионе. Такую логику можно увидеть в желании Турции на начальном этапе «арабской весны» выступать посредником между противоборствующими сторонами – пошатнувшимися режимами и оппозиционными силами. Успехов на этом поприще Анкара не добилась ввиду ограниченности возможностей и негативной реакции на турецкую активность². Обаяние «турецкой модели» и инструменты «мягкой силы» в новых условиях уже не работали, поэтому Турция стала искать новых союзников в регионе, которыми стали Катар, египетские «Братья-мусульмане» и сирийская оппозиция.

Поддержку сирийской оппозиции многие сочли одной из «аномалий внешней политики Турции», поскольку еще совсем недавно, в 2000-е гг., Р. Эрдоган укреплял личную дружбу с Б. Асадом и немало сделал для налаживания турецко-сирийских отношений. Более того, быстро выяснилось, что значительная часть поддерживаемых Турцией группировок сирийской оппозиции оказалась джихадистами. Это обстоятельство вызвало шквал критики на Западе. Европейские и американские политики открыто обвинили Р. Эрдогана в сотрудничестве с радикальными и экстремистскими силами на Ближнем Востоке³, при том что Турция вошла в международную антитеррористическую коалицию по борьбе с «Исламским государством».

Своим американским и европейским критикам Р. Эрдоган ответил усилением антизападной риторики и наращиванием экономического, а затем и военно-политического партнерства с Россией. Сотрудничество с Москвой для Анкары, особенно на ближневосточном направлении, было непростым, учитывая диаметрально противоположные позиции по отношению к режиму Б. Асада, трагедию со сбитым российским Су-24, спровоцировавшую 7-месячный период жесткой конфронтации, расхождения по Идлибу, особенно обострившиеся в 2020 г., перекрещивающиеся интересы в Ливии. Укрепляя взаимодействие с Россией даже в таких чувствительных сферах, как оборона, и идя на заключение соглашений о поставках комплексов С-400, Турция демонстрировала Западу свои возможности по выстраиванию альтернативного баланса сил в ситуации, когда ни Вашингтон, ни Брюссель не были готовы должным образом принимать во внимание интересы Анкары. При этом увлечение антизападной риторикой, которая в 2010-е гг. стала неотъемлемой частью политической идентичности ПСР,

1 Cop, Zihnioglu 2015, 35–36.

2 Yükselen 2020, 223–224.

3 Robert W. Pearson, and Gregory Kist, “Turkey’s Dangerous Dance with Radicalism,” Politico, January 13, 2016, accessed July 7, 2021, <https://www.politico.eu/article/turkeys-dangerous-dance-with-radicalism-erdogan-islam-syria/>.

не позволяло Анкаре в кризисные моменты взаимоотношений с Москвой оперативно переключаться на сотрудничество с Западом и реализовать потенциал совпадающих интересов.

В целом в 2010-е гг. внешняя политика Анкары стала менее зависимой от «фактора США и ЕС», что позволило Турции проводить более автономный внешнеполитический курс, который после успешно осуществленной консолидации власти в руках Р. Эрдогана в большей степени отражал исламистскую политическую идентичность ПСР. При этом декларативное стремление занять более независимое и автономное положение в системе международных отношений вылилось в стратегию развития преимущественно двустороннего формата взаимодействия с различными странами, в результате чего Турция, которая долгое время воспринималась последовательной сторонницей регионального сотрудничества и интеграции, стала во многих аспектах регионально изолированной страной. Стремление присоединиться к ЕС перестало быть драйвером турецкой политики, а на смену союзническим отношениям с Западом пришли новые ситуативные альянсы с Катаром и «Братьями-мусульманами», а также маятниковое сотрудничество с Россией.

Анализ изменений во внешней политике Турции за три десятилетия после окончания холодной войны с учетом динамики внутренней политики, международного контекста и трансформации идейного и институционального обеспечения внешней политики дает возможность более точно прояснить ключевые детерминанты и логику ее изменения. В каждый из трех рассматриваемых периодов внешняя политика Турции реализовывалась в условиях различного соотношения внутренних и внешних факторов. При этом каждое из десятилетий, прошедших с распада биполярной системы, по сути, продемонстрировало существенные флуктуации во внутренней политике Турции, менялся также международный контекст реализации внешней политики, трансформировалась и сама внешнеполитическая линия Турции, ставя под сомнение ранее казавшиеся неизблемыми константы ее воплощения. Внешнеполитические установки самой Турции и международная система координат, в которой она реализовывалась, перестали быть данностью. Подверглись ревизии и идейные ориентации во внешней политике.

Конец холодной войны породил в Турции опасения потери «геополитической ценности» и превращения в глазах европейских и американских лидеров в «выпавшее звено» западной системы международной безопасности. Учитывая то, что в 1990-е гг. региональные конфликты не пошли на спад, а набор горячих точек только расширился (войны в Персидском заливе, Югославии, Нагорном Карабахе, Чечне), потенциально такой расклад сулил Анкаре безрадостную перспективу остаться один на один с нарастающей региональной напряженностью. Однако на новые вызовы постбиполярного мира и коренные изменения внешнеполитической конъюнктуры Турция в 1990-е гг. отвечала, используя привычный инструментарий времен холодной войны – крепила отношения с западными союзниками и убеждала их в стратегической важности

Турции в критически важных с точки зрения общеевропейской безопасности регионах: на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Подобная стабильность и преемственность внешнеполитического курса в 1990-е гг. обуславливалась отнюдь не консервативностью взглядов правящей партии, а тем, что в условиях слабых коалиционных правительств задачи по выработке и реализации внешней политики фактически решались не сменяющими друг друга премьер-министрами и формальными руководителями МИД, а бюрократией среднего звена – профессиональными дипломатами, воспитанными в категориях классического реализма, концепции баланса сил и кемалистской традиции с ее приматом прозападной ориентации.

Опасения негативных последствий от утраты бывшего стратегического значения для Запада подталкивали Турцию к активному развитию отношений с Европой, определяли ее стремление к полноправному членству в общеевропейских международных структурах и готовность к расширению сотрудничества в самых разных сферах – от экономики до безопасности, нередко заставляя идти на невыгодные компромиссы.

Приход к власти в 2002 г. ПСР, сформировавшей впервые за десятилетия сменяющих одного за другим премьеров сильное однопартийное правительство, мало что изменил во внешней политике Турции, которая продолжала реализовываться в фарватере кемалистского прозападного курса. Отчасти это объяснялось нехваткой собственных кадров для замещения ответственных постов в МИД, из-за чего даже столь неординарным фигурам, как А. Давутоглу было крайне затруднительно преодолевать инерцию сплоченной корпорации мидовской бюрократии, а частично – отсутствием единодушия в вопросах внешней политики в рядах самой ПСР.

Тем не менее в 2000-е гг. можно отчетливо увидеть диффузию сохранения в целом преемственности кемалистской прозападной внешней политики и поиска адекватных ответов на меняющуюся глобальную и региональную конъюнктуру. Парадоксальным образом в 2000-е гг. главным раздражителем для Турции выступало присутствие в регионе военного контингента их главного союзника по НАТО – США, которые фактически вызвали обострение «курдского вопроса» и подтолкнули Анкару к наращиванию взаимодействия по линии безопасности с ЕС в рамках европейской Общей внешней политики и политики безопасности. При этом в сближении с ЕС ярко проявился политический прагматизм Р. Эрдогана, который ускорением евроинтеграции укреплял свои позиции внутри страны, атакуя своих принципиальных противников в лице военной элиты, и компенсировал неготовность США солидаризироваться с Турцией в решении «курдского вопроса». Внешнеполитическое хеджирование не ограничивалось европейским направлением. Схожую логику можно было наблюдать в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, а также в рамках курса на максимальное расширение географии политического участия в международных структурах.

Фундаментальную трансформацию внешней политики Турции хронологически правильно локализовать рубежом 2000-х и 2010-х гг. Этот процесс определили четыре фактора: последствия мирового экономического кризиса, «арабская весна», общенациональные протесты лета 2013 г. и попытка государственно-

го переворота 2016 г. Важнейшим драйвером трансформации внешней политики в 2010-е гг. выступили внутривнутриполитические факторы, серьезным образом изменившие не только содержание внешнеполитического курса, но и механизмы его институционального воплощения, в результате чего все нити управления внешнеполитическим процессом сконцентрировались в руках одного человека – президента Р. Эрдогана.

В итоге внешняя политика Анкары стала резко отходить от принципов классического реализма, а ее стержнем выступили концепции А. Давутоглу, его идеи «стратегической глубины» Турции. Упор на важность османского культурно-исторического наследия, хранителем которого объявлялась Турция, формировал альтернативную систему геополитических координат и внешнеполитических приоритетов. Ближний Восток стал точкой концентрации внешнеполитических ресурсов, в то время как политическое сотрудничество с Западом ввиду его малой продуктивности к концу 2000-х гг. отошло на второй план.

Осознание бесперспективности попыток добиться полноправного членства в ЕС и общий кризис в отношениях с Брюсселем, у которого оставалось все меньше эффективных инструментов давления на Турцию, привели к фактическому замораживанию переговорного процесса. С этой точки зрения внешняя политика Турции 2010-х гг. резко контрастировала с периодом 2000-х гг., когда приоритетным направлением считалась кооперация и сопряжение интересов Анкары и Брюсселя на региональном уровне. Турция больше не искала возможностей расширения сотрудничества с ЕС, лишь публично обвиняя Брюссель в двойных стандартах и недееспособности. Даже в вопросе сирийских беженцев и урегулирования миграционного кризиса правительство Турции не видело возможности для полноценного сотрудничества с ЕС, а по большей части использовало фактор беженцев как инструмент давления и шантажа.

В 2010-е гг. с минимизацией зависимости от «фактора США и ЕС» и окончательной консолидацией всех нитей управления внешней политикой в руках президента Р. Эрдогана внешнеполитический курс Анкары стал более автономным, ярче отразил исламскую идентичность правящего режима. Однако ограниченность геополитического потенциала Турции как «державы среднего уровня» привела к тому, что декларативная автономность в системе международных отношений фактически редуцировалась до стратегии развития преимущественно двусторонних отношений с различными странами. В результате Турция, долгое время воспринимавшаяся последовательной сторонницей регионального сотрудничества и интеграции, стала во многих аспектах регионально изолированной страной. Подобное развитие событий, с одной стороны, стало результатом динамики комплекса внутренних и внешних факторов, с другой – сформировало целый ряд новых противоречий, которые, по-видимому, станут движущими силами дальнейших трансформаций внешней политики Турции в новом десятилетии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Гаджиев, А.Г. Турция – ЕС: проблемы и перспективы развития отношений (1963–2019 гг.). М.: ИВ РАН, 2020. – 375 с.
- Gadzhiev, Amur G. *Turcija – ES: problemy i perspektivy razvitiya otnoshenij (1963–2019 gg.)*. Moscow: Institute of Oriental Studies RAS, 2020 [In Russian].
- Дружиловский, С.Б., Аватков, В.А. Внешнеполитические идеологии Турции (2002–2012 гг.) // Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. – 2013. – № 6 (281). – С. 73–88.
- Druzhilovskij, Sergey B., Avatkov Vladimir A. "Vneshnepoliticheskie ideologymy Turcii (2002–2012 gg.)." *Nauchno-analiticheskij zhurnal Obozrevatel' – Observer* 6, no. 281 (2013): 73–88 [In Russian].
- Иванова, И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики в XX–XXI вв. М.: Издатель Воробьев А.В., 2019. – 380 с.
- Ivanova, Inessa I. *Jevoljucija blizhnevostochnoj politiki Tureckoj Respubliki v XX–XXI vv.* Moscow: Publishing House of Vorob'jov A.V., 2019 [In Russian].
- Капитонова, Н.К., Магадеев, И.Э., Печатнов, В.О. и др. Правый популизм: глобальный тренд и региональные особенности. – М.: МГИМО-Университет, 2020. – 404 с.
- Kapitonova, Natalia K., Magadeev, Iskander Je., Pechatnov, Vladimir O. et al. *Pravij populizm: global'nyj trend i regional'nye osobennosti*. Moscow: MGIMO-Universitet, 2020 [In Russian].
- Киреев, Н.Г. История Турции XX век. М.: ИВ РАН, 2007. – 608 с.
- Kireev, Nikolay G. *Istorija Turcii XX vek*. Moscow: Institute of Oriental Studies RAS, 2007 [In Russian].
- Киреев, Н.Г. Исламо-турецкий синтез в государственной идеологии Турции // Ислам на Ближнем и Среднем Востоке. – 2015. – № 9. – С. 229–240.
- Kireev, Nikolay G. "The Islamic-CUM-Turkish Synthesis in the State Ideology of Turkey." *Islam na Blizhnem i Srednem Vostoke*, no. 9 (2015): 229–240 [In Russian].
- Кудряшова, Ю.С. Турция и Европейский Союз: история, проблемы и перспективы взаимодействия. Москва: Ин-т Ближнего Востока, 2010. – 364 с.
- Kudrjashova, Julia S. *Turcija i Evropejskij Sojuz: istorija, problemy i perspektivy vzaimodejstvia*. Moscow: Institute of the Middle East, 2010 [In Russian].
- Надеин-Раевский, В.А. Внешняя политика Турции: ветры перемен // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 2. – С. 84–92. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2013-2-84-92>.
- Nadein-Raevskij, Victor A. "Turkey's Foreign Policy: Winds of Change." *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*, no. 2 (2013): 84–92 [In Russian].
- Надеин-Раевский, В.А. Идеинная борьба и «новая Турция» // Вестник МГИМО Университета. – 2016. – № 2 (47). – С. 22–31. <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2016-2-47-22-31>.
- Nadein-Raevskij, V. A. "The Struggle of Ideas and The New Turkey." *MGIMO Review of International Relations*, no. 2 (47) (April 28, 2016): 22–31 [In Russian].
- Свистунова, И.А. Иракский фактор во внешней политике Турецкой Республики (1990–2007 гг.) М.: Институт Ближнего Востока, 2008. – 216 с. http://book.iimes.su/wp-content/uploads/2008/r2008tur_p.pdf.
- Svistunova, Irina A. *Irakskij faktor vo vneshnej politike Tureckoj Respubliki (1990–2007 gg.)*. Moscow: Institut Blizhnego Vostoka, 2008 [In Russian].
- Стародубцев, И.И. Трансформирующаяся Турция. М.: Ин-т Ближнего Востока, 2011. – 256 с.
- Starodubcev, Ivan I. *Transformirujushajasja Turcija*. Moscow: Institute of the Middle East, 2011 [In Russian].
- Шлыков, П.В. Ближневосточная дилемма безопасности Турции: от сотрудничества с Западом в борьбе с терроризмом к опоре на джихадистов в региональной геополитике // Актуальные проблемы Европы. – 2017А. – № 4. – С. 35–65.
- Shlykov, Pavel V. "Blizhnevostochnaja dilemma bezopasnosti Turcii: ot sotrudnichestva s Zapadom v bor'be s terrorizmom k opore na dzihadistov v regional'noj geopolitike." *Current Problems of Europe*, no. 4 (2017A): 35–65 [In Russian].
- Шлыков, П.В. Евразийство и евразийская интеграция в политической идеологии и практике Турции // Сравнительная политика. – 2017В. – 8 (1). – С. 58–76. <https://doi.org/10.18611/2221-3279-2017-8-1-58-76>.
- Shlykov, Pavel V. "Eurasianism and Eurasian Integration in the Political Ideologies and Practice of Turkey." *Comparative Politics Russia* 8, no. 1 (2017B): 58–76 [In Russian].
- Шлыков, П.В. Трансформация региональной политики Турции в условиях конкурентной полицентричности на Ближнем Востоке (2000–2010-е годы) // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – 2019. – 11 (2). – С. 65–106.
- Shlykov, Pavel V. "Competitive Multipolarity in the Middle East and the Transformation of Turkey's Regional Policies in the 2000s and 2010s." *Moscow University Bulletin of World Politics* 11, no. 2 (2019): 65–106 [In Russian].
- Balkir, Canan, and Sedef Eylemer. "Shifting Logics: The Discourses of Turkish Political Elites on EU Accession." *South European Society and Politics* 21, no. 1 (2016): 29–43. <https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1147523>.
- Başer, Ekrem T. "Shift-of-axis in Turkish Foreign Policy: Turkish National Role Conceptions before and during AKP Rule." *Turkish Studies* 16, no. 3 (2015): 291–309. <https://doi.org/10.1080/14683849.2015.1050958>.
- Baykan, Toygar Sinan. *The Justice and Development Party in Turkey: Populism, Personalism, Organization*. London: Cambridge University Press, 2018.
- Çağaptay, Soner. "Is Turkey Leaving the West? An Islamist Foreign Policy Puts Ankara at Odds with its Former Allies." *Foreign Affairs – online*, (October 26, 2009). <https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2009-10-26/turkey-leaving-west>.
- Çakmak, Haydar, ed. *Türk Dış Politikası*, 1919–2008. Ankara: Platin, 2008.
- Çakmak, Haydar, ed. *Turkish Foreign Policy*, 1919–2008. Ankara: Platin, 2008 [In Turkish].
- Cohen, Ariel. "Washington Concerned as Turkey Leaving the West." *Turkish Policy Quarterly* 9, no. 3 (2010): 25–35.
- Cop, Burak, and Özge Zihnioğlu. "Turkish Foreign Policy under AKP Rule: Making Sense of the Turbulence." *Political Studies Review* 15, no. 1 (2015): 28–38. <https://doi.org/10.1111/1478-9302.12088>.
- Criss, Bilge. "Turkish Foreign Policy Toward the Middle East." *Middle East Review of International Affairs*, no. 1 (January 1997). https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/meria/meria97_criss.html.

Dahlman, Carl. "Turkey's Accession to the European Union: The Geopolitics of Enlargement." *Eurasian Geography and Economics* 45, no. 8 (2004): 553–574. <https://doi.org/10.2747/1538-7216.45.8.553>.

Elekdağ, Şükrü. "2 2/1 War Strategy." *Perception* 1, no. 1 (1996). <http://sam.gov.tr/pdf/perceptions/Volume-I/march-may-1996/SukruElekdağ.pdf>.

Ercan, Pinar, ed. *Turkish Foreign Policy. International Relations, Legality and Global Reach*. London: Palgrave Macmillan, 2017.

Gilpin, Robert. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. New York: Princeton University Press, 2001.

Gönlübol, Mehmet et. al. *Olaylarla Türk Dış Politikası (1919–1995)*. 9. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996.

Gönlübol, Mehmet et. al. *Turkish Foreign Policy with Events (1919–1995)*. 9th Edition. Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996 [In Turkish].

Gözen, Ramazan. "75. Yılında Türk Dış Politikasının Değerlendirilmesi." *Yeni Türkiye* 4, no. 23–24 (1998): 1343–1360.

Gözen, Ramazan. "The Assessment of Turkish Foreign Policy in the 75th Anniversary." *Yeni Türkiye [New Turkey]* 4, no. 23–24 (1998): 1343–1360 [In Turkish].

Gunter, Michael M. "Erdoğan and the Decline of Turkey." *Middle East Policy* 23, no. 4 (2016): 123–135. <https://doi.org/10.1111/mepo.12238>.

Gunter, Michael M., and M. Hakan Yavuz. "Turkish Paradox: Progressive Islamists versus Reactionary Secularists." *Critique: Critical Middle Eastern Studies* 16, no. 3 (2007): 289–301. <https://doi.org/10.1080/10669920701616633>.

Hale, William. *Turkish Foreign Policy since 1774*. The 3rd edition. London: Routledge, 2012.

Kara, Mehtap, and Ahmet Sözen. "Change and Continuity in Turkish Foreign Policy: Evaluating pre-AKP and AKP Periods' National Role Conceptions." *Uluslararası İlişkiler* 13, no. 52 (2016): 47–66.

Karaosmanoğlu, Kerem. "The Discourse of üst akıl: a Search for Hegemony in the Turkish Media." *Southeast European and Black Sea Studies* 21, no. 1 (2021): 77–99. <https://doi.org/10.1080/14683857.2021.1872233>.

Keyman, E. Fuat. "Modernity, Secularism and Islam: The Case of Turkey." *Theory, Culture & Society* 24, no. 2 (2007): 215–234. <https://doi.org/10.1177/0263276407075008>.

Kirişçi, Kemal. "The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the Trading State." *New Perspectives on Turkey* 40 (2009): 29–56. <https://doi.org/10.1017/S0896634600005203>.

Kılınç, Ramazan. "İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye'de Kemalist (1930–1939) ve İslamcı (2011–2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi." *Uluslararası İlişkiler* 13, no. 52 (2006): 67–88.

Kılınç, Ramazan. "Ideology and Foreign Policy: The Comparative Analysis of Kemalist (1930–1939) and Islamist (2011–2015) Foreign Policy." *Uluslararası İlişkiler [International Relations]* 13, no. 52 (2006): 67–88 [In Turkish].

Müftüler-Bac, Meltem. "Turkey's Predicament in the Post-Cold War Era." *Futures* 28, no. 3 (1996): 255–268. [https://doi.org/10.1016/0016-3287\(96\)00005-5](https://doi.org/10.1016/0016-3287(96)00005-5).

Müftüler-Baç, Meltem. "Turkish Foreign Policy, its Domestic Determinants and the Role of the European Union." *South European Society and Politics* 16, no. 2

(2011): 279–291. <https://doi.org/10.1080/13608746.2011.577947>.

Neset, Siri, Mustafa Aydın, Hasret Dikici Bilgin, Metin Gürçan, Arne Strand. *Turkish Foreign Policy: Structures and Decision-making Processes*. (CMI Report R 2019: 3). <https://www.cmi.no/publications/6854-turkish-foreign-policy-structures-and-decision-making-processes>.

Oğuzlu, Tarık. "Middle Easternization of Turkey's Foreign Policy: Does Turkey Dissociate from the West?" *Turkish Studies* 9, no. 1 (2008): 3–20. <https://doi.org/10.1080/14683840701813960>.

Oktav, Özden Zeynep, ed. *Turkey in the 21st Century. Quest for a New Foreign Policy*. London: Routledge, 2011.

Onar, Nora Fisher. "Echoes of a Universalism Lost: Rival Representations of the Ottomans in Today's Turkey." *Middle Eastern Studies* 45, no. 2 (2009): 229–241. <https://doi.org/10.1080/00263200802697290>.

Öniş, Ziya, and Mustafa Kutlay. "Rising Powers in a Changing Global Order: The Political Economy of Turkey in the Age of BRICS." *Third World Quarterly* 34, no. 8 (2013): 1409–1426. <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.831541>.

Oran, Baskin, ed. *Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar*. Cilt 1–3. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006–2013.

Oran, Baskin, ed. *Turkish Foreign Policy: From the War of Independence to Nowadays. Facts, Documents, Commentaries*. Volumes 1–3. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006–2013 [In Turkish].

Özer-İmer, İtir; Kugler, Jacek, and Hilton L. Root. "Turkey and the West: Bargaining for Realignment." *Journal of Contemporary European Studies* 21, no. 2 (2013): 218–251. <https://doi.org/10.1080/14782804.2013.815465>.

Özkan, Behlül. "Turkey, Davutoğlu and the Idea of Pan-Islamism." *Survival* 56, no. 4 (2014): 119–140. <https://doi.org/10.1080/00396338.2014.941570>.

Öztürk, Asiye. "Turkey – Europe's Bridge to the Middle East." *Israel Journal of Foreign Affairs* 2, no. 2 (2015): 73–78. <https://doi.org/10.1080/23739770.2008.11446314>.

Sevin, Efe. *Public Diplomacy and the Implementation of Foreign Policy in the US, Sweden and Turkey*. London: Palgrave Macmillan, 2017.

Sönmezoğlu, Faruk, ed. *Türk Dış Politikasının Analizi*. İstanbul: Der Yayınları, 1994.

Sönmezoğlu, Faruk, ed. *The Analysis of Turkish Foreign Policy*. İstanbul: Der Yayınları, 1994 [In Turkish].

Sönmezoğlu, Faruk. II. *Dünya Savaşı'ndan günümüze: Türk dış politikası*. İstanbul: Der Yayınları, 2006.

Sönmezoğlu, Faruk. *From the Second World War to Nowadays: Turkish Foreign Policy*. İstanbul: Der Yayınları, 2006 [In Turkish].

Sözen, Ahmet. "A Paradigm Shift in Turkish Foreign Policy: Transition and Challenges." *Turkish Studies* 11, no. 1 (2010): 103–123. <https://doi.org/10.1080/14683841003747062>.

Tamiz, Sam, and Henry Johnson. "How Iran Dominates the Middle East." *National Interest*, (June 18, 2015). <https://nationalinterest.org/feature/how-iran-dominates-the-middle-east-13136>.

Taş, Hakkı. "The Chronopolitics of National Populism." *Identities. Global Studies in Culture and Power – Online*, (March 5, 2020). <https://doi.org/10.1080/1070289X.2020.1735160>.

Turunç, Hasan. "The Post-Westernisation of EU-Turkey Relations." *Journal of Contemporary European Studies* 19, no. 4 (2011): 535–546. <https://doi.org/10.1080/14782804.2011.639989>.

Uslu, Nasuh. *Turkish Foreign Policy in the Post-Cold War Period*. London: Nova Science Publishers, 2004.

Yalvaç, Faruk. "Approaches to Turkish Foreign Policy: A Critical Realist Analysis." *Turkish Studies* 15, no. 1 (2014): 117–138. <https://doi.org/10.1080/14683849.2014.892238>.

Yeşilyurt, Nuri. "Explaining Miscalculation and Maladaptation in Turkish Foreign Policy Toward the Middle East during the Arab Uprisings: A Neoclassical Realist Perspective." *All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace* 6, no. 2 (2017): 65–83. <https://doi.org/10.20991/allazimuth.310151>.

Yükselen, Hasan. *Strategy and Strategic Discourse in Turkish Foreign Policy*. London: Palgrave Macmillan, 2020.

Сведения об авторе

Павел Вячеславович Шлыков,

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник

Отдела Азии и Африки ИНИОН РАН, участник научного коллектива проекта

«Многофакторный анализ "азиатского поворота" в российской внешней политике (достижения, проблемы, перспективы)» МГИМО МИД России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Ленинские горы 1, Москва, 119991.

e-mail: shlykov@iaas.msu.ru

Дополнительная информация

Поступила в редакцию: 5 марта 2021.

Переработана: 6 июня 2021.

Принята к публикации: 3 августа 2021.

Сведения о финансировании

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00142).

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Цитирование

Шлыков, П.В. Внешняя политика Турции в постбиполярной системе координат // *Международная аналитика*. – 2021. – Том 12 (2). – С. 130–152.
<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-130-152>

Turkey's Foreign Policy in the Post-Bipolar System of Coordinate

ABSTRACT

Turkey's foreign policy in the first decade after the collapse of the bipolar system retained features of its continuity in comparison with the Cold War: the Kemalist principles of laicism and the choice in favor of further Westernization, with its orientation towards cooperation with the EU and Euro-

Atlantic structures remained firmly in place. However, the post-bipolar period demonstrated a significant change in Turkey's foreign policy. The existing explanations for this phenomenon often start either from the appeal to the Islamic identity of the Justice and Development Party as the main reason for the changes, or from the approaches that prioritize Turkey's economic interests and emphasize Turkey's attempts to strengthen economic interdependence with neighbors in the region. Given the increasing complexity of the domestic and foreign policy nexus and the increasingly fluid

characteristics of the international environment, it seems that an analysis of Turkish foreign policy in the post-bipolar period requires an alternative conceptual and methodological approach that allows the changes in Turkey's foreign policy to be viewed along three dimensions. In this article, the author resorts to just such an approach. It includes the study of domestic policy, the international context and the transformation of the ideological and institutional support of foreign policy. This approach makes it possible to explain the logic of Turkey's «sudden» reorientation from cooperation with the EU and Western countries in general to attempts to consolidate its leading role in the Middle East and establish itself as a regional hegemon in relation to situational alliances with various state and non-state actors in the broader international context.

KEYWORDS

Turkish foreign policy, Middle East, pivot to Asia, Turkey-EU, Turkey-U.S., Russia-Turkey relations

Author

Pavel V. Shlykov,

PhD (History), Associate Professor of the Middle Eastern History Department, Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University; senior Research Fellow, Department of Asia and Africa, INION, Russian Academy of Sciences; non-resident scholar in research project “Multifactor analysis of the ‘Turn to the East’ in Russian Foreign Policy (achievements, problems, and prospects)” MGIMO University, Lomonosov Moscow State University, 1 Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation.

e-mail: shlykov@iaas.msu.ru

Additional information

Received: March 5, 2021. Revised: June 6, 2021. Accepted: August 3, 2021.

Funding

The research was supported by a grant from the Russian Science Foundation (project no. 19-18-00142).

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author.

For citation

Shlykov, Pavel V. “Turkey's Foreign Policy in the Post-Bipolar System of Coordinate.”

Journal of International Analytics 12, no. 2 (2021): 130–152.

<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-130-152>

Особенности внешней политики персоналистских режимов (на примере Туркменистана)

Славомир Горак, Карлов университет, Прага, Чехия

Контактный адрес: slavomir.horak@post.cz

АННОТАЦИЯ

Внешняя политика государств зачастую рассматривается сквозь призму геополитических, геостратегических или геоэкономических детерминант соответствующей страны. При этом забывается, что помимо этих факторов внешняя политика имеет и сильный человеческий, или личностный, фактор. Этот фактор проявляется особенно в авторитарных режимах персоналистского типа, в которых решения, в том числе по внешнеполитическим вопросам, принимаются единолично лидером или узкой прослойкой элиты. В таком случае персональный фактор и личные интересы лидера не ограничиваются другими регуляторами (институтами, выборами и т.п.). Внешняя политика, сосредоточенная на интересах первого лица при этом может существенно отличаться от той, которую можно было бы предположить при анализе государственной политики и национальных интересов страны. Поскольку власть в Туркменистане носит характер персоналистского режима, в статье предпринимается попытка исследовать в рамках имеющейся (весьма ограниченной) информации внешнюю политику этой страны с точки зрения не государственных, а личных интересов главы государства и туркменской элиты. Помимо теоретической рамки исследования и краткой личной характеристики обоих президентов, в статье также приводятся примеры, относящиеся к двум основным факторам, интересующим лидера нации и его элиту – экономической прибыли и безопасности режима. Сравнение режимов первого и второго президента во внешней политике также демонстрирует преемственность политической культуры и системы в стране. В исследовании показывается, что туркменский режим совмещает все черты теоретических представлений о персоналистской внешней политике, если посмотреть на них как на взаимосвязанный комплекс. Ключевую роль в ней играют личностная характеристика президента, его почти непоколебимая позиция при принятии решений, а также интересы его окружения, в том числе его семьи. С другой стороны, единоличность принятия решений облегчает ситуацию тем зарубежным игрокам, которые располагают необходимой информацией о лидере страны и знают, как подводить его к нужному для них решению без оглядки на другие группы интересов или институты в стране.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Туркменистан, внешняя политика, президенциализм, персонализм, личность президента

Внешняя политика Туркменистана обычно рассматривается с точки зрения транспорта и торговли, а также в геополитической плоскости¹. В этом плане приоритет при анализе внешней политики страны отдавался зачастую двусторонним, многосторонним отношениям или ее идеологической составляющей². Многие авторы также связывают формирование внешней политики страны с факторами безопасности³ или с экспортом энергоносителей и других материалов (продукция химической промышленности и хлопок)⁴. Анализ внешней политики основывается обычно на рассмотрении дипломатической или военной активности авторитарной страны (то есть политических или военно-политических отношений), ее внешнеэкономической деятельности (развитие торговли или транспорта) и – при наличии – на создании идеологического образа страны и гуманитарной сферы, в том числе культурной политики страны.

Вышеуказанные факторы действительно играют важную роль в процессах формирования внешней политики Туркменистана. Однако при более внимательном рассмотрении ее главной целью остается сохранение правящего в стране режима во главе с президентом и окружающей его элитой⁵. Таким образом, внешняя политика исходит из главенствующей в стране системы политического управления, которую можно отнести к разряду авторитарных режимов с сильной ролью личности (персоналистская автократия).

Теория личности во внешней политике давно является предметом изучения, причем не только при анализе авторитарных режимов. Во второй половине 1950-х гг. Д. Левинсон выдвинул предположение, согласно которому действия лидеров и других политических игроков определяются их мировоззрением, образованием, опытом и социопсихологическими характеристиками, которые могут влиять на тактические и стратегические решения во внутренней и внешней политике⁶. Еще до этого Н. Лейтс заложил основы анализа внешней политики для авторитарных и тоталитарных режимов⁷. В частности, на примере становления советской внешней политики в политбюро Н. Лейтс показал, что она определяется неформальными и персональными механизмами. Из содержания его работы исходил А. Джордж, также занимавшийся развитием исследования персонализма⁸.

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. Г. Аллисоном была разработана концепция трех моделей принятия решений в международных отношениях: а) рациональная и унитарная (от англ. – *unitary*, понимающая государство во внешней политике как целое); б) организационная; в) бюрократическая⁹. Последняя модель предполагает, что решение принимается на основе борьбы интересов индивидуальных игроков или автономных групп. Далее, проблемами влияния лидеров и их личностных

1 Pomfret 2008.

2 О первой категории см.: Horák, Šír 2009, 44–68; Pomfret 2008; Horák, Šír 2016; о втором факторе см., например: Denison 2006; Anceschi 2009; Yarıcı 2018; идеологические факторы (помимо вышеуказанных) изучал, например, Bohr 2016, 3.

3 Indeo 2016.

4 Шип 2006; Pomfret 2008; Overland 2009; Atai, Azizi 2012; Anceschi 2017.

5 Bohr 2016, 3.

6 Levinson 1957, 37–38.

7 Leites 1952.

8 George 1967, 51.

9 Автор разработал данный концепт на примере Кубинского кризиса, сначала в форме статьи (Allison 1969, 707–712), позже – в виде отдельной монографии (Allison 1971, 144–184), которая была после окончания холодной войны дополнена с использованием рассекреченных документов (Allison, Zelikow 1999).

качеств на внешнюю политику занимались, например, М. Германн и В. Хадсон, которые исследовали связь между личностью и характером в политике, в том числе и внешней, с точки зрения политической психологии¹.

С политологической точки зрения персонализм исследуется вместе с регулятивными механизмами, которые его ограничивают (выборы с множеством политических игроков, соблюдение законов и конституций). И. Макалистер исследовал этот феномен внутри политических партий, в которых существенную роль может играть личность вождя или руководства стран². Однако персонализм также отождествляется с выборами и заменяет силой личности традиционную для партийной демократии борьбу идеологий (то есть программ политических партий). Политические партии, таким образом, идентифицируются с харизматическими или популярными в народе лицами. Подобная тенденция проявляется и в демократических странах, как показывают среди других примеры Италии или Чехии³. В последнее время в научном дискурсе зачастую обсуждается, что персонализм может привести к значительному кризису демократических институтов и даже их превращению в полуавторитарные или авторитарные системы⁴.

Применение данных подходов к анализу персонализма, однако, связано с несколькими проблемами. Критики приведенных теорий подчеркивают спекулятивность данных, их недостаток, основанный на непрямом методе их сбора⁵. Авторы статей по политической психологии, бюрократической модели принятия решений или персонализму часто не имеют непосредственного доступа к объектам анализа, то есть политикам или другим лицам, имеющим непосредственное отношение к принятию решений.

Другой проблемой в трудах по соответствующей тематике, прежде всего до 1990-х гг., была концентрация на исследовании влияния неформальной политики, персонализма или феномена личности на демократические системы. В условиях работы с демократическими режимами исследователи легче смогли найти источники для сбора данных по характеру личностей и их влиянию на выработку решений в политике на основе интервью с самими политиками, их приближенными, оппонентами и другими политическими игроками.

Однако процессы неформальной политики и персонализма проявляются в более закрытых и авторитарных режимах почти повсеместно. В этих структурах отсутствуют сложные сети и системы разнородных политических группировок, а также не существуют, не применяются или применяются выборочно указанные выше регулятивные механизмы власти, такие как выборы или партийные дискуссии. Исследования персонализма или других неформальных факторов в авторитарных режимах получили широкое развитие после окончания холодной войны. Популярностью в политологических кругах пользовались классификация Х. Линца и теория С. Хантингтона которая анализирует причины демократизации

1 Hermann 1978; Hudson 1990.

2 McAllister 2007.

3 McDonnell 2013; Ventura 2018; Pecháček 2013.

4 Rhodes-Purdy, Madrid 2020.

5 Bendor, Hammond 1992, 317–318.

в мире начиная с половины 1970-х гг.¹ Согласно первой, к персоналистским авторитарным режимам наиболее близка категория султанистских режимов², однако данный термин отличается существенным недостатком – не охватывает личностный и неформальные факторы, концентрируется на внешних признаках авторитарных политических систем³.

Суммируя в конце 1990-х гг. литературу и исследования по авторитарным режимам, Б. Геддес выделила категорию персоналистских авторитарных режимов, которые отличаются тем, что принятие решений зависит во многом от личностей, особенно лидера или вождя⁴. На примерах трансформации персоналистских режимов, в частности Латинской Америки, Б. Геддес показала, что лицо, стоящее во главе переворота, стремится захватить всю полноту власти, не считаясь даже со своими возможными союзниками во время возведения на престол⁵. В более подробном изложении вместе с другими соавторами она доказала, что по мере уменьшения в мире военных и партийных авторитарных режимов растет количество персоналистских⁶. Позже данный концепт проявился в классификации А. Гадениуса и Й. Теорелла, которые рассматривают персонализм как обязательный элемент фактически любого авторитарного режима⁷. С. Гесс попытался осуществить качественный анализ персонализма на примерах Филиппин и Казахстана, концентрируясь по большей части на централизации и децентрализации изучаемых систем⁸. Наконец, в последнее время теорию персонализма во внутренней политике африканских государств развивал Й. ван ден Бош, который дополнил количественный подход Б. Геддес качественным⁹.

Если посмотреть на суть персоналистских режимов, то, исходя из вышеуказанных работ, можно предположить, что все ключевые решения в них принимаются самим лидером при учете его личных интересов или интересов правящей элиты¹⁰. Тем не менее большинство указанных работ по персонализму сосредоточивается на режиме или политической системе, воспринимает их как своего рода живой организм. При этом забывается, что главными акторами политических систем остаются сами политики. В частности, в персоналистских режимах таковой является именно персона лидера, который определяет основные тенденции внутренней политики исходя из своих интересов. Соответственно, можно предполагать, что сходным образом будет определяться и внешняя политика государства¹¹.

Исходя из работ Г. Аллисона и других вышеперечисленных исследований, предлагаемая статья развивает тему персонализма во внешней политике на примере Туркменистана. Исследователи уже затрагивали прямо или косвенно

1 С точки зрения теории С. Хантингтона, количество режимов, соответствующих чертам персонализма в начале третьей волны демократизации, не превышало двадцать процентов от всех недемократических систем в мире, т.е. – было значительно меньше чем сегодня. Huntington 1991; Linz 2000, в русскоязычной исследовательской среде см., например: Зазнаев, Сидоров 2018.

2 Chehabi, Linz 1998. В данной работе показаны так называемые султанистские режимы вне постсоветского пространства (например, Доминиканской Республики, Гаити, Кубы, Ирана или Филиппин).

3 Linz 2000, 151.

4 Geddes 1999.

5 Ibid., 124.

6 Geddes et al. 2014; 2018.

7 Hadenius, Teorell 2007, 145.

8 Hess 2013, 109–119.

9 Bosch 2021.

10 Bosch 2015, 174; Bosch 2021, 48.

11 Kinne 2005.

проблему внешней политики Туркменистана; авторы признают наличие существенного влияния президентов на внешнюю политику, которая является отражением политики внутренней, или рассматривают лидеров в качестве более или менее самостоятельных игроков¹. Данная проблематика, однако, больше не изучалась ввиду недостаточного количества информации и необходимости анализировать внешнюю политику исходя из косвенных показателей, таких как экономический анализ, состав и динамика политической элиты, ее поведение. Также необходимо учитывать интервью с политиками, которые были приближенными к лидерам. Однако если провести такого рода анализ, то получится картина, в которой внешнеполитическая стратегия акцентируется на официально не провозглашаемых направлениях.

В настоящей статье внешняя политика Туркменистана определяется не как «государственная» (то есть реализуемая в интересах государства), а скорее как совокупность личных интересов главы государства и его окружения. Автор не отрицает государственный аспект политики и показывает, что не все шаги внешней политики можно объяснить одними интересами президента страны. Тем не менее, как будет показано ниже, его личные интересы играют важную роль при планировании внешней политики, зарубежных поездок и при подписании контрактов с зарубежными делегациями. В первую очередь это касается сохранения собственной власти, укрепления своего статуса внутри страны и за ее пределами, а также экономических интересов его самого и окружающей его правящей элиты.

Личность президентов Туркменистана как фактор внешней политики

Как было указано выше, личностный фактор в авторитарных режимах играет существенную роль и определяет главные черты внутренней и внешней политики. Применяя концепт персонализма по отношению к постсоветскому пространству, мы видим сразу несколько примеров становления режимов, которые в той или иной степени можно отнести к этой категории². Туркменистан при этом обычно приводится как характерный образец персоналистской системы в Евразии³. В некоторых академических работах местный режим относится и к категории султанистских или неопатримониальных авторитарных режимов⁴.

Возникновение персоналистского режима в Туркменистане, на наш взгляд, связано с личностной характеристикой обоих вождей, их образованием и воспитанием, их карьерой, предыдущими функциями и опытом. В Туркменистане после установления независимости тогдашний президент С. Ниязов не смог дальше пользоваться поддержкой Москвы и одновременно опираться на внутреннюю элиту. Оставшись без существенной поддержки, С. Ниязов вынужден

1 Anceschi 2010a; Lee 2010.

2 Hess 2013, 109–119.

3 Bohr 2016; Борисов 2017; Anceschi 2021.

4 К первым относятся, например, Bohr 2004; Denison 2006; Kunysz 2012; Шкель 2014, Борисов 2017; во второй категории см., например: Горак 2007, Horák 2012, Geiss 2012, Алексеева, Казанцев 2012. Неопатримониализм – это форма социальной иерархии, в которой покровители используют государственные ресурсы для обеспечения лояльности клиентов среди населения. Это тип неформальных отношений «патрон – клиент», которые могут распространяться от самых высоких должностей в государственных структурах до отдельных жителей небольших деревень.

был принять ряд мер, чтобы сохранить свою позицию и предотвратить, как он тогда думал, угрозу своего смещения с поста. При этом у С. Ниязова был жесткий подход к подчиненным, проистекающий из его жизненного опыта и карьеры (детство сироты после Ашхабадского землетрясения в 1948). Одновременно при контакте с высокопоставленными лицами он был очень вежливым и даже заискивал¹. По некоторым сведениям, он ссылался на свое сиротство, потому что в этом положении он мог успешно использовать советские льготы и квоты для данной категории².

Отсутствие семьи и поддержки внутри страны, а также контроля за происходящим в республике со стороны Кремля служило основой для выстраивания жесткой персоналистской системы управления, а также формирования внешнеполитического курса страны³. Во внешней политике страны персонализм проявлялся также и на уровне личного выбора партнеров, с которыми С. Ниязов был готов говорить и работать. В частности, в отношениях с Россией он опирался на доверенных ему людей из компании «Итера», контролировавшей, помимо прочего, экспорт газа из Туркменистана. Наиболее влиятельными в этом плане считались И. Макаров, руководитель компании, В. Отчерцов, его заместитель и бывший вице-премьер Туркменистана, а также В. Храмов, многолетний советник президента, работавший в его администрации⁴. Тем не менее, несмотря на то что на формальном уровне полномочия президента как творца внешней политики утверждены в конституции страны⁵, внешняя политика в 1990-е гг. частично определялась Министерством иностранных дел и персональным влиянием тогдашних министров. Лишь после 2001 г. руководство министерства полностью подчинилось воле вождя. Поэтому, говоря о роли Министерства иностранных дел, надо частично рассмотреть и роль личностей, стоявших во главе этого государственного органа.

После распада Советского Союза внешнюю политику Туркменистана необходимо было создавать практически с нуля. Страна могла использовать несколько дипломатов с опытом работы в советской структуре МИДа. В частности, первый министр иностранных дел А. Кулиев работал в посольствах СССР в арабских странах и как востоковед использовал свои возможности и искал новые векторы внешней политики, например в отношениях с Ираном и Турцией⁶. Однако его попытка создать многовекторную политику в начале 1990-х гг. не вписывалась в представления С. Ниязова. Сам А. Кулиев становился все большим оппонентом возрастающей авторитарности президента и уже в 1992 г. покинул пост, перешел на сторону оппозиции и покинул страну.

Второй министр иностранных дел независимого Туркменистана Х. Атаев оказался скорее промежуточной фигурой. В 1995 г. возглавил министерство

1 Рыблов 2003, 16–19.

2 Трушин, Е.В. В недавнем прошлом товарищ Ниязов подавал тапочки начальству // Компромат. [Электронный ресурс]. URL: http://www.compromat.ru/page_10213.htm (дата обращения: 12.07.2021).

3 Про анализ элитной системы Туркменистана и ее историческую динамику см.: Кадыров 2003; 2009. Про переход от советского к постсоветскому строю см.: Horák 2016.

4 Мокроусова, И. «Как Игорь Макаров продавал «Итеру»» // Ведомости.ру. 20 мая 2013. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/library/articles/2013/05/20/miller_dlya_nego_byl_nikto (дата обращения: 06.05.2021).

5 Конституция Туркменистана (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.09.2020, статья 71, аб. 2 // ЮРИСТ. [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31337929#pos=6;-109&sel_link=1005338976_2 (дата обращения: 06.05.2021).

6 Кулиев 2006, 12–13.

тогдашний заместитель министра Б. Шихмурадов, образованный человек и хороший аналитик, который к тому же знал, как работать с С. Ниязовым¹. Последний раз в истории постсоветского Туркменистана министр иностранных дел оставался сильной фигурой, во многих делах умевшей противостоять лидеру страны². Б. Шихмурадов умел выстраивать политический курс государства в соответствии с интересами президента. Так, он стал одним из авторов концепции нейтралитета, который должен был обеспечить С. Ниязову невмешательство соседних стран во внутривнутриполитические дела. После отставки министра в 2000 г. и перехода в оппозицию в 2001 г. на его пост был временно назначен Б. Бердыев. Впоследствии оба были арестованы и осуждены в связи с делом о покушении на С. Ниязова в 2002 г., якобы организованном Б. Шихмурадовым. Из их дальнейшей судьбы известно, что они были заключены в колонии Овадан-Депе, известной своими суровыми порядками и строжайшим режимом.

С 2001 г. министерство возглавляет Р. Мередов, который оказался способным пережить все кадровые перестановки в стране и стал единственным из всех министров, кто остался на своем посту после смерти первого президента. Р. Мередов, технократ и юрист, сохраняет лояльность президенту. Как не полный туркмен по происхождению (его мать была азербайджанкой из г. Мары), Р. Мередов хорошо осведомлен, что в условиях национальной политической культуры страны и туркменского (и ахалтекинского) национализма он не сможет получить широкую поддержку даже у части туркменской элиты³. С приходом Р. Мередова внешняя политика страны окончательно и в полной мере перешла к президенту и его окружению. К этому необходимо добавить наличие репрессивной системы с печальными примерами некоторых отстраненных от должности лиц; это все в большой степени порождало всеобщую боязнь принимать решения без согласия верховного лидера.

После смерти С. Ниязова новым президентом стал министр здравоохранения из его кабинета Г. Бердымухамедов. В отличие от С. Ниязова новый глава оказался человеком с большой семьей, нуждавшейся в экономических преференциях⁴. Этот транзит власти способствовал дальнейшему углублению персоналистского режима в стране. Если раньше С. Ниязов опирался на нескольких верных ему людей, то Г. Бердымухамедов старается решить все спорные вопросы единолично, с расчетом на пользу для своей семьи⁵. Сам президент придерживается позиций ахалтекинского национализма и отказывает другим региональным группировкам в праве называться туркменами⁶.

1 Интервью автора с Авды Кулиевым.

2 *Кадыров, Ш.* «Обыкновенный башизм» // Независимая газета. 10 июня 2002. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ng.ru/courier/2002-06-10/11_turmeny.html (дата обращения: 06.05.21).

3 Bohr 2016, 30.

4 Horák 2021.

5 Грозин 2014, 44–47.

6 Aisha Khan, "Turkmenistan's Clannish Leader," IWPR Global Voices, November 23, 2010, accessed May 6, 2020, <https://iwpr.net/global-voices/turkmenistans-clannish-leader>.

Основные детерминанты внешней политики Туркменистана

Экономические факторы Туркменистана и их влияние на решения во внешней политике страны неразрывно связаны с политическими и личными интересами главы государства, сосредоточением ресурсов, которые элита получает и распределяет между собой. Так как оба туркменских президента были заинтересованы в получении прибыли от основных экспортных операций, вопросы экспорта играли существенную роль в ориентации внешней политики Туркменистана.

Главная составляющая туркменской экономики связывалась с экспортом энергоресурсов, частично – электричества и хлопка, хотя хлопок в последнее время уступил второе место (после нефти и газа) продуктам химической промышленности¹. Доля энергоресурсов, в частности нефти, газа и в меньшей степени их производных, составляет, по разным оценкам, вплоть до 90% экономики, при этом один газ охватывает около 80% экспорта². За время независимости страны эту долю снизить не удалось. Экспорт энергоресурсов в странах без выхода к морю сильно зависит от географии импортеров³. Туркменистан в этом плане может использовать три существующих направления экспорта энергоресурсов: российский, иранский и китайский⁴. Но все альтернативные Китаю направления экспорта перестали использоваться во время правления Г. Бердымухамедова. Россия и Иран, которые реально импортировали газ из Туркменистана для своих внутренних нужд, постепенно по разным причинам или вообще отменили поставки туркменского газа, или оставили закупки газа на минимальном уровне, часто руководствуясь политическими причинами. Таким образом, Туркменистан и его доход от экспорта газа за последнее десятилетие стал монопольно зависимым от одного потребителя в лице КНР.

Несмотря на такую роль Китая в экспорте туркменского газа, в личной политике президента Туркменистана КНР не стала играть главенствующей роли⁵. Официальные двусторонние связи были наиболее интенсивными в первый срок второго президента Туркменистана (2007–2012), когда осуществлялся проект постройки трубопроводов из Туркменистана в Китай. Как только заработали три основные линии, транспортирующие газ в этом направлении, и наладились поставки, необходимость в обоюдных контактах снизилась.

1 Pomfret 1995, 125–194; Pomfret 2019, 133–138; Импорт и экспорт Туркменистана // Turkmenportal.com. 13 февраля 2019. [Электронный ресурс]. URL: <https://turkmenportal.com/compositions/650> (дата обращения: 06.05.2021).

2 "Trade Statistics for International Business Development," Trademap.org, 2018, accessed May 6, 2020, https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c795%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c2%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1; "Observatory of Economic Complexity," Massachusetts Institute of Technology, 2018, accessed May 6, 2020, <https://oec.world/en/profile/country/tkm>.

3 Tavana et al. 2012, 352–356.

4 Horak 2012.

5 Зарубежные поездки президента Бердымухамедова // TurkmenWiki 2020. [Электронный ресурс]. URL: http://wiki-tm.com/index.php/Зарубежные_поездки_президента_Бердымухамедова (дата обращения: 06.05.2021).

В Туркменистане основная часть прибыли от экспорта газа поступает не в государственный бюджет, а во внебюджетные фонды, которые, в свою очередь, полностью контролируются президентом и служат для удовлетворения потребностей президента, его семьи, а также для реализации выгодных для семьи проектов¹. По оценкам некоторых авторов, экспорт углеводородов составлял от 35 до 44% ВВП². Но если проанализировать и ту редкую информацию, которая поступает из официальных источников, то предполагаемый бюджет не всегда соответствует декларируемым доходам от экспорта углеводородов. В частности, после реформы нефтегазового сектора и достижения полной непрозрачности разделения ресурсов от этой продукции доходная часть бюджета снижалась и одновременно росли доходы от экспорта. Причин такой динамики может быть несколько; главной из них можно считать проблему обслуживания внешнего долга (особенно по отношению к Китаю) и направление денег в один из внебюджетных фондов Туркменистана. По крайней мере, некоторые комментаторы подтверждают, что С. Ниязов распоряжался этими фондами по своему усмотрению³. Если исходить из роли фактора преемственности политической культуры в стране, становится очевидно, что эти фонды продолжает использовать и второй лидер нации⁴.

Проблема с пополнением внебюджетных фондов заключается в том, что почти монополия экспорта в Китай не приносит соответствующих доходов, которые предполагались при заключении контрактов с этой страной. По мере этого снижается персональный интерес лидера к Китаю, о чем свидетельствует внимание, которое уделяется финансированию посольства Туркменистана в Пекине⁵. Поэтому президент стал в последние пять лет прилагать усилия для восстановления экспорта в Россию и расширения географии экспорта. Однако в силу ряда причин внутреннего и внешнего характера два главных потенциальных направления остаются невостребованными. Экспорт на Запад через Каспийское море был до недавних пор ограничен статусом Каспия и отсутствием договора с Азербайджаном по спорным территориям. Эти препятствия удалось преодолеть, но возможности страны все еще остаются ограниченными⁶. Афганское направление также активно развивается руководством

1 По закону об углеводородных ресурсах, доходы от продажи нефти и газа в государственный бюджет поступали сначала в размере 10% (2008–2010), а в 2010 г. эта доля поднялась до 20%, однако в редакции закона от сентября 2016 г. (то есть после реформы управления углеводородными ресурсами) этот пункт ограничился только общей формулировкой об отчислении прибыли в бюджет без указания конкретных процентных квот. Закон Туркменистана от 20 августа 2008 г. № 208-III «Об углеводородных ресурсах» // ЮРИСТ. [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31342588 (дата обращения: 12.07.2021); Закон Туркменистана от 12 сентября 2016 г. «О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана “Об углеводородных ресурсах”» // ЮРИСТ. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.parahat.info/law/parahat-info-law-01wr> (дата обращения: 12.07.2021)). По крайней мере, с 2016 г. доходы от нефти и газа практически полностью уходят в непрозрачную внебюджетную сферу. См., например: Bohr 2016.

2 “Exports of goods and services (% of GDP) – Turkmenistan,” The World Bank Data, accessed August 5, 2021, <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?locations=TM>.

3 Мухаммедов, Б. Туркменистан – это частная компания Ниязова // Немецкая волна. 23 июня 2003. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dw.com/ru/туркменистан-это-частная-компания-ниязова/a-900022> (дата обращения: 06.05.2021); Веселый газ 2006, 15–21.

4 Личный карман президента 2011; Bohr 2016, 38–39; Pomfret 2019, 146; Туркменистан: Вся страна – карман президента // Turkmen News. 8 марта 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://turkmen.news/spotlight/oil-gas-president-pocket/> (дата обращения: 06.05.2021).

5 Дорогие послы. В 2020 году Туркменистан потратил свыше \$26 миллионов на содержание своих диппредставительств за рубежом // Turkmen News. 12 февраля 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://turkmen.news/spotlight/turkmenistan-embassies-costs/> (дата обращения: 06.05.2021).

6 Lee 2019.

страны, однако дальнейший прогресс проекта ограничивается отсутствием гарантий безопасности в Афганистане, а также его экономической нежизнеспособностью¹.

Развитие транспортных проектов является одной из ключевых возможностей для изъятия средств из внебюджетных фондов в пользу правящей семьи. Официально Ашхабад еще во время правления первого президента заявлял о включении своей страны в евразийские транспортные коридоры. Были построены железнодорожные линии во все сопредельные государства, и длина железных дорог страны с момента распада СССР увеличилась с 2120 км до 3840 км (в основном за счет связей с государствами Центральной Азии). Помимо железных дорог Туркменистан начал прокладывать оптические волокна и автомобильные дороги в соседние страны и связал таким образом все тогда изолированные регионы государства. Таким образом, Туркменистан укреплял связи со своими соседями и развивал коридоры в направлениях «север – юг», «восток – запад», а также через так называемый «Лазуритовый коридор» из Афганистана в Турцию через Каспийское море и Кавказ.

Однако огромные вложения в новые инфраструктурные проекты пока не дали своих результатов. Импорт Туркменистана не вырос, как и товарооборот между портами Актау и Баку в Казахстане и Азербайджане соответственно². Использование обеих дорог в Иран и новой линии в Афганистан пока также ограничено, а запланированное продление последней остается под вопросом. Туркменистан также не стремится гармонизировать свои тарифы и сотрудничество в сфере международных перевозок.

С точки зрения персоналистской системы обоих президентов, эти вложения представляли скорее не инвестиции в развитие связей с внешним миром, как это официально заявляется в Туркменистане, а способ получения прибыли от процентов из стоимости проекта.

Перевод приобретенных богатств влияет на политику по отношению к странам, которые играют ключевую роль в подобных операциях. Уже со времен С. Ниязова одним из самых важных направлений в этом плане стала Германия, где в *Deutsche Bank* хранились и хранятся валютные резервы внебюджетных фондов Туркменистана, доступ к которым контролирует туркменский президент³. Г. Бердымухамедов унаследовал и адаптировал эту стратегию первого президента. Несмотря на то, что оба президента страны посещали Германию редко, принятие представителей разных компаний из Германии в Ашхабаде происходит довольно часто. Например, компания *Siemens* сумела установить хорошие неформальные отношения уже во время первого президента С. Ниязова и в результате заняться проектами в сфере здравоохранения, энергии и связи⁴.

1 Anceschi 2017.

2 Отчёт о деятельности организации сотрудничества железных дорог за 2019 год. С. 86–92 // ОСЖД. 2019. [Электронный ресурс]. URL: <https://osjd.org/ru/9034> (дата обращения 5.08.2021).

3 *Undue Diligence* 2009, 82–90.

4 “Turkmenistan Chooses Siemens As Technology Partner For Infrastructure Expansion,” Siemens Press Release, May 12, 2009, accessed May 6, 2020, <https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/turkmenistan-chooses-siemens-technology-partner-infrastructure-expansion>.

В отличие от первого президента, Г. Бердымухамедов обращает больше внимания на регион Персидского залива. До 2006 г. самой крупной компанией (вместе с малазийской *Petronas*) по добыче нефти и газа в прибрежных шельфовых зонах Туркменистана стала дубайская *Dragon Oil*. В конце срока правления С. Ниязова, по некоторым данным, ОАЭ использовались частично им самим и его сыном для вывода капиталов из Туркменистана¹. Второй президент Г. Бердымухамедов постарался установить с этой арабской страной более близкие отношения². Помимо официальных визитов (2007, 2010, 2013, 2018), он часто встречается или ведет телефонные беседы с членами элиты ОАЭ. Его семья, особенно старшая сестра Гульнабат, после 2008 г. сумела заняться торговлей с этой страной, она же наладила импорт товаров из ОАЭ на туркменский рынок³. По некоторой информации, однако, ОАЭ стали второй после Европы базой для перемещения финансовых резервов или покупки недвижимости⁴. Неслучайно в качестве консула в Дубае в 2019 г. был назначен Ы. Аманов, зять президента, ранее руководивший лондонским филиалом Агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при Президенте Туркменистана. О приоритете данного консульства свидетельствует и тот факт, что в 2020 г. оно получило из государственного бюджета около 1,127 млн долларов США, став четвертым из самых финансируемых туркменских дипломатических представительств, почти в два раза превышающим расходы посольства Туркменистана в ОАЭ (Абу-Даби)⁵.

На российском направлении оба туркменских президента старались поддерживать тесные контакты с элитой. Необходимо выделить отношения президента Г. Бердымухамедова с президентом Республики Татарстан (РТ) Р. Миннихановым. С 2008 г. в Туркменистан поставлено около 10 тысяч грузовиков «КамАЗ»⁶. В дружеских отношениях с президентом РТ находится и предполагаемый наследник – С. Бердымухамедов, который уже несколько раз возглавлял туркменскую делегацию в Россию. При этом можно ожидать, что неофициальный преемник и сын нынешнего президента будет в силу своих личных связей с российской элитой стараться поддерживать с ней хорошие отношения.

Примеры отношений с Германией, ОАЭ и Россией показывают, каковы реальные приоритеты внешнеэкономической политики Туркменистана, связанные с интересами президента и его семьи, вне зависимости от деклараций, формальных документов и принимаемых внешнеполитических стратегий. Они прежде всего нацелены на извлечение средств, частично при помощи контрактов с зарубежными поставщиками, а также на возможность переводов средств

1 Гафарлы 2006; Полтаева, Г. Ниязов Мурад Сапарович // Туркменская искра. 23 января 2006. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tm-iskra.org/dosie/file2006-10.htm> (дата обращения: 26.01.2006).

2 Туркменистан – Объединенные Арабские Эмираты: четверть вековой опыт, важные вехи будущего // *Türkmenistan*. 16 ноября 2020. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.newscentralasia.net/2020/11/17/turkmenistan-uae-25th-anniversary-of-diplomatic-relations-ru/> (дата обращения: 06.05.2021).

3 Horak 2021, 166.

4 "2019 Investment Climate Statements: Turkmenistan," The US State Department, accessed May 6, 2020, <https://www.state.gov/reports/2019-investment-climate-statements/turkmenistan/>.

5 Дорогие послы. В 2020 году Туркменистан потратил свыше \$26 миллионов на содержание своих диппредставительств за рубежом // *Turkmen News*. 12 февраля 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://turkmen.news/spotlight/turkmenistan-embassies-costs/> (дата обращения: 06.05.2021).

6 Часть этих машин впоследствии оказалась в Туркменистане невостребованной, и десятки из них были в 2017–2019 гг. выставлены на продажу в Грузии и других странах.

на подконтрольные президенту счета за пределами Туркменистана. Во втором случае эти «живые» деньги получаются из Китая (как главного торгового партнера Туркменистана).

Безопасность в качестве фактора внешней политики

Сохранение собственного режима перед возможными внешними угрозами – важнейший фактор внешней политики Туркменистана. Меры, которые принимаются для этой поддержки, включают сдерживание внешних игроков от влияния в стране и непосредственной внешней угрозы (вторжение в страну).

Вопрос о первом типе угроз безопасности поднимался уже С. Ниязовым, и в качестве решения этой проблемы политической элитой страны (в том числе, как уже было отмечено, министром иностранных дел) была принята концепция нейтрального статуса Туркменистана, зафиксированная в резолюции ООН от 12 декабря 1995 г¹. Для С. Ниязова это означало жизненно важное обеспечение невмешательства в свои дела со стороны внешних сил. Такая политика была применена не только по отношению к России, но также нашла свои проявления, например, в разговорах с афганскими талибами, сотрудничество с которыми было необходимо С. Ниязову для продления газопровода на территорию Пакистана².

Угроза непосредственного вмешательства в туркменские дела стала реальной, например, в 2014–2016 гг., когда в российской прессе стала распространяться информация о сосредоточении боевиков близ туркмено-афганской границы³. В этой связи упрочилось сотрудничество с российскими силовыми структурами, и в Туркменистан стали прибывать военные советники Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. По некоторой информации, на границе расположены российские пограничники⁴. Данное сотрудничество не разглашается официально, так как оно нарушает нейтралитет Туркменистана, который до сих пор остается идеологическим стержнем внешней политики страны.

Туркменистан также пытается предотвратить возможность ухудшения ситуации на южной и юго-восточной границе регулярными переговорами с талибами. Взаимные контакты усилились по сравнению с временами президентства С. Ниязова, и они продиктованы необходимостью гарантировать безопасность продвигаемой стройки газопровода ТАПИ. Тем самым президент хочет снизить зависимость от Китая, равно как и риски угрозы безопасности собственному

1 "A/RES/50/80," United Nations General Assembly, 12 December 1995, accessed August 5, 2021, <https://undocs.org/en/A/RES/50/80>.

2 Волков, В. Туркменская власть очень напугана угрозой вторжения боевиков // Гундогар. 4 сентября 2014. [Электронный ресурс]. URL: <http://gundogar.org/?02330515075000000000000013000000> (дата обращения: 06.05.2021).

3 Horák, Šir 2016, 123–127; Аннаев, Д. Заявления России о намерении боевиков ИГ вторгнуться в Туркменистан вызвали возмущение туркменских пограничников // Каравансарай. 6 января 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2020/01/06/feature-02 (дата обращения: 06.05.2021).

4 Иностранные военные помогают охранять границу Туркменистана // Хроника Туркменистана. 23 мая 2015. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hronikatm.com/2015/03/inostrannyye-voennyye-pomogayut-ohranyat-granitsu-turkmenistana/> (дата обращения: 06.05.2021); Панфилова, В. Туркменистан укрепляет границу с Афганистаном // Независимая газета. 11 февраля 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ng.ru/cis/2020-02-11/5_7791_turkmenistan.html (дата обращения: 06.05.2021); Паниер, Б. Как российские военные помогают Туркменистану? // Радио Азаттык. 26 января 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://rus.azattyq.org/a/turkmenistan-russia-afghanistan-border/30362388.html> (дата обращения: 06.05.2021).

режиму, приобрести дополнительные ресурсы на стройке газопровода и в перспективе возобновить доступ к повышенным доходам от экспорта газа.

С точки зрения безопасности страны и персоналистской системы Г. Бердымухамедова, отношения с Россией и Афганистаном считаются наиболее важным направлением внешней политики. Если исходить из количества зарубежных визитов президента Г. Бердымухамедова, наблюдается определенный отрыв России от всех остальных государств¹. Многие из этих визитов являются не более чем формальностью, как например: участие лидера Туркменистана в церемонии проведения Парада Победы, посещение Олимпийских игр или чемпионата мира по футболу². С другой стороны, даже без учета этих поездок российский вектор внешней политики Туркменистана сохраняет свой приоритетный статус как гарант безопасности страны³.

Заключение

Внешняя политика Туркменистана в значительной мере зависела и зависит от воли его президентов. Связь с внешними игроками налаживалась на основе неформальных отношений с лидерами и политическими или экономическими деятелями других стран.

Персонализм означает, что зарубежные акторы (геополитические, экономические) и конкретные юридические или физические лица (инвесторы, государственные компании или фигуры, имеющие доступ к президенту) могут сконцентрировать свои усилия на его персоне и, угадывая его пожелания, влиять на принятие благоприятного для них решения. Некоторые решения по разным контрактам с туркменским лидером демонстрируют успешность этой стратегии.

Другим аспектом, связанным с личностью, которая определяет внешнюю политику страны в персоналистских режимах, является фактор окружения президента, будь то различные группы интересов, фигуры, сумевшие приобрести благосклонность и доверие главы государства, или, конечно, семья лидера. Хотя эти группы, приближенные к первому лицу, могут прямо не принимать решений во внешнеполитической сфере, их интересы (политические, экономические, социальные) могут оказывать принципиальное влияние.

Наконец, преемственность политической культуры, основывающейся на личностном факторе, является отличительной чертой внешней политики Туркменистана с момента достижения независимости. Нынешний президент во многом перенял манеру поведения своего предшественника во внешней политике и приспособил ее к своим интересам, интересам своей семьи, пропустил через личный опыт и свой характер, не изменив, однако, основных направлений внешней политики.

1 Зарубежные поездки президента Бердымухамедова // TurkmenWiki 2020. [Электронный ресурс]. URL: http://wiki-tm.com/index.php/Зарубежные_поездки_президента_Бердымухамедова (дата обращения: 06.05.2021).

2 Визиты президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Россию. Досье // ТАСС. 15 августа 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/info/5458586> (дата обращения: 06.05.2021).

3 Samuel Ramani, "Russia's Security Inroads With Turkmenistan," The Diplomat, November 24, 2017, accessed May 6, 2020, <https://thediplomat.com/2017/11/russias-security-inroads-with-turkmenistan>; Fabio Indeo, "The Role of Russia in the Central Asian Security Architecture," OSCE Academy Policy Paper, No. 48 (June 2018), accessed May 6, 2020, http://osce-academy.net/upload/file/PB48The_Role_of_Russia_in_the_Central_Asian_Security_Architecture.pdf.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Алексеева, Т.А., Казанцев А.А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 222 с.

Alekseyeva, Tatiana A. and Andrey Kazantsev. *Vneshnepoliticheskii process. Sravnitel'nyi analiz*. Moskva: Aspekt Press, 2012 [In Russian].

Борисов, Н.А. Институционализация персонализма: институт лидера нации на постсоветском пространстве // Центральная Азия и Кавказ. – 2017. – 20(2). – С. 69–82.

Borisov, Nikolay A. "Institucionalizaciya personalizma: institut lidera natsii na postsovetском prostranstve." *Central Asian and the Caucasus* 20, no. 2 (2017): 69–82 [In Russian].

Веселящий газ. Абсурдность в газовой торговле между Туркменистаном и Украиной // Global Witness, 2006. [Электронный ресурс]. URL: https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/missing%20docs/its_a_gas_russian_translation2.pdf (дата обращения: 06.05.2021).

"It's A Gas. Funny Business in the Turkmen – Ukraine Gas Trade." *Global Witness*, 2006. https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/missing%20docs/its_a_gas_russian_translation2.pdf [In Russian].

Гафарлы, М. Наследник «Отца всех туркмен» // Россия и мусульманский мир. – 2006. – № 9. – С. 144–145.

Gafarly, Mehman. "Naslednik 'Otca vseh turkmen'." *Russian and Muslim World*, no. 9 (2006): 144–145 [In Russian].

Горак, С. Портрет президента Туркменбаши как основа туркменского режима // Вестник Евразии – Acta Eurasica. – 2007. – № 2. – С. 139–165.

Horak, Slavomir. "Portret prezidenta Turkmenbashi kak osnova turkmenskogo rezhima." *The Eurasian bulletin – Acta Eurasia*, no. 2 (2007): 139–165 [In Russian].

Грозин, А.В. Под туркменским ковром. Элиты Туркменистана и «газовая геополитика» // Постсоветский материк. – 2014. – № 1 (1). – С. 37–57.

Grozin, Andrey V. "Pod turkmenskimi kovrom. Elity Turkmenistana i 'gazovaya geopolitika'." *Post-Soviet continent*, no. 1 (2014): 37–57 [In Russian].

Зазнаев О.И., Сидоров В.В. Президентские системы на постсоветском пространстве: верна ли гипотеза Хуана Линца? // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения». – 2018. – № 4 (14). – С. 24–35. <https://doi.org/10.28995/2073-6339-2018-4-24-35>.

Zaznaev, O. I., and V.V. Sidorov. "Presidential Systems In the Post-Soviet Space. Is Juan Linz's Hypothesis Correct?" *RSUH/RGGU Bulletin. Series Political Sciences. History. International Relations* 4, no. 4 (2018): 24–35 [In Russian].

Кадыров, Ш.Х. Нация племен. Этнические истоки, трансформация и перспективы государственности в Туркменистане. – М.: Центр цивилизационных и региональных исследований РАН, 2003. – 362 с.

Kadyrov, Shokhrat H. *Natsiya plemen. Etnicheskie istoki, transformatsiya i perspektivy gosudarstvennosti v Turkmenistane*. Moscow: The Center of Civilization and Regional Studies, Russian Academy of Sciences, 2003 [In Russian].

Кадыров, Ш.Х. Элитные кланы. Штрихи к портретам. – М.: MMIX, 2009. – 271 с.

Kadyrov, Shokhrat H. *Elitnye klany. Shtrikhi k portretam*. Moscow, MMIX, 2009 [In Russian].

Кулиев, А.О. 2 года в правительстве. 13 лет в оппозиции. – М., 2006.

Kuliyev, Avdy O. *2 goda v pravitel'stve. 13 let v oppozitsii*. Moscow, 2006 [In Russian].

Личный карман президента (Бердымухамедова): нефть, газ и закон // Crude Accountability, 2011. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.crudeaccountability.org/wp-content/uploads/2013/04/private_pocket_ru.pdf (дата обращения: 2.05.2020).

"The Personal Pocket Of The President (Berdymuhamedov): The Oil, Gas And Law." *Crude Accountability*, 2011. https://ru.crudeaccountability.org/wp-content/uploads/2013/04/private_pocket_ru.pdf [In Russian].

Рыблов, В.В. Туркменская трагедия. – М.: Фонд «Туркменистан», 2003 – 240 с.

Ryblov, Vladimir V. *Turkmenskaya tragediya*. Moscow: Fond "Turkmenistan", 2003 [In Russian].

Шир, Я. Российский вектор внешней политики Туркменистана // Центральная Азия и Кавказ. – 2006. – № 9 (4). – С. 158–168.

Shir Ian. "Rossiyskiy vector vneshney politiki Turkmenistana." *Central Asia and the Caucasus*, no. 9 (2006): 158–168 [In Russian].

Шкель, С.Н. Типология постсоветских политических режимов: синтез электорального и неопатримониального подходов // Грамота. – 2014. – № 8 (46), часть II. – С. 210–217.

Shkel, Stanislav N. "Tipologiya postsovetских politicheskikh rezhimov: sintez elektroral'nogo i neopatrimonial'nogo podchodov." *Gramota*, no. 2 (2014): 210–217 [In Russian].

Allison, Graham, and Philip Zelikow. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. New York: Longman, 1999.

Allison, Graham T. "Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis." *The American Political Science Review* 63, no. 3 (1969): 689–718. <https://doi.org/10.2307/1954423>.

Allison, Graham T. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. New York: Little Brown, 1971.

Aneschi, Luca. "After Personalism: Rethinking Power Transfers in Turkmenistan and Uzbekistan." *Journal of Contemporary Asia* 51, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1772853>.

Aneschi, Luca. "Turkmenistan and the Virtual Politics of Eurasian Energy: the Case of the TAPI Pipeline Project." *Central Asian Survey* 36, no. 4 (2017): 409–429. <https://doi.org/10.1080/02634937.2017.1391747>.

Aneschi, Luca. "Integrating Domestic Politics and Foreign Policy Making: the Cases of Turkmenistan and Uzbekistan." *Central Asian Survey* 29, no. 2 (2010a): 143–158. <https://doi.org/10.1080/02634937.2010.498231>.

Aneschi, Luca. *Turkmenistan's Foreign Policy: Positive Neutrality and the Consolidation of the Turkmen Regime*. London: Routledge, 2009.

Atai, Farhad, and Hamdreza Azizi. "The Energy Factor in Iran–Turkmenistan Relations." *Iranian Studies* 45, no. 6 (2012): 745–758. <https://doi.org/10.1080/00210862.2012.726877>.

Bendor, Jonathan, and Thomas H. Hammond. "Rethinking Allison's Models." *American Political Science Review* 86, no. 2 (1992): 301–22. <https://doi.org/10.2307/1964222>.

Bohr, Annette. "Independent Turkmenistan: From Post-Communism to Sultanism." In *Oil, Transition and Security in Central Asia*, edited by Sally Cummings, 7–24. London – New York: Routledge, 2004.

Chehabi, Houchang E., and Juan J. Linz, eds. *Sultanistic Regimes*. Johns Hopkins University Press, 1998.

Denison, Michael John. *Why Do Sultanistic Regimes Arise And Persist? A Study of Government In The Republic of Turkmenistan, 1992–2006*. Diss. University of Leeds, 2006.

Geddes, Barbara, Joseph Wright, and Erica Frantz. "Autocratic Break-down and Regime Transitions: A New Data Set." *Perspectives on Politics* 12, No. 2 (2014): 313–31. <http://www.jstor.org/stable/43279909>.

Geddes, Barbara. "What Do We Know About Democratization After Twenty Years". *Annual Review of Political Sciences* 2 (1999): 115–144. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.115>.

Geiss, Paul Georg. "Changing Political Systems and Regime Types in between the Neopatrimonial and the Bureaucratic-Developmental State in Central Asia." In *Presidents, Oligarchs and Bureaucrats: Forms of Rule in the Post-Soviet Space*, edited by Susan Stewart, Margarete Klein, Andrea Schmitz and Hans-Henning Schröder, 187–202. London and New York: Routledge, 2012.

George, Alexander L. *The "Operational Code": A Neglected Approach to the Study of Political Leaders and Decision-making*. Santa Monica: RAND Corporation, 1967.

Hadenius, Axel and Teorell, Jan. "Pathways from Authoritarianism." *Journal of Democracy* 18, no. 1 (2007): 143–157. <https://doi.org/10.1353/jod.2007.0009>.

Hermann, Margaret G. "Effects of Personal Characteristics of Political Leaders on Foreign Policy." In *Why Nation Acts: Theoretical Perspectives for Comparative Foreign Policy Studies?* edited by Maurice A. East, Barbara G. Salmore and Charles F. Hermann, 49–68. Beverly Hills, CA: Sage Publication, 1978.

Hess, Steve. *Authoritarian Landscapes*. Boston: Springer, 2013.

Horák, Slavomír, and Jan Šír. "Turkmenistan's Afghan Border Conundrum." In *The Regional Security Puzzle Around Afghanistan: Bordering Practices In Central Asia And Beyond*, edited by Helena Rytövuori-Apunen, 107–129. Opladen: B.Budrich, 2016.

Horák, Slavomír, and Jan Šír. *Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan Under Berdimuhamedov*. Stockholm – Washington: Institute for Security and Development Policy – School of Advanced and International Studies, 2009.

Horák, Slavomír. "Turkmenistan at the Last Stage of Perestroika. Determinant of the Authoritarian Path of Independent Turkmenistan." *Cahiers de l'Asie Centrale*, no. 26 (2016): 29–49. <http://journals.openedition.org/asiecentrale/3227>.

Horák, Slavomír. "Turkmenistan: Stability Through Regime Mobilisation." In *Political Regimes and Neopatrimonialism in Central Asia. A Sociology of Power Perspective*, edited by Ferran Izquierdo-Brichs and Francesc Serra-Messansalvador, 159–197. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2021.

Horák, Slavomír. "Turkmenistan's Shifting Energy Geopolitics in 2009–2011. European Perspective."

Problems of Post-Communism 59, no. 2 (2012): 18–30. <https://doi.org/10.2753/PPC1075-8216590202>.

Hudson, Valerie M. "Birth Order of World Leaders: An Exploratory Analysis of Effects on Personality and Behavior." *Political Psychology* 11, no. 3 (1990): 583–601. <https://doi.org/10.2307/3791665>.

Huntington, Samuel. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: Oklahoma University Press, 1991.

Indeo, Fabio. "Independent Turkmenistan in the Reshaped Geopolitical Scenario: Foreign Policy, Energy Strategy and Security Issues." *Politico: rivista italiana di scienze politiche* 53, no. 3 (2016): 165–194. <http://digital.casalini.it/10.1400/256142>.

Kinne, Brandon J. "Decision-making in Autocratic Regimes. A Poliheuristic Perspective." *International Studies Perspective* 6, no. 1 (2005): 114–128. <https://doi.org/10.1111/j.1528-3577.2005.00197.x>.

Kunysz, Nicholas. "From Sultanism to Neopatrimonialism? Regionalism within Turkmenistan." *Central Asian Survey* 31, no. 1 (2012): 1–16. <https://doi.org/10.1080/02634937.2012.649582>.

Lee, Ji-Eun. "Foreign Policy Formation of Authoritarian States in Central Asia Since 1991: Non-Institutional Domestic Factors in Kazakhstan and Uzbekistan." *The Korean Journal of International Studies* 8, no. 1 (June 2010): 33–71. <https://doi.org/10.14731/kjis.2010.06.50.3.33>.

Lee, Yusin. "Turkmenistan's East-West Gas Pipeline: Will It Save the Country from Economic Decline?" *Problems of Post-Communism* 66, no. 3 (2019): 211–223. <https://doi.org/10.1080/10758216.2017.1366273>.

Leites, Nathan. *The Operational Code of the Politburo*. New York: McGraw Hill, 1952. https://www.rand.org/pubs/commercial_books/CB104-1.html.

Levinson, Daniel J. "Authoritarian Personality and Foreign Policy." *Conflict Resolution* 1, no. 1 (1957): 37–47. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/002200275700100105>.

Linz, Juan José, and Juan J. Linz. *Totalitarian and Authoritarian Regimes*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000.

McAllister, Ian. "The Personalization of Politics." *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford University Press, 2007. https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/19199/2/01_McAllister_The_Personalization_of_2007.pdf.

McDonnell, D. "Silvio Berlusconi's Personal Parties: From Forza Italia to the Popolo Della Libertà." *Political Studies* 61 (2013): 217–233. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2012.01007.x>.

Overland, Indra. "Natural gas and Russia-Turkmenistan relations." *Russian Analytical Digest* 56, no. 09 (2009): 9–13. <https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD-56-9-13.pdf>.

Pecháček, Štěpán. "Personalizace politiky v České republice". *Politologická Revue* 2 (2013): 93–109.

Pecháček, Štěpán. "Personalisation of politics in the Czech Republic". *Politologická Revue* 2 (2013): 93–109 [In Czech].

Pomfret, Richard. "Turkmenistan's Foreign Policy." *China and Eurasia Forum Quarterly* 6, no. 4 (2008): 19–34.

Pomfret, Richard. *The Central Asian Economies in the Twenty-First Century. Paving a New Silk Road*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2019.

Pomfret, Richard. *The Economies of Central Asia*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 1995.

Rhodes-Purdy, Matthew, and Raúl L. Madrid. "The Perils of Personalism." *Democratization* 27, no. 4 (2020): 321–339. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1696310>.

Tavana, Madjid et al. "A hybrid Delphi-SWOT Paradigm for Oil and Gas Pipeline Strategic Planning in Caspian Sea Basin." *Energy Policy* 40 (2012): 345–360. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.10.020>.

"Undue Diligence. How Banks do Business with Corrupt Regimes." *Global Witness*. March 2009. https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/undue_diligence_lowres.pdf.

Van den Bosch, Jeroen J.J. "Personalism: A Type or Characteristic of Authoritarian Regimes?" *Politologická revue*, no. 1 (2015): 11–30.

Van den Bosch, Jeroen J.J. *Personalist Rule in Africa and Other World Regions*. London: Routledge, 2021.

Ventura, Sofia. "The Italian Democratic Party from Merger to Personalism." *South European Society and Politics* 23, no. 1 (2018): 181–196. <https://doi.org/10.1080/13608746.2018.1440483>.

Yapıcı, Utku. "From Positive Neutrality to Silk Road Activism? The Continuities and Changes in Turkmenistan's Foreign Policy." *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 20, no. 3 (2018): 293–310. <https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1385273>.

Сведения об авторе

Славомир Горак,

научный сотрудник кафедры российских и восточноевропейских исследований
Института международных исследований, Факультет социальных наук, Карлов университет.

Прага 5, Чехия, Pekařská 10, 15800.

e-mail: slavomir.horak@post.cz

Дополнительная информация

Поступила в редакцию: 4 апреля 2021.

Переработана: 15 июля 2021.

Принята к публикации: 21 июля 2021.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Сведения о финансировании

Данное исследование поддерживается грантом № 870647 «Центральноазиатское право»,
Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange scheme в рамках программы H2020.

Цитирование

Горак, С. Особенности внешней политики персоналистских режимов
(на примере Туркменистана) // Международная аналитика. – 2021. – Том 12 (2). – С. 153–169.
<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-153-169>

On Peculiarities of the Foreign Policy of Personalist Regimes (Example of Turkmenistan)

ABSTRACT

The foreign policy of states is often viewed through the prism of the geopolitical, geostrategic or geoeconomic determinants. It is forgotten that in addition to these factors, foreign policy also has a strong human, or personal, factor. This factor is especially evident in authoritarian regimes of the personalist type, in which decisions, including on foreign policy issues, are made by the leader or

a narrow stratum of the elite alone. In this case, the personal factor and personal interests of the leader are not limited to other regulators (institutions, elections, etc.). A foreign policy centered on the interests of the first person in this case may differ significantly from what one would assume when analyzing state policy and the national interests of the country. Since power in Turkmenistan is in the nature of a personalist regime, the article attempts to explore, within the framework of the available (very limited) information, the foreign policy of this country from the perspective of the personal interests of the head of state and the Turkmen elite rather than those of the state. In addition to the theoretical framework of the study and a brief personal profile of both presidents, the article also provides examples relating to the two main factors of interest to the leader of the nation and his elite - economic profit and regime security. Comparing the regimes of the first and second president in foreign policy also demonstrates the continuity of the political culture and system in the country. The study shows that the Turkmen regime combines all features of the theoretical conceptions of personalist foreign policy if we look at them as an interrelated complex. The personal characteristic of the president, his almost unshakable position in decision-making, as well as the interests of his entourage, including his family, play a key role in it. On the other hand, the singularity of decision-making makes it easier for those foreign players who have the necessary information about the country's leader and know how to lead him to the decision they want without regard to other interest groups or institutions in the country.

KEYWORDS

Turkmenistan, foreign policy, presidentialism, personalism, personality of the president

Author

Slavomír Horák,

Research Fellow, Department of Russian and East European Studies, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University. Pekařská 10, Prague 5, Czech Republic, 15800.

e-mail: slavomir.horak@post.cz

Additional information

Received: April 4, 2021. Revised: July 15, 2021. Accepted: July 21, 2021.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author.

Funding

This research was supported by a Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange scheme within the H2020 Programme (grant acronym: Central Asian Law, no. 870647).

For citation

Horák, Slavomír. "On Peculiarities of the Foreign Policy of Personalist Regimes (Example of Turkmenistan)." *Journal of International Analytics* 12, no. 2 (2021): 153–169.
<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-153-169>

Азербайджан: укрепление «малой силы» или переходный период в становлении «средней»?

Ровшан Ибрагимов Фаиг оглы, Университет регионоведения Хангук, Сеул, Южная Корея

Контактный адрес: rovshanibrahimov@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье дан общий обзор основных факторов, влияющих на формирование внешней политики Азербайджана, а также проведен анализ, показывающий, каким образом эти факторы видоизменялись с момента обретения страной независимости вплоть до 2021 г. Цель статьи – проследить динамику развития как государства Азербайджан, так и азербайджанского общества. Делается вывод о том, что наличие Нагорно-Карабахского конфликта стало ключевым при формировании политической и экономической системы страны, а также сознания и восприятия мира ее гражданами. С момента обретения независимости основной задачей Азербайджана являлось изменение регионального статус-кво, а также возвращение военно-политического контроля над Нагорным Карабахом.

В теоретической части статьи автор рассматривает две категории государственности: малая и средняя держава. Устоявшиеся их определения говорят, что основной параметр их различия кроется в размере экономики, численности вооруженных сил, а также в критерии «воли» народов к решению экстраординарных внешнеполитических задач. Автор считает, что консолидация имеющегося потенциала страны сделала возможным не только достижение цели обеспечения территориальной целостности, но и переход Азербайджана из категории «малой» державы в «среднюю». Азербайджан намеренно шел к такому положению: посредством развития региональных связей и энергетической дипломатии, а также – изолирования Армении. В результате занятие в конце 2020 г. Азербайджаном семи районов и части Нагорного Карабаха, включая Шушу, стало значимым событием, что позволило стране коренным образом изменить складывавшийся годами невыгодный статус-кво.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

«малая сила», «средняя сила», Азербайджан, Нагорный Карабах, Гейдар Алиев, Ильхам Алиев, энергоресурсы

В 1991 г. Азербайджан стал независимым государством, формировавшимся на основе символов и институтов, принятых и полученных в наследство от Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920) и Азербайджанской ССР (1920–1991). Для того чтобы доподлинно понять специфику современного Азербайджана, в статье предлагается проанализировать, каким образом история (в том числе связанная с Нагорно-Карабахским конфликтом, НКК – далее) двух вышеназванных республик повлияла на азербайджанскую государственность.

Исторически наряду с другими политико-экономическими проблемами, с которыми пришлось столкнуться Азербайджану, ключевыми для него стали Нагорно-Карабахский конфликт и задача восстановления территориальной целостности. При этом со временем стало ясно, что на разрешение данной проблемы необходимо сосредоточить все усилия и возможности. Была спланирована долгосрочная стратегия и последовательные тактические шаги, основанные на возможностях Азербайджана с учетом реалий международной среды. Как следствие, консолидация усилий в политическом, экономическом, военном и дипломатическом поле позволили Азербайджану не только разрешить основную задачу, но и за счет этого роста войти в ранг «средней силы».

Основным тезисом обзорной статьи является изучение процесса трансформации Азербайджанского государства и общества. Для объяснения этого качественного изменения используется теоретический разбор классификации «средней» и «малой силы» в международных отношениях.

От «малой» к «средней силе»

Если рассматривать изначальный потенциал и возможности Азербайджана согласно его положению в международной системе, то он являлся, безусловно, «малой силой», которая, как и остальные пятнадцать бывших республик СССР, обрела независимость в 1991 г. Но в течение тридцати лет консолидации усилий и возможностей Азербайджан смог войти в категорию «средней силы». Для того чтобы детальнее проследить этот путь, предлагается остановиться на том, как разные ученые-международники категоризируют «средние» и «малые силы».

По мере эволюции системы современных международных отношений роль «малых» и «средних» становится все более значимой. После Второй мировой войны в результате процесса деколонизации количество государств в мире существенно возросло. Многие из этих государств активно участвовали в формировании международной повестки, и их количество достигло порядка двухсот (например, Движение неприсоединения).

Первым подходом к классификации «малой» и «средней силы» является их разделение в соответствии с размерами территорий, количеством населения и экономическими возможностями. Т. Кровардс в своем исследовании классифицировал около 190 государств и распределил эти страны в соответствии с их площадью, населением и ВВП. В результате ему удалось определить 79 стран как «малые», 75 – как «средние» и 34 – как «большие». При этом Т. Кровардс ключевым аспектом в определении «малой» и «средней» сил выделял ВВП каждой

страны¹. В свою очередь, Д. Витал при их определении считает важнейшим фактором наличие или отсутствие материальных ресурсов у страны, а также подчеркивает значимость количества населения. Согласно такой классификации, «малые силы» не в состоянии в полной мере быть независимыми членами международного общества, поскольку они ограничены как в человеческих, так и в материальных ресурсах². К тому же «малые силы» более уступчивы в случае необходимости нахождения компромиссов с целью разрешения разногласий или конфликтов. Важным замечанием является то, что эти государства имеют меньше альтернатив для принятия политических решений. Что касается другого исследователя, М.А. Иста, то он предлагает брать за основу определения «малой силы» четыре фактора: маленькая территория, небольшое население, низкий ВВП и незначительный военный потенциал³.

Б. Вуд считает, что для классификации силы важны такие значения, как объем ВВП страны и ее военные затраты⁴. Такой подход контрастирует с исследованием Дж. Холмса, который полагает, что способность к активной дипломатической деятельности дает возможность «средней силе» влиять на международную политику⁵. Благодаря такой активности государство укрепляет престиж и влияние на международной арене⁶.

Подводя итог вышеупомянутым классификациям, определить, является ли страна «малой» или «средней силой», можно по таким критериям, как площадь территории, количество населения, размер ВВП, военный потенциал, а также по ее дипломатической активности. Стоит отметить, что такие показатели, как территория и численность населения, не всегда адекватно отражают потенциал государства. Имеются случаи, когда страны с небольшой территорией и населением рассматриваются в категории «средней силы», например Израиль. Тот же Т. Кровардс, классифицируя страны по объему их ВВП, относил Бурунди, Эритрею, Гаити, которые имеют большую численность населения, к «малым силам». В то же время Словения и Кувейт в его исследовании представлены как «средние силы»⁷. Поэтому в первую очередь необходимо рассматривать не площадь территории и количество населения, а экономический, дипломатический и военный потенциал страны, способность к его развитию и применению.

Таким образом, в период обретения независимости в 1991 г. Азербайджан, согласно всем вышеназванным определениям, являлся «малой силой». При этом на заре своей независимости страна, наряду с такими проблемами, как политическая нестабильность, экономическая депрессия, была вынуждена решать задачу восстановления своей территориальной целостности. Данная задача сформировала ключевой национальный интерес Азербайджана, красной нитью проходящий через все значимые сферы жизни страны и ее общества. Как следствие, все ресурсы государства (экономические, политико-дипломатические, военные)

1 Crowards 2002, 168.

2 Vital 2006, 77.

3 East 1973, 557.

4 Wood 1986.

5 Holmes 1970.

6 Kohei Imai, "Comparative Middle Power Analysis: Turkey and Japan," MEI, November 7, 2013, accessed December 12, 2020, https://www.mei.edu/publications/comparative-middle-power-diplomacies-turkey-and-japan#_edn2.

7 Crowards 2002, 168.

были сконцентрированы на разрешении этой проблемы. В следующих параграфах мы кратко остановимся на каждой из вышеуказанных сфер.

Особенности азербайджанского общества и государственности

Формирование национального самосознания в основном пришлось на период нахождения Азербайджана в составе СССР. При этом данный процесс в Азербайджане наблюдался и ранее. Начало модернизации в форме вестернизации институтов и основных устоев общественной жизни относится еще ко времени вхождения в Российскую Империю, частью которой современный Азербайджан являлся с первой половины XIX в. Важнейшее влияние на процесс становления Азербайджана оказало начало промышленной добычи нефти в Баку. В результате стали образовываться национальная буржуазия, интеллигенция и рабочий класс, которые внесли вклад в формирование современного азербайджанского общества. Венцом же этого процесса стало создание в 1918 г. Азербайджанской Демократической Республики (АДР). После вхождения Азербайджана в состав СССР модернизация по западным лекалам сменилась более структурированной социалистической моделью, а эволюционный процесс формирования современной нации заменил советский проект коренизации. Стоит отметить, что в таких составляющих модернизации, как урбанизация, индустриализация экономики, задача была реализована лишь частично (главным образом ввиду ограниченности ресурсов Советского Союза). В результате азербайджанское общество к началу 1990-х гг. являло собой симбиоз представителей многонационального социалистического и традиционного обществ, прошедших через советскую модернизацию. На заре независимости подобное социальное разделение оказало значительное влияние на последующие процессы.

Досоветский опыт АДР сыграл важнейшую символическую роль в становлении независимости Азербайджана. Так, во время принятия Конституционного Акта от 18 октября 1991 г. власти декларировали восстановление независимости, ссылаясь именно на АДР¹. Были переняты все атрибуты ее государственности. Правительство Народного фронта (1992–1993) инициировало процесс использования алфавита на основе латиницы в образовании. Кроме того, государственным языком был объявлен тюркский². Помимо исторического символизма на оба этих решения повлиял курс на сближение с Турцией – основа внешней политики правительства Народного фронта.

В свою очередь, от советского периода Азербайджан унаследовал свой политический и общественный строй. Как и остальные бывшие союзные республики СССР, Азербайджан получил в наследство свои общепризнанные государственные границы в соответствии с принципом *uti possidetis juris*. Данный принцип нашел свое отражение в Соглашении о создании Содружества Независимых

1 "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiyası (18 oktyabr 1991) (Constitutional Act on State Independence of the Republic of Azerbaijan (18 October 1991))," Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, accessed December 12, 2020, http://files.preslib.az/projects/republic/az/azr4_2.pdf.

2 Данное решение было впоследствии изменено, и государственный язык с 1993 г. вновь стал именоваться «азербайджанским».

Государств и Алма-Атинском протоколе¹. Незадолго до распада Советского Союза был введен институт президента. Президентская система сохранилась и после независимости, а с принятием 12 ноября 1995 г. Конституции Азербайджана статус президента и его полномочия еще более упрочились².

В период правления Народного фронта особую роль в становлении азербайджанской государственности сыграла националистическая идеология, основанная на идеях тюркизма и западничества. Второй президент Азербайджана А. Эльчибей был сторонником идей пантюркизма, придерживался протурецкого внешнеполитического курса, а также активно привлекал турецкие компании к участию в энергетических проектах. Его пантюркистские взгляды стали причиной напряженности в отношениях с Ираном, некоторыми странами Центральной Азии, лидерам националистической оппозиции которых Азербайджан предоставлял политическое убежище, а также с Китаем. Напряженностью отличались и отношения с Россией.

Правление Народного фронта ознаменовалось глубоким политическим кризисом на фоне неудач в карабахской войне, экономической депрессии и политической нестабильности. Кроме того, Народный фронт не сумел стать народной партией: в партии делалась ставка на представителей традиционного общества (главным образом неурбанизированные слои населения), а также беженцев из Армении и вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Это усилило фрагментацию азербайджанского общества, на преодоление которой была направлена политика президента Г. Алиева, пришедшего к власти в 1993 г.³ Наиболее серьезной проблемой Азербайджана уже в 1993 г. стал НКК, а также сопряженная с ним проблема многотысячной армии беженцев и вынужденных переселенцев и тяжелая экономическая ситуация в стране.

Нагорно-Карабахский конфликт как основной фактор, влияющий на формирование независимого Азербайджана

Официальной точкой отсчета НКК считается 20 февраля 1988 г., когда на заседании облсовета Нагорно-Карабахской АО было принято решение об обращении к Верховным Советам СССР, Азербайджанской ССР и Армянской ССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче области в состав Армении. 12 июля облсовет Нагорного Карабаха в одностороннем порядке принял решение о выходе из состава Азербайджана. В ответ 18 июля Верховный Совет СССР принял постановление об антиконституционности данного шага и невозможности передачи области Армении. Начались первые столкновения, приведшие к жертвам и массовому потоку беженцев из обеих республик. С 1991 г., после обретения независимости Азербайджана и Армении, конфликт из внутреннего преобразовался в международный.

1 Vidmar 2010, 319–356.

2 Тенденция укрепления института президентства будет наблюдаться в последующих изменениях Конституции, которые были произведены по результатам референдумов, проводившихся в 2002, 2009 и 2016 гг.

3 Гейдар Алиев: основатель, спаситель и создатель современного Азербайджана // Nazar News. [Электронный ресурс]. URL: <https://nazarnews.org/posts/geidar-aliev-osnovatel-spasitel-i-sozdatel-sovremennogo-azerbaidzhana> (дата обращения: 16.12.2020).

В ходе первой карабахской войны в период между 1991–1994 гг. Азербайджан потерял контроль не только над территорией бывшей автономии Нагорного Карабаха, но и семью близлежащими районами, население которых было вынуждено покинуть свои дома, превратившись в вынужденных переселенцев.

Разрешить НКК военным путем пытались все лидеры Азербайджана: А. Муталибов, А. Эльчибей и Г. Алиев. Для первых двух НКК стал одной из основных причин потери президентского поста. Что касается Г. Алиева, после очередной попытки провести военную операцию зимой 1994 г. стало ясно, что при существующем балансе сил в регионе изменить ситуацию на фронте в пользу Азербайджана будет невозможно. Следовало провести тщательную подготовку, а также сформировать новые внешнеполитические реалии, для чего требовалось время.

К тому же Азербайджан находился в преддверии подписания соглашений с западными энергетическими компаниями по эксплуатации крупных морских нефтяных месторождений. Необходимо было обеспечить политическую стабильность, для того чтобы крупный капитал мог быть привлечен в страну. Понятно, что непрерывающиеся активные военные действия являлись основным риском, с которым могли столкнуться будущие инвесторы, что осложнило бы практическую реализацию проекта. Как следствие, в мае 1994 г. при участии России было заключено соглашение о прекращении огня. Сформировался статус-кво, изменившийся лишь в 2020 г.

С 1994 г. начался период переговоров с целью разрешения конфликта при участии Минской группы ОБСЕ. В разные периоды времени Минская группа ОБСЕ предлагала различные варианты для достижения мирного соглашения, которые по определенным причинам были отвергнуты сторонами конфликта. Основной стратегией во время переговорного процесса в период президентства Р. Кочаряна (1998–2008) и С. Саргсяна (2008–2018) для Армении было сохранение сложившегося после 1994 г. статус-кво, в то время Азербайджан такое положение дел не устраивало¹. Пришедший в 2003 г. к власти И. Алиев понимал, что военная операция в Карабахе возможна лишь при благоприятно сложившихся геополитических условиях. Главными гарантами статус-кво являлись сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции, которые не желали возгорания очередного военного конфликта. НКК являлся фактически единственным противостоянием, в рамках которого позиции Запада и России не противоречили друг другу². Будучи «малой силой», Азербайджан понимал, что необходимо учитывать интересы всех основных игроков, вовлеченных в регион Южного Кавказа, и в первую очередь России. Начало военной операции со стороны Азербайджана при отсутствии благоприятных для этого условий могло привлечь весьма негативную реакцию внешних акторов, степень которой сложно было спрогнозировать. События пятидневной войны в августе 2008 г., когда Грузия попыталась военным путем восстановить свой суверенитет над Южной Осетией, показали, что риски для Азербайджана вполне весомы.

1 Gerard Libardian, "Why Negotiations Failed," *Mirror Spectator*, October 4, 2020, accessed December 20, 2020, <https://mirrorspectator.com/2020/11/02/why-negotiations-failed/>.

2 Каким видится будущее отношений Азербайджана и России – Маркедонов // *Sputniknews.ru*. 5 января 2021. [Электронный доступ]. URL: <https://az.sputniknews.ru/news/20210105/425851582/azerbaijan-russia-zapad-karabakh.html> (дата обращения: 17.01.2021).

Действия, предпринятые Азербайджаном для разрешения военного конфликта

Азербайджанская политика строилась на двух принципах: развитие своего военно-политического потенциала и изоляция Армении. Для достижения первой цели Азербайджан начал интенсивное укрепление вооруженных сил страны, которое представляло собой параллельный процесс приобретения современных видов вооружения, развитие оборонной промышленности. Азербайджан также старался вовлечь Армению в гонку вооружений, тем самым вынуждая страну с меньшим экономическим потенциалом использовать и без того ограниченный бюджет не для разрешения социально-экономических задач, а для затрат на военные нужды. Так, в ключевом для разрешения НКК 2020 г. бюджет Азербайджана на оборону и безопасность составил 2,3 млрд долларов¹. Для сравнения: военный бюджет Армении в 2020 г. составил 625 млн долларов². Несмотря на большую разницу в затратах, в процентном соотношении военные расходы у обеих стран примерно равные: 16–17%. При этом для Армении такой объем затрат на оборону имеет больший мультипликационный эффект, чем для Азербайджана.

Что касается политики изолирования Армении от региональных экономических проектов, основной ее задачей, как и в первом случае, являлось ослабление экономического потенциала страны. Учитывая, что Армения не имеет выхода к морю, а ее границы с двумя (Азербайджан и Турция) из четырех соседей закрыты, страна имела высокий риск столкнуться с экономическими проблемами, которые повлияли бы на ее развитие. Согласно подсчетам, от закрытия границ с Азербайджаном и Турцией в первое десятилетие 2000-х гг. Армения ежегодно теряла 10–30% от своего ВВП³.

Азербайджан целеустремленно проводил стратегию изолирования Армении на протяжении многих лет: были построены нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан и газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум в обход Еревана⁴. Следующим шагом для изоляции Армении стало строительство железной дороги Баку – Тбилиси – Карс, которая позволила соединить железнодорожные пути Европы и Азии. Данный проект реализовывался вопреки тому, что железнодорожное сообщение между современной территорией Турции и современной территорией Армении было установлено еще в Российской Империи, оно осуществлялось и в момент распада СССР⁵.

Азербайджан проводил политику изоляции и в рамках других региональных проектов. В 1998 г. в Баку на конференции по возрождению Великого шелкового пути в рамках программы ЕС ТРАСЕКА Азербайджан с целью изолировать Армению от возможности активного участия в нем внес в заключительное соглашение поправку, согласно которой до разрешения НКК грузы из Армении или

1 Азизов, А. Азербайджан увеличит в 2020 году бюджетные расходы на оборону и безопасность на 21% – до \$2,3 млрд // Interfax.az. 18 октября 2019. [Электронный ресурс]. URL: <http://interfax.az/view/781442> (дата обращения: 20.12.2020).

2 Военный бюджет Армении в 2020 году составит \$ 625 млн // Vereql.am. 30 сентября 2019. [Электронный ресурс]. URL: <https://vereql.am/ru/node/53681> (дата обращения: 20.12.2020).

3 Kurt et al. 2013, 244.

4 Ibrahimov 2015, 85.

5 Ibrahimov 2013, 140.

направляющиеся в Армению не могут пересекать территорию Азербайджана¹, что стало эквивалентным ограничению участия Армении в проекте ТРАСЕКА. Одновременно Азербайджан приложил усилия, чтобы Армения не стала главным бенефициаром на Южном Кавказе от транспортного проекта «Север – Юг», инициированного Россией, Ираном и Индией в 2000 г. При определении возможного маршрута железной дороги из Ирана через Южный Кавказ в Россию Азербайджан предложил Ирану крупный кредит в размере около 500 млн долларов для строительства недостающей до границы Азербайджана ветки железной дороги Решт – Ардабиль протяженностью 164 км².

Наряду с этим продолжалась эскалация напряженности на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе. Наиболее интенсивное столкновение, известное как «четырёхдневная война», случилось в 2016 г. В результате этой войны Азербайджану впервые после заключения Соглашения о прекращении огня в 1994 г. удалось занять определенную часть территорий.

Увеличившийся военный и экономический потенциал Азербайджана сформировал новую реальность как в стране, так и в регионе в целом. Неразрешенный НКК не позволял Азербайджану в полной мере реализовывать свой потенциал, несмотря на то, что его наличие не стало преградой при реализации масштабных энергетических и транспортных мегапроектов.

Внешняя и энергетическая политика Азербайджана

Концептуализация Азербайджаном баланса сил включает два фактора: это максимально возможное привлечение внимания великих держав к региону и Азербайджану в частности, а также сохранение равноудаленности по отношению ко всем этим странам. Однако такая внешнеполитическая стратегия стала складываться лишь после 1993 г. До этого, между 1991–1993 гг., во времена правления А. Муталибова и А. Эльчибея, Азербайджан проводил диаметрально противоположный курс: прозападный, антироссийский и в некоторой степени антииранский. Прозападный курс этих лидеров основывался на копировании тогдашней внешнеполитической модели Турции.

После прихода к власти Г. Алиева возникло понимание, что для недавно обретшего независимость государства необходимо иметь хорошие отношения со всеми игроками в регионе. Г. Алиев первым делом стал восстанавливать отношения с Россией и Ираном: Азербайджан восстановил членство в СНГ, а также отказался от неконструктивной риторики в адрес соседей, совершив официальные визиты в Москву и Тегеран. Также пришлось восстанавливать отношения с Турцией, поскольку Г. Алиев воспринимался многими как ставленник России.

Для привлечения западных стран к партнерству 20 сентября 1994 г. в Баку было подписано соглашение, впоследствии получившее название «Контракт

1 "Basic Multilateral Agreement on International Transport for Development of the Europe-the Caucasus-Asia Corridor," Baku, September 9, 1998, accessed December 22, 2020, http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/pdfs/til_mla/MLA_English_with_ammendments.pdf.

2 Азербайджан дал добро на кредит в полмиллиарда долларов Ирану // Sputniknews.ru. 27 октября 2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://az.sputniknews.ru/economy/20171027/412524285/iran-azerbajdzhan-zheleznaja-doroga-astara-resht.html> (дата обращения: 20.12.2020).

века», с участием российского «Лукойла». Для Азербайджана соглашение, наряду с экономическими выгодами, в большей степени являлось геополитическим проектом: позднее энергетическое сотрудничество расширялось на другие сферы. Азербайджан старался избегать участия в любых интеграционных проектах, которые могли ограничить его политический или экономический суверенитет, предпочитая формировать отношения на двустороннем уровне. Так, Азербайджан предпочел свести до минимума участие в программе ЕС «Восточное партнерство», а также не вступил в ЕАЭС.

При этом Азербайджан в 2011 г. вступил в Движение неприсоединения¹. Вторая по численности международная организация в мире, с некоторыми членами которой до вступления в нее Азербайджан не имел дипломатических отношений, признала территориальную целостность Азербайджана². В настоящий момент Азербайджан является председателем этой организации до 2022 г.³

Азербайджанская государственная нефтяная компания *SOCAR* является крупнейшим инвестором в Турции и Грузии. Благодаря строительству Трансанатолийского трубопровода (*TANAP*), который проходит через всю территорию Турции, и Трансадриатического трубопровода (*TAP*), проходящего через Грецию, Албанию и Италию с ответвлением в Болгарию, Азербайджан получил выход на рынки Юго-Восточной Европы. Конец 2020 г. для Азербайджана ознаменовался началом экспорта природного газа по газопроводу *TAP*⁴. Реализация региональных энергетических и транспортных проектов способствует увеличению потенциала Азербайджана и гарантирует диверсификацию внешнеполитических связей.

Военное разрешение Нагорно-Карабахского конфликта

Надежды на разрешение конфликта у Азербайджана вновь появились после «бархатной революции» в Армении, начавшейся с массовых протестов в городе Гюмри 13 апреля 2018 г. Возглавлял народное движение журналист Н. Пашинян, который, получив широкую поддержку от народа Армении, сумел прийти к власти. Нового премьера отличало то, что он не имел связей с Карабахской группой, лидерами которой являлись второй и третий президенты Армении Р. Кочарян и С. Саргсян. Однако вскоре азербайджанскими властями ряд действий и выступлений Н. Пашиняна (участие в инаугурации президента А. Аратюняна в Шуше, а также заявление в том же городе о том, что «Карабах – это Армения» и скандирование «Миацум»⁵) стали расцениваться как провокационные. Очередное обострение ситуации произошло на этот раз на армяно-азербайджанской границе, начавшееся 12 июля 2020 г. и продолжавшееся несколько дней. Всего с обеих сторон погибло 16 человек. События на границе получили широкий резонанс

1 Аббасов, Ш. Азербайджан: выбирая между НАТО и Движением неприсоединения? // Inosmi.ru. 4 июля 2011. [Электронный ресурс]. URL: <https://inosmi.ru/caucasus/20110704/171581861.html> (дата обращения: 07.01.2021).

2 Движение неприсоединения выступило за урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана // Вести Кавказа. 10 мая 2012. [Электронный ресурс]. URL: <https://vestikavkaza.ru/news/57611.html> (дата обращения: 07.01.2021).

3 Речь Ильхама Алиева на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения // Президент Азербайджана. [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.president.az/articles/34600> (дата обращения: 06.01.2021).

4 Начались коммерческие поставки газа из Азербайджана в Европу // Финмаркет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.finmarket.ru/news/5387073> (дата обращения: 06.01.2021).

5 Атанесян, Г. «Когда все недовольны». Почему Никол Пашинян не стал армянским Манделой // Би-би-си. 1 декабря 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bbc.com/russian/features-55139899> (дата обращения: 22.12.2020).

в столице Азербайджана Баку, где, несмотря на введенный по причине коронавируса карантин, 15 июля прошел несанкционированный митинг в поддержку армии и с требованием провести мобилизацию¹.

Пик конфронтации, перешедшей в полномасштабную войну, пришелся на 27 сентября 2020 г. В результате длившихся в течение 44 дней военных действий азербайджанской армии удалось восстановить контроль над рядом районов. Важным событием стало занятие города Шуши 8 ноября 2020 г., после чего в ночь с 9-го по 10-е ноября было подписано соглашение о прекращении огня, введении российских миротворцев параллельно с выводом армянских вооруженных сил из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, об обмене военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших, обеспечении возвращения вынужденных переселенцев и беженцев, восстановлении всех экономических и транспортных связей в регионе².

Занятие Азербайджаном семи районов и части Нагорного Карабаха, включая Шушу, стало весьма значимым событием, что позволило коренным образом изменить сложившийся годами невыгодный статус-кво³. Президент И. Алиев заявил, что военная стадия разрешения конфликта завершилась, теперь начинается политическая стадия⁴.

Несмотря на многолетнюю вражду, в интересах Азербайджана – видеть Армению в качестве экономического партнера и сотрудничать с этим государством в регионе. В этом же заинтересованы Россия и Турция. По окончании «44-х дневной войны» в регионе сформировалась новая геополитическая и геоэкономическая реальность. Азербайджан получит транспортный коридор через территорию Армении с Нахичеванью. В свою очередь, Армения через территорию Азербайджана получит прямое железнодорожное сообщение с Россией. Вместе Азербайджан и Армения могут обеспечить кратчайшие пути к средиземноморским портам Турции, а реконструкция и строительство автомобильных дорог соединит Армению с Турцией и Азербайджаном, создаст новый транспортный регион.

Заключение

В статье проанализировано, каким образом Азербайджан превратился в регионального игрока, который сумел изменить невыгодный для себя статус-кво. Первые тридцать лет с момента независимости Азербайджан посвятил разрешению оставшихся в наследство от Советского Союза проблем. За 30 лет он превратился в активного инициатора и участника ряда энергетических и транспортных проектов. Азербайджану удалось связать страны бассейнов Адриатического и Черного морей с Южным Кавказом. Активно проходит сотрудничество посред-

1 Протесты в Баку: тысячи азербайджанцев устроили акцию в поддержку армии // BBC. 15 июля 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bbc.com/russian/media-53421189> (дата обращения: 25.12.2020).

2 «Это военная капитуляция Армении», – обращение президента Алиева к нации // Sputniknews.ru. 10 ноября 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://az.sputniknews.ru/azerbaijan/20201110/425428253/Segodnya-istoricheskiy-den-dlya-Azerbaydzhana-prezident-Aliev.html> (дата обращения: 26.12.2020).

3 Маркедонов, С. Карабах: мирный процесс в условиях нового статус-кво // Sputnik. 13 январь 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.armeniasputnik.am/analytics/20210113/26082821/Karabakh-mirnyy-protsess-v-usloviyakh-novogo-status-kvo.html?fbclid=IwAR0-KSQa1hpdY2aGpr-8umlDgRXWU9y_Zc3SwjypjwoGM-DQd93OgD1XPzM (дата обращения: 26.12.2020).

4 "İlham Əliyev xalqa mürciət edib (İlham Aliyev Addressed the Nation)," YouTube, November 10, 2020, accessed December 25, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=KJyYfXgAlv8Y>.

ством Транскаспийского транспортного коридора со странами Центральной Азии. При этом можно заметить, что статус «средней силы» для Азербайджана не ограничивается лишь геоэкономической сферой: переломным событием, являющимся подтверждением данной гипотезы, оказывается то, что Азербайджану удалось радикально изменить ситуацию в Нагорном Карабахе.

2 февраля 2021 г. в стране была принята новая государственная программа «Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию: Азербайджан – 2030». Эта программа включает в себя следующие приоритеты: устойчиво развивающаяся конкурентоспособная экономика, формирование динамичного, инклюзивного и основанного на социальной справедливости общества, развитие человеческого капитала и пространства для инноваций, обеспечение возвращения беженцев на освобожденные территории, защита окружающей среды, а также обеспечение «зеленого роста» с использованием альтернативных энергетических источников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Cowards, Tom. "Defining the Category of 'Small' States." *Journal of International Development* 14, (2002): 143–179.

East, Maurice A. "Size and Foreign Policy Behavior: A Test of Two Models." *World Politics* 25, no. 4 (July 18, 1973): 556–76.

Ibrahimov, Rovshan. *EU External Policy Towards the South Caucasus: How far is it From Realization?* Baku: SAM, 2013.

Ibrahimov, Rovshan. "Turkish-Azerbaijani Energy Relations: Significant Leverage in the Implementation of the Foreign Policy Interests of Both Countries." *Insight Turkey* 17, no. 2 (2015): 83–100.

Kurt, Ümit and Coşkun B. Balamir. "History vs. Geopolitics: an Overview of Turkish-Armenian Relations in the 2000s." *Turkish Review* 3, no. 3 (May–June 2013): 244–251.

Vidmar, Jure. "Confining New International Borders in the Practice of Post-1990 State Creations." *Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 2010. https://www.zaoerv.de/70_2010/70_2010_2_a_319_356.pdf.

Vital, David. "The Inequality of the States: A study of Small Power in International Relations." In *Small States in International Relations*, edited by J. Beyer et al. Seattle: University of Washington Press, 2006.

Wood, Bernard. "Middle Powers in the International System: A Preliminary Assessment of Potential." In *Wider Working Papers*, 5–7. Ottawa: The North-South Institute, 1987.

Holmes, John. "Is There a Future for Middlepowermanship?" In *The Better Part of Valour: Essays on Canadian Diplomacy*, edited by J. Holmes. Charlottesville, VA: The University of Virginia, 1970.

Сведения об авторе

Ровшан Фаиг оглы Ибрагимов,
профессор Университета регионоведения Хангук, Сеул,
Южная Корея,
107 Imun-ro, Imun-dong, Dongdaemun-gu.
e-mail: rovshanibrahimov@gmail.com

Дополнительная информация

Поступила в редакцию: 1 марта 2021.

Переработана: 20 мая 2021.

Принята к публикации: 9 июля 2021.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Сведения о финансировании

Работа выполнена при поддержке Исследовательского фонда Ханкукского университета
регионоведения в 2021 г.

Цитирование

Ибрагимов, Р.Ф. Азербайджан: укрепление «малой силы» или переходный период в становлении
«средней»? // Международная аналитика. – 2021. – Том 12 (2). – С. 170–181.
<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-170-181>

Azerbaijan: From Small to Middle Regional Power?

ABSTRACT

The article gives a general overview of the main factors influencing the formation of Azerbaijan's foreign policy, as well as analyzes how these factors have changed since Azerbaijan's independence until 2021.

The conclusion is made that the existence of the Nagorno-Karabakh conflict has been a key factor in the formation of the political and economic system of the country, as well as the consciousness and perception of the world by its citizens. Since independence, Azerbaijan's main objective has been to change the regional status quo, as well as to regain military and political control over Nagorno-Karabakh. In the theoretical part of the article, the author considers two categories of statehood: small and medium power. The established definition of small and medium power says that the main criteria of their difference lies in the size of the economy, the number of armed forces, as well as in the criterion of the "will" of the peoples to solve extraordinary foreign policy tasks. The author believes that the consolidation of the country's available capabilities made it possible not only to achieve the goal of territorial integrity, but also to move Azerbaijan from the category of a small to a medium power.

Azerbaijan deliberately moved to the rank of a medium power: through the development of regional ties and energy diplomacy, as well as through the isolation of Armenia. As a result, Azerbaijan's seizure of seven districts and part of Nagorno-Karabakh, including Shusha, was a significant event that allowed the country to fundamentally change the unfavorable status quo that had prevailed for years.

KEYWORDS

Small Power, Middle Power, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, Heydar Aliyev, Ilham Aliyev, energy resources

Author

Rovshan Ibragimov,

Professor, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, South Korea,
107 Imun-ro, Imun-dong, Dongdaemun-gu.

e-mail: rovshanibrahimov@gmail.com

Additional information

Received: March 1, 2021. Revised: May 20, 2021. Accepted: July 9, 2021.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author.

Funding

This work was supported by Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of 2021.

For citation

Ibrahimov, Rovshan F. "Azerbaijan: From Small to Regional Power?" *Journal of International Analytics* 12, no. 2 (2021): 170–181.

<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-170-181>

Эволюция и внутренняя логика международных отношений Киргизии периода независимости

Илья Владимирович Подобед, НИУ ВШЭ, Москва, Россия

Контактный адрес: iiliapodobed@yahoo.com

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется положение Киргизии в системе международных отношений и ее внешняя политика в контексте устоявшейся в стране после распада СССР социальной структуры, динамики социально-экономического развития, а также электоральных процессов.

Эволюция международных отношений Киргизии рассматривается как производная от социально-экономических макропроцессов, развивающихся в республике на протяжении последних трех десятилетий. В данной статье сделана попытка совместить исследования внутриполитических процессов в Киргизии с их ролью в формировании внешнеполитических приоритетов страны. В условиях существования разветвленной клановой системы и хрупкости центральной власти сложно говорить о возможности ведения внутренне непротиворечивой международной политики. Внешнеполитическая активность Киргизии направлена прежде всего на поддержание определенного баланса в отношениях с крупными игроками в регионе с целью создания максимально благоприятных условий для трудовой миграции, получения финансовой помощи и транзитной торговли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Киргизия, Центральная Азия, постсоветское пространство, внутренняя политика Киргизии, социально-экономическое положение Киргизии

Памяти Сергея Ивановича Масаулова

При изучении международных отношений современной Киргизии отчетливо заметна двойственность ее положения. С одной стороны, среди бывших советских республик сложно найти страну, чья активность была бы в меньшей степени направлена вовне, с другой – невозможно не отметить невероятно сильную зависимость внутривнутриполитических процессов Киргизии от политики крупных игроков в регионе. Киргизия на протяжении последних 30 лет представляет собой пространство столкновения интересов внешнеполитических акторов.

Поскольку целью данной статьи является рассмотрение международных отношений Киргизии в контексте ее политического и социально-экономического развития, автор особое внимание уделяет двум группам работ. В первую группу входят исследования социальных, политических и экономических процессов внутри страны: к такому типу относятся работы К. Базарбаева и Б. Жумагулова, Г.Ю. Ситнянского, С.М. Абрамзона, В.М. Касымовой, отчасти С.Н. Абашина¹. Вторую группу составляют исследования по международным отношениям в регионе. Зачастую подобные исследования сосредоточены в основном на участии Киргизии в формальных международных объединениях без анализа социально-экономической специфики, влияющей на внешнеполитическую повестку страны, однако в работах А.Д. Богатурова, А.А. Князева, А.А. Казанцева, С.К. Аламанова и В. Богатырева² удалось учесть в той или иной степени и упомянутые выше факторы.

Отдельную роль для исследования играют также работы И.В. Задорина и И.В. Подобеда, А.Н. Медушевского³, которые вписывают внутренние процессы (языковые и законотворческие) в Киргизии в общий постсоветский контекст, не касаясь непосредственно сферы международных отношений. При этом важно отметить, что большое количество качественных статистических данных по Киргизии собирается специализированными западными фондами и исследовательскими центрами. Такие организации, как Международный республиканский институт (IRI), Всемирный банк, ООН, Институт овощных и декоративных культур имени Лейбница, дочерние организации Фонда Ага Хана, предоставляют данные социально-экономического характера системно, а по ряду вопросов проводят ежегодные панельные исследования. Значительная часть собираемых данных остается в закрытом доступе, однако в агрегированном виде они становятся доступны в рамках докладов. Большой интерес для данного исследования представляют результаты опросов общественного мнения Международного республиканского института (IRI) и отчет ОБСЕ о событиях на юге Киргизии в 2010 г⁴.

1 Базарбаев, Жумагулов 2012; Ситнянский 2007; Абрамзон 1990; Абашин 2011; 2015; Касымова 2014.

2 Богатуров 2011; Князев 2003; Казанцев 2009; Аламанов 2018; Богатырев 2012.

3 Задорин, Подобед 2020; Медушевский 2018.

4 "New Kyrgyzstan Poll: February 2019," IRI, May 19, 2020, accessed July 20, 2021, https://www.iri.org/sites/default/files/february_2019_kyrgyzstan_poll.pdf; Отчет международной Независимой комиссии по исследованию событий на юге Кыргызстана в июне 2010 года // Kyrgyzstan Inquiry Commission/ Архив Интернета. [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20190226214123/https://www.fergananews.com/archive/2011/kic_report_russian_final.pdf (дата обращения: 20.07.2021).

Влияние географического фактора на социальную структуру и характер политических процессов в Киргизии

В 1985 г. И. Валлерстайн представил эссе «Существует ли Индия?»¹, в котором выдвинул три тезиса, концептуально применимых к истории не только Индии, но и любого современного государства: современные государства являются порождением современной мир-системы (сложной системы политических и экономических связей), древняя история государств создается самими этими государствами с целью традиционной легитимации их существования, и хотя современные государства существуют в данный момент, но это совершенно не означает, что их существование в будущем предопределено.

В этом контексте можно утверждать, что современная Средняя Азия как единый регион является во многом продуктом самой недавней, прежде всего советской, истории. Если рассматривать Среднюю Азию в большем временном охвате, то этот регион можно разделить на два субрегиона по Тянь-Шаню: север исторически характеризовался преимущественно кочевым населением за исключением региона Семиречья, практически полным отсутствием городов, основанных до активного проникновения русских, отсутствием государственных образований с развитым бюрократическим аппаратом, тогда как на юге преобладали древние города, социальная структура которых сложилась в условиях средневековых монархий, схожих по своим характерным особенностям с описанными К. Витфогелем² аквадеспотиями с преимущественно оседлым населением и сравнительно развитыми бюрократическими аппаратами. Большинство городов севера строились имперской или советской администрацией по европейским градостроительным стандартам, которые самим типом застройки порождали анонимные блазированные сообщества, на свойства которых указывал еще классик теории урбанистики Г. Зиммель³: несоразмерность города его обитателям, нервозность жизни, возможность сосуществования на ограниченной площади значительного числа «атомизированных» жителей, тогда как социальная структура средневековых городов юга Средней Азии предполагает более плотное взаимодействие между жителями города в рамках махалли⁴.

Цивилизационная особенность Киргизии заключается в ее расположении и одновременной принадлежности к двум выделенным субрегионам: северная часть страны, включающая в себя столицу Бишкек, Чуйскую, Таласскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области, относится к северному субрегиону и характеризуется в настоящий момент более высоким уровнем развития промышленного производства, сравнительно высоким уровнем развития третичного сектора экономики, широким распространением русского языка (до сих пор именно русские являются основным меньшинством севера страны). Южная часть страны включает в себя город Ош, Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области, здесь преобладает аграрное хозяйство, широта использования русского языка гораздо ниже (причем разницу можно характеризовать как качественную, так

1 Wallerstein 2001.

2 Wittfogel 1981.

3 Simmel 2012.

4 Абашин 2015; 2011.

как на юге Киргизии отсутствует, в отличие от севера и особенно Бишкека, русская языковая среда)¹, а главным меньшинством являются узбеки; до сих пор многие районы Оша, Джалал-Абада, Узгена и других городов организованы по принципам махалли, а уровень религиозности населения на юге значительно выше, чем на севере. Этот фактор, наряду с уровнем развития, сельским характером населения, незавершенностью процессов демографических переходов в большей степени на юге, чем на севере, порождает и повышенную фертильность в южных регионах².

Различия между севером и югом страны нельзя сводить исключительно к перечислению формальных характеристик: до 1964 г. южная и северная части страны не были соединены дорогой, то есть даже логистически они не составляли единого целого; до включения в состав Российской Империи южные и северные киргизы не жили в одном государстве (южные племена входили в состав Кокандского ханства, а их элиты были плотно вовлечены в политическую жизнь ханства, тогда как северные существовали, периодически признавая вассалитет перед Кокандским ханством, в условиях безгосударственного племенного общества³), а на бытовом уровне до настоящего времени существуют значительные сложности в понимании северянами южных диалектов (но за счет активной репликации северного варианта киргизского языка через школу и СМИ – не наоборот), представители юга и севера страны нередко проявляют неприязнь друг к другу по региональному признаку, что привело к введению в Уголовный кодекс страны статей, карающих за разжигание розни, в том числе межрегиональной.

По численности населения южная и северная части Киргизии сопоставимы: на момент распада СССР в южной части страны проживало почти 47% ее населения, тогда как на севере – 53%, при этом за последующие двадцать лет, к 2009 г., доля населения юга выросла до 50,2%, а северной – упала ниже половины. При этом необходимо учитывать, что массово мигрирующие южане составляют значительную долю прироста на севере, что в перспективе ближайшего десятилетия окончательно утвердит устойчивый перевес в пользу юга. Переезжающие выходцы из южных областей зачастую сохраняют как ценностную картину и уровень религиозности, характерные для жителя юга, так и электоральную приверженность южным кандидатам.

Разделение на северную и южную части страны является основным (но не единственным) фактором значительной части политических процессов, включая основные электоральные процессы, а практически полный паритет в численности населения, сохраняющийся три последних десятилетия, и определял во многом необходимость поиска баланса между элитами юга и севера страны. Вероятно, в условиях серьезного перевеса одной из частей страны ее политический ландшафт был бы принципиально иным.

Истоки своеобразного демократического дизайна Киргизии следует искать не только в географических и демографических условиях, но и в деятельности архитекторов ее политической системы: «Легендарного парламента» – 12-го со-

1 Задорин, Подобед 2020.

2 Вишневский 1976.

3 Абрамзон 1990.

зыка Верховного Совета Киргизской ССР, осуществлявшего свои функции с 1990 по 1995 г., и первого президента А. Акаева. Невозможно не отметить влияние на идейную составляющую деятельности парламента и президента в этот период демократических идей Съездов народных депутатов СССР. Достаточно сказать, что сам президент А. Акаев идентифицировал себя как сподвижника академика А.Д. Сахарова. При этом то, что зачастую произносилось в Москве на Съездах народных депутатов неискренне, в контексте борьбы за власть, в Киргизии целиком и полностью принималось как непреложная истина и закладывалось в качестве принципов создаваемого государства. Государство изначально по своему институциональному дизайну планировалось демократическим и компактным, причем для его функционирования в таком состоянии не требовалось даже буквы закона – значительный объем законодательства, регулирующего, например, функционирование партий, появился лишь на излете 1990-х гг.¹

Спектр возможных сценариев развития к моменту получения независимости был для Киргизии, вероятно, максимально широким среди всех стран Средней Азии, и приход к власти одного из самых образованных президентов постсоветского пространства, получившего высшее образование в одном из лучших учебных заведений РСФСР в сфере точных наук – в ЛИТМО – и позднее получившего ученую степень доктора физико-математических наук в МИФИ в 1980 г., в значительной мере определил дальнейшее развитие Киргизии по демократическому пути. Уже после избрания президентом в 1990 г. А. Акаев оказался безальтернативным главой государства с четким видением развития страны, тогда как его оппоненты либо обладали меньшей поддержкой, либо, как в случае А. Масалиева или Б. Осмонова, поддержка концентрировалась лишь в ограниченной части населения страны. Это позволило ему в течение 1990-х гг. создать институциональный каркас задуманной им демократической системы, которая легла на почву специфических социальных условий аграрной страны (предпоследней советской республики по доле городского населения), что создало особые правила электорального поведения, политической борьбы и укрепило ряд политических размежеваний.

Политико-электоральные размежевания в Киргизии

В независимой Киргизии сформировались крайне специфические (впрочем, достаточно характерные для «незападного политического процесса», описанного в одноименной работе Л. Пая²) паттерны поведения избирателей и внутриэлитные размежевания, без которых сложно понять специфику работы иностранных акторов в Киргизии. Основным размежеванием, существующим с 1990-х гг. по настоящее время, которое переживает процесс крайне медленного выравнивания, является уже в значительной мере описанное выше размежевание между севером и югом. Крайне показательны для его иллюстрации и связанного электорального поведения стали выборы президента республики в 1995 г., когда в результате главными противниками стали действующий на тот момент прези-

1 Базарбаев, Жумагулов 2012.

2 Пье 1958.

дент – северянин А. Акаев, набравший чуть менее 72% голосов, и бывший председатель Верховного Совета Киргизской ССР А. Масалиев, набравший чуть более 24% голосов. Несмотря на то что оба кандидата по пять лет в различные периоды возглавляли страну и теоретически избиратель обладал полнотой информации для совершения осознанного выбора, что должно было повлечь достаточно равномерное распределение голосов за каждого кандидата по регионам страны, реальные итоги показали, что региональный фактор оказывает очень мощное влияние на электоральное поведение граждан страны. Если на севере А. Акаев набрал по разным областям от 84 до 97% голосов, то на юге – от 50 до 61%. Разница средних значений южных и северных регионов, рассчитанная по формуле среднего эффекта воздействия (*Average Treatment Effect*), показывает, что не менее 33% голосов достались А. Акаеву именно из-за региональной принадлежности на севере. Разделение на север и юг до сих пор сильно влияет как на результаты президентских выборов, где видна неравномерность распределения голосов за тех или иных кандидатов в зависимости от их происхождения, так и на парламентских, где в 1990–2000-е гг. все основные партии можно было охарактеризовать как «южные» или как «северные». Лишь в начале 2010-х гг. стала заметна тенденция к появлению «синтетических» альянсов южных и северных партий (вероятно, самыми яркими примерами здесь будут альянс северной «Республики» и преимущественно южной «Ата-Журт», появившийся перед выборами 2015 г., и ряд партий последнего электорального цикла 2020), а также появление кандидатов, которые воспринимались как «свои» и на юге, и на севере – к таким можно отнести А. Атамбаева, который, будучи выходцем с севера, принадлежит к южному крылу *ичкилик*, и действующего президента С. Жапарова, который в своей риторике апеллирует к общенациональной идее.

Упомянутое выше племенное деление является не просто очередным этнологическим фактом – родоплеменное деление в преимущественно аграрной Киргизии, проходящей путь серьезной социальной деградации и – в относительных цифрах – деурбанизации, приблизительно с середины 2000-х гг. стало еще одним объектом социальной реальности. На протяжении советского периода племенные структуры продолжали свое существование, значительная часть внутрипартийной и номенклатурной борьбы в это время велась между кланами, сложенными по племенному принципу¹, однако в 1990-е и начале 2000-х гг. активность внутриплеменных процессов можно охарактеризовать как не очень высокую, так как целые сегменты населения крупных городов выпали из данной системы. После «тюльпановой революции» 2005 г. на фоне неспособности государства исполнять свои основные функции и разгула криминалитета внутриплеменные процессы активизировались: все племена (собственно, самоназвание киргизов содержит отсылку к сорока племенам, составляющим киргизский народ) провели курултай, налаживая горизонтальные связи². Подобная реарханизация, произошедшая в 2000-е гг., затронула не самые широкие слои населения, однако в значительной степени – элитные группы, многие представители кото-

1 Ситнянский 2007.

2 Сариев, М. Киргизия: родили племя? // ЭкспертOnline. [Электронный ресурс]. URL: https://expert.ru/russian_reporter/2010/14/sariev/ (дата обращения: 20.07.2021).

рых получили в руки новый инструмент осмысления социальной реальности через исконно киргизское родоплеменное восприятие. Сама племенная система состоит из крыльев (*канат*), племен и родов, которые достаточно строго иерархизированы относительно друг друга. При этом система племен не всегда соответствует региональному разрезу: некоторые племена проживают и на юге, и на севере (яркий пример – племя *саруу*), что ситуативно может порождать дополнительные конфликты лояльностей тех или иных избирателей.

Третьим уровнем размежевания является система патронажных групп, или кланов, представляющая собой систему спайки элитных групп, связанных родовыми или дружескими связями, которые включают в себя политические группы, бизнес-группы и (нередко) криминальные структуры, и крупных групп сельского электората, голосующих за земляка в обмен на прямой подкуп избирателей и обещания реализации тех или иных инфраструктурных проектов в данном «доме» районе¹.

Без понимания такой структуры размежеваний невозможно понять характер политических процессов в Киргизии. Необходимо отметить, что киргизские политические элиты в целом ряде плоскостей разделены на достаточно мелкие группировки, созданные на основе родственных и дружеских (которые имеют тенденцию трансформироваться в родственные) связей, при этом число таких групп для Киргизии в условиях уровня развития ее экономики и количества доступных для распределения ренты активов, а также исчезновения фактора постоянной поддержки со стороны союзного бюджета после распада СССР, наполнявшегося преимущественно славянскими республиками, является чрезмерным для страны. Такая ситуация, актуальная и для 1990-х гг., требовала либо организации гибкой системы перераспределения, которая и была реализована в Киргизии, либо жесткого подавления конкурирующих кланов (данный сценарий с теми или иными вариациями был реализован в остальных странах региона² и, вероятно, реализуется в Киргизии сейчас). Таким образом, с одной стороны, демократическая система, созданная в Киргизии и внешне воспроизводящая основные процедуры западных демократических систем, имела несколько иное содержание и была призвана скорее не легитимизировать работу государственных институтов, а дать удобный для всех кланов инструмент регулярной мобилизации зависящих от клана групп населения с целью оценки потенциальной мощи кланов; с другой стороны, такое приспособление институционального дизайна государства под клановую систему создало идеальную среду для репликации и развития клановой системы, а также коррумпирования кланов со стороны иностранных государств и превращения этих кланов в их клиентеллы.

В этом контексте можно утверждать, что суть международных отношений Киргизии сводится к «агентированию» бизнес-интересов отдельных клановых структур. При этом важно понимать, что экономика Киргизии крайне зависима от финансовых потоков международных организаций и отдельных стран, а так-

1 Корсаков, В. «Ичкилик», «сарыбагыш»... Родовая подоплека системы власти в Кыргызстане // Ритм Евразии. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ritmeurasia.org/news--2018-11-01--ichkilik-sarybagysh-rodovajapodopleka-sistemy-vlasti-v-kyrgyzstane-39340> (дата обращения: 20.07.2021).

2 Богатых 2011.

же от денежных переводов трудовых мигрантов, в первую очередь уезжающих в Россию, что предопределяет основные направления международной политики Киргизии.

Встраивание Киргизии в систему международных отношений в 1990-е гг.

Уже с начала 1990-х гг. Киргизия в вопросах международных отношений заняла позицию максимальной открытости: с одной стороны, она охотно входила в основные договоры постсоветских республик с участием России, такие как СНГ или ОДКБ, присвоила русскому языку на уровне конституции статус официального (статус такого уровня или выше русский язык получил лишь в России, Белоруссии и Казахстане); с другой стороны, достаточно активно участвовала в договорах с государствами, ранее не присутствовавшими в регионе: 19 мая 1993 г. Киргизия и США заключили договор, который в обмен на экономическую помощь со стороны США освобождал от пошлин ввоз предметов со стороны неправительственных организаций США, а сотрудники таких организаций получали в стране статус, приравненный к статусу дипломатических работников. Киргизия подписала Договор о вечной дружбе и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой от 24 октября 1997 г., а также активно участвовала в различных организациях международного сотрудничества под эгидой Турции: в Тюркском совете, ТюркСОЙ, ТюркПА и иных организациях¹. Подобная открытость, обусловленная, помимо идеологических позиций, крайне тяжелым социально-экономическим положением страны, привела к широчайшему развитию зарубежных организаций², занимающихся гуманитарной деятельностью, однако нередко исполнявших и иные, в том числе разведывательные функции.

В сфере образования за первые годы существования государства широко утвердилось присутствие турецких лицеев в столице. Помимо государственных вузов возникли турецкие университеты «Манас» и «Ататюрк – Ала-Тоо», а также Американский университет в Центральной Азии, Кыргызско-Российский славянский университет и иные учебные заведения, связанные с иностранными государствами. Широкое распространение в стране получили дочерние организации различных иностранных фондов, которые занимались самой разнообразной гуманитарной деятельностью. В сфере религиозного образования сильную позицию заняли фонды, аффилированные с государствами Персидского залива, Пакистаном, Египтом и др. Период 1990-х гг. в целом для страны характеризовался, помимо роста криминала, проседания большинства секторов экономики и амортизации основных фондов главных предприятий, невероятной открытостью, приходом в страну самых разнообразных сил, чья деятельность развивалась не всегда в позитивном для Киргизии русле.

Подобная открытость привела в страну в том числе и иностранных инвесторов, которые, в отличие от несколько наивных ожиданий киргизских элит, пришли лишь в ограниченное количество секторов экономики и в ограничен-

1 Богатырев 2012.

2 Казанцев 2009.

ное количество регионов. Так, особый интерес иностранные компании проявляли к горнорудной промышленности, что вылилось в крупнейшую сделку, которая была заключена в 1992 г. между правительством Киргизии и канадской компанией *Cameco* по разработке открытого в 1978 г. крупного золотого месторождения Кумтор. В качестве оператора месторождения в Канаде была создана корпорация *Centerra Gold*, 26% акций которой по соглашению были переданы Киргизии, ставшей крупнейшим акционером предприятия. По состоянию на 2019 г. доля Кумтора в ВВП Киргизии составила 9,8%. Помимо Кумтора иностранные компании в более поздние годы вошли в разработку иных месторождений.

1990-е гг., несмотря на социально-экономическую нестабильность, можно характеризовать как эпоху определенного консенсуса в киргизском обществе. С одной стороны, А. Акаев пользовался как среди элит, так и среди широких слоев населения высоким личным авторитетом, а с другой стороны, он эффективно балансировал между различными кланами, устраивая тем самым все стороны. Однако на рубеже 1990–2000-х гг. наметилась трансформация режима в Киргизии. Данный процесс был связан с двумя комплексами причин: с общим ухудшением обстановки в регионе – в 1999 г. на юг страны вторглись с территории Таджикистана формирования Исламского движения Узбекистана, стремившиеся попасть на территорию узбекской части Ферганской долины через территорию Киргизии (так называемые Баткенские события), а в 2001 г. началось вторжение в Афганистан международных сил – и с разрушением консенсуса в киргизском обществе по вопросу доверия к А. Акаеву после подписания в 1999 г. второго договора о делимитации границ с Китаем (первый договор был подписан в 1996 г. и не вызвал подобного резонанса). Именно с этого момента против А. Акаева начинает складываться оппозиционный блок, который окончательно формируется после Аксыйских событий в 2002 г.: тогда в январе был задержан один из главных противников подписания договора с Китаем А. Бекназаров, а в марте того же года во время судебного процесса над ним сторонники Бекназарова в знак протеста перекрыли трассу Бишкек – Ош в родной для Бекназарова Джалал-Абадской области¹. Сотрудники милиции по приказу президента открыли по митингующим огонь на поражение, что привело к эскалации конфликта, который удалось погасить властям с большим трудом.

Во внутренней политике начиная с 2000 г. действия окружения А. Акаева (и в меньшей степени – его самого) претерпевают заметные изменения. С одной стороны, члены семьи и окружение президента создают довольно активную концентрацию важных активов в своих руках, что нередко происходит через корпоративные конфликты с участием миноритарных акционеров, шантаж или прямой рейдерский захват; с другой стороны – ряд противников А. Акаева начинает подвергаться преследованиям, самые громкие случаи: дело против упомянутого выше А. Бекназарова и фабрикация по политическим мотивам дела против крайне популярного северного политика – генерала Ф. Кулова.

1 Ситнянский 2007, 6–7.

Трансформационно-революционный период в Киргизии (2000–2011)

Изменение ситуации в регионе в целом не только бросало Киргизии вызовы в виде Баткенских событий или увеличения объемов ввоза опиатов с территорий Афганистана¹, выросших после начала операции коалиционных сил, но и делало Киргизию необходимой для логистического обеспечения операции в Афганистане. В декабре 2001 г. на территории Киргизии была организована авиабаза «Манас», ставшая ключевым логистическим хабом для операции «Не-сокрушимая сила».

Размещение базы международной коалиции не означало перехода Киргизии в сферу влияния США и НАТО, в первую очередь руководство Киргизии приняло решение о допуске на территорию страны данной авиабазы из соображений региональной безопасности (безусловно, это решение принималось в контексте Баткенских событий). Возрастание террористической угрозы и приход в регион сил НАТО беспокоили руководство России, и в 2003 г. между Российской Федерацией и Киргизией было подписано соглашение о размещении российской авиабазы «Кант». Таким образом, в период с 2003 по 2014 г. на территории Киргизии сосуществовали российская база и база стран НАТО.

Определенная независимость Киргизии, не декларативно, а вполне реально стоявшей на позициях открытости, по не самым ясным причинам не устраивала руководство США, которое, если доверять словам жены А. Акаева М. Акаевой, в конце 2004 г. одобрило предложение посла США в Киргизии С. Янга о свержении А. Акаева². Вне зависимости от реальности данного решения, перед выборами 2005 г. А. Акаев столкнулся с беспрецедентным давлением: в газете «МСН», выступавшей главным рупором противников А. Акаева, был напечатан так называемый «Танаевский протокол» – стенограмма заседания в кабинете премьер-министра Н. Танаева, на котором были даны указания по физическому устранению ряда оппозиционеров³. Сам характер стенограммы, а также отсутствие позднейшего расследования заставляют усомниться в подлинности текста. Одновременно с этим посол США С. Янг открыто объезжал регионы страны, проводя встречи не только с лидерами оппозиции, но и с акимами областей⁴, а в столице произошло покушение на Р. Отунбаеву, характер которого, а также отсутствие результатов позднейшего расследования по данному делу заставляют сомневаться в том, что покушение не было инсценировано⁵.

В период «тюльпановой революции» по столице прокатилась волна мародерств, за пределами Бишкека рейдерские группы захватывали различные объекты, в том числе зарубежных компаний, а самоорганизованные группы граждан – земельные участки таких же простых жителей. Слабая укорененность самого понятия «частная собственность» в киргизском обществе, а также неспо-

1 Князев 2003.

2 Ужин с донесением // Российская газета. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2014/11/07/akaev.html> (дата обращения: 20.07.2021).

3 Власть готовится к войне // МСН. 2005. [Электронный ресурс]. URL: <http://kyrgyzby.narod.ru/archive/2005/newyear.htm> (дата обращения: 20.07.2021).

4 США готовятся к выборам в Киргизстане? // Дело № 2005. № 1. С. 3.

5 Взрыв на балконе // Дело № 2005. № 9. С. 5.

способность государства защитить ее (судебное разбирательство по акциям газеты «Вечерний Бишкек», которая была захвачена сыном А. Акаева в 2000 г., было завершено в 2019 г. после пяти лет тяжб, а дело отеля «Ак-Кеме» («Пинара») было решено в 2017 г. через 20 лет после начала корпоративного конфликта) привели к полному падению привлекательности Киргизии для тех инвесторов, которые не имели крепких связей с государственными структурами. В то же время в самом киргизском обществе ответом на нестабильность стала настоящая архаизация и усиление роли института племен.

Ослабленный открытой пропагандой А. Акаев в условиях начавшихся в стране волнений принял решение не применять силу, а покинуть свой пост и территорию страны, переехав с семьей в Москву. Пришедший к власти южанин К. Бакиев очень быстро встал на путь построения режима, который был в разы жестче режима последних лет президентства А. Акаева. Помимо борьбы с политическими оппонентами самыми жесткими способами (убийство в Казахстане бывшего главного редактора «Комсомольской правды» в Киргизии Г. Павлюка, убийство с последующей инсценировкой ДТП бывшего члена Совета безопасности М. Садыркулова и бывшего главы главного киргизского аналитического центра МИСИ С. Слепченко, покушение на журналиста С. Абдылдаева и другие случаи) семья К. Бакиева активно концентрировала в своих руках собственность, занимаясь приватизацией государственных компаний и рейдерским захватом имущества, в том числе иностранного (так, российских владельцев заставили продать М. Бакиеву, сыну К. Бакиева, крупнейшего сотового оператора республики *MegaCom*), а в 2009 г. задумала крайне амбициозный проект создания ЦАРИИ (Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям) – единого оператора всех неадресных инвестиций. Главой ЦАРИИ стал М. Бакиев, что крайне обеспокоило западные страны. Совершенно очевидно, что в такой ситуации ни о каком учете интересов иных кланов речь не шла.

Первые годы президентства К. Бакиева пришлось на период роста мировой экономики и цен на различные ресурсы, в частности на золото, период активной глобализации, и режим попытался максимально активно участвовать в мировой политике. С одной стороны, за достаточно короткий срок в стране произошла череда шпионских скандалов: в 2007 г. Ж. Арыкова была обвинена в государственной измене (это было первое в истории страны правоприменение данной статьи) за передачу сведений гражданину Китая, а в 2008 г. четверо офицеров ГКНБ и министерства обороны Киргизии были осуждены на различные сроки за шпионаж в пользу России, что осложнило отношения Бишкека с Москвой и Пекином; с другой стороны, в этот же период К. Бакиев и его окружение активно начали вступать в контакты с политическими элитами США и ЕС.

Угроза физического выживания недопущенных до распределения ренты членов иных кланов сплотила клановые, племенные и региональные элиты, при этом политический протест накладывался на крайне тяжелые социально-экономические условия, которые сложились после мирового кризиса 2008 г., и сопровождался вмешательством западных структур. 17 марта 2010 г. в Бишкеке прошел оппозиционный курултай (отметим, что именно после революции 2005 г. и последовавшей архаизации это слово вошло в широкий оборот в стране), требовавший снижения цен на услуги ЖКХ, а 23 марта прошел пробакиевский

Курултай Согласия, на котором было озвучено предложение перейти к ханской форме правления с закреплением данной формы в Конституции. Раскол общества и угроза физической расправы для любых несогласных привели к тому, что 6 апреля, когда в Таласе был задержан Б. Шерниязов, его сторонники осадили здание РОВД и готовились к штурму, что вынудило милиционеров отпустить политика¹, а на следующий день в Бишкеке вооруженные сторонники оппозиционных партий в Бишкеке взяли штурмом здание Жогорку Кенеша². Уже к вечеру было сформировано Временное правительство во главе с Р. Отунбаевой, К. Бакиев бежал на юг страны в родовое село, а позже, не имея поддержки от лидеров южных кланов, покинул страну, получив убежище в Минске.

Свержение лидера-южанина вызвало массовое недовольство на юге, несмотря на отказ поддержки К. Бакиева. Уже в конце апреля в Оше распространялись листовки с требованием федерализации³, а в июне вспыхнул полноценный межэтнический конфликт между киргизами юга и узбеками, в процессе которого в штурме узбекских махаллей в Оше и Джалал-Абаде использовалась бронетехника, захваченная киргизами у военных, 400 тысяч человек оказались перемещены, в том числе 111 тысяч покинули страну⁴.

Перемещение такого количества преимущественно этнических узбеков накалило отношения с Узбекистаном и затронуло проблемы, значительная часть из которых была заложена в период национально-территориального размежевания в СССР⁵. Газ в южную часть Киргизии поставлялся через территорию Узбекистана, что немедленно послужило рычагом в отношениях двух стран со стороны Узбекистана; в свою очередь, в руках Киргизии находилось снабжение водой главной водной артерии Узбекистана – реки Сырдарья. Основная часть стока Сырдарьи формируется в горах Киргизии, а главный сток из реки Нарын плотно регулируется каскадом Нарынских ГЭС⁶. Еще одним вопросом, постоянно поднимавшимся в период обострения отношений Киргизии и Узбекистана, был вопрос делимитации 15% границы. Проблема делимитации состояла в первую очередь в том, что ряд анклавов Узбекистана окружен территорией Киргизии (Сох, Шахмардан, Чох-Кара, Таш-Тепа), а киргизский анклав Барак находится внутри территории Узбекистана⁷. Помимо вопроса об анклавах актуализировался вопрос государственного имущества на приграничных территориях, которое нередко находилось не на территории государства, ведущего операционную деятельность того или иного инфраструктурного объекта. Градус конфликта постоянно повышался и достигал локальных пиков в конце 2013 – начале 2014 г., когда для смягчения напряженности российский «Газпром» выкупил всю газовую инфраструктуру Киргизии, и осенью 2015 – весной 2016 г., когда Киргизия национализировала Орто-Токойское водохранилище в Джалал-Абадской области, в борьбе

1 Что произошло в Таласе? // Дело № 2010. № 13. С. 3.

2 Осажденный Бишкек // Суббота-МСН. 2010. № 14. С. 3.

3 Дело № 2010. № 17. С. 7.

4 Отчет международной Независимой комиссии по исследованию событий на юге Кыргызстана в июне 2010 года // Kyrgyzstan Inquiry Commission / Архив Интернета. [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20190226214123/https://www.fergananews.com/archive/2011/kic_report_russian_final.pdf (дата обращения: 20.07.2021).

5 Martin 2001.

6 Касымова 2014.

7 Аламанов 2018.

за которое Узбекистан готовился применить вооруженные силы. Процесс восстановления нормальных отношений начался лишь после прихода к власти в Узбекистане Ш. Мирзиёева и его встречи в Бишкеке с А. Атамбаевым осенью 2017 г.

Период стабилизации в Киргизии (2010–2020)

После свержения режима К. Бакиева и конца переходного периода, во время которого страна перешла от президентской к премьер-президентской¹ форме правления², к власти пришел северянин из южного крыла *ичкилик* А. Атамбаев.

Киргизия, в силу достаточно специфического склада характера А. Атамбаева и международной конъюнктуры, начала довольно активные, хотя и непоследовательные, действия во внешней политике. С одной стороны, при нем Киргизия стала четко позиционировать себя как союзник России и вступила в ЕАЭС, в 2014 г. с территории страны была выведена авиабаза «Манас», а в 2015 г. был денонсирован договор 1993 г., предоставлявший сотрудникам американских НКО статус, приравненный к статусу дипломатических работников; с другой же стороны, именно по инициативе президента были сорваны переговоры Киргизии и России по завершению создания системы Камбаратинских ГЭС.

Результатом денонсации договора с США 1993 г. стали достаточно серьезные изменения в работе сети НКО в республике. Необходимо отметить, что за 1990-е и 2000-е гг. благодаря действию соглашения 1993 г. в стране широко распространились некоммерческие организации, основные направления деятельности которых были заложены еще в 1990-е гг. Если говорить о западных НКО, то спектр их деятельности включает: 1) сбор информации о социально-экономической динамике в стране; 2) работа в сфере образования, формирования общественного мнения и взаимодействия с институтами гражданского общества; 3) осуществление «поддержки эффективного государственного управления» (*Good Governance & Public Administration Strengthening*). Денонсация договора привела к тому, что около 10 проектов, находившихся к 2015 г. на балансе американской правительственной организации *USAID*, были переданы на баланс британской *DFID* (Британское министерство по развитию). На данный момент именно структуры, контролируемые МИД Соединенного Королевства, являются основными операторами западных НКО³.

Сворачивание западной сети привело к сокращению финансовой поддержки со стороны западных стран и фондов, и именно вопрос поиска источников финансирования стал для Киргизии наиболее острым, что привело к росту задолженности страны.

В период президентства А. Атамбаева активизировался конфликт с Таджикистаном, имевший в своей природе ту же причину, что и конфликт с Узбекистаном – проблемы, заложенные в период национально-территориального размежевания в СССР, а именно неопределенность линии границы и наличие

1 Медушевский 2018.

2 Shugart, Carey 1992.

3 Корсаков, В. Британские неправительственные структуры активничают в Кыргызстане // Ритм Евразии. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ritm Eurasia.org/news--2019-02-09--britanskie-nepravitelstvennye-strukturny-aktivnichajut-v-kyrgyzstane-40984> (дата обращения: 20.07.2021).

анклавов, через которые пролегает часть дорог, связывающих Баткен, столицу Баткенской области, с остальной страной. В целом ситуация с 2015 г. остается очень напряженной, регулярно на границе под обстрел попадают граждане и военнослужащие обеих стран. В конце апреля 2021 г. на границе произошел крупнейший конфликт между странами: пять застав на киргизской стороне попали под обстрел таджикских подразделений, в результате нескольких дней боев с двух сторон погибло более полусотни человек, более 300 были ранены¹. Несмотря на декларации обеих сторон о желании решить конфликт и делимитировать границу, ситуация остается напряженной.

Отношения с Казахстаном на протяжении большей части периода существования в качестве независимых государств были вполне добрососедскими, однако именно на 2010-е гг. пришлось их обострение, связанное с тем, что перед президентскими выборами 2017 г. Н. Назарбаев открыто поддержал проживавшего ранее в Казахстане О. Бабанова – оппонента ставленника А. Атамбаева южанина С. Жээнбекова. Ответ А. Атамбаева породил личный конфликт президентов, который на межгосударственном уровне был решен лишь после отставки А. Атамбаева.

При А. Атамбаеве отношения с КНР перешли в новую плоскость, что выразилось в попытке А. Атамбаева включить Киргизию в логистические структуры программы «Один пояс – один путь». Взятые преимущественно при А. Атамбаеве кредиты под целевое строительство и модернизацию дорог (6 из 9 кредитов) и ряда объектов инфраструктуры легли тягостным бременем на бюджет страны: на конец 2020 г. задолженность Киргизии перед Китаем превышала ее годовой бюджет. Сами проекты изначально были для республики чрезмерно дорогостоящими, при этом в 2020 г. Китай отказался идти на какие-либо уступки по реструктуризации долга, несмотря на то, что члены Парижского клуба списали значительную часть своего долга. На ближайшие годы проблемы, вызванные непомерной долговой нагрузкой, будут во многом определять внутрисполитическую повестку в стране.

Формирование антикитайских настроений произошло еще в конце 1990-х гг. и было связано с подписанием договора о делимитации границы, который стимулировал антиакаевскую оппозицию; эти настроения подкреплялись и в связи с политикой КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, особенно среди религиозной части общества. После подписания договоров о кредитах можно говорить об усилении таких настроений: все договоры предполагали оплату данными кредитами исключительно китайских товаров и услуг, что привело к прибытию в страну значительного числа китайских рабочих на модернизируемые инфраструктурные объекты. Ответом на их появление стало возникновение сначала стихийных, а позже управляемых отдельными политическими силами вигилантистских организаций², в первую очередь организации «Кырк Чоро», которая проводила рейды по предприятиям, на которых работали именно выходцы из КНР, а ее сторонники врываются в развлекательные заведения, где отдыхали китайские граждане.

1 Умаров, Т. Конфликт без посредников. Кто выиграл от войны на границе Киргизии и Таджикистана // Московский центр Карнеги. [Электронный ресурс]. URL: <https://carnegie.ru/commentary/84454> (дата обращения: 20.07.2021).

2 Abrahams 1998.

Принятая на референдуме 2010 г. конституция сильно ослабляла власть президента, собственно, ее целью и было не позволить одному клану сконцентрировать в руках всю полноту власти, как это было при К. Бакиеве, а потому для президентов основной целью политики последних лет стали попытки консолидировать власть. Этот тренд стал очевиден примерно с 2015 г., когда атамбаевская партия СДПК получила в Жогорку Кенеше большинство. За последующие годы в тюрьме оказались около 20 оппонентов А. Атамбаева (в их числе и нынешний президент С. Жапаров).

В 2017 г. в Киргизии произошел транзит власти, результатом которого стало избрание президента С. Жээнбекова, при этом А. Атамбаев планировал сохранить в своих руках всю полноту власти, с этой целью он в 2016 г. провел конституционную реформу, усилившую полномочия Жогорку Кенеша и премьер-министра, должность которого он и занял. Однако уже весной 2018 г. в тандеме произошел раскол, который стал очевиден через год, когда весной 2019 г. С. Жээнбековым был подписан указ об изменении подсудности лиц, которые обладают статусом экс-президента, а позже правоохранительные органы начали расследование уголовного дела против А. Атамбаева о коррупции при принятии решения об освобождении чеченского вора в законе А. Батукаева. Летом 2019 г. спецназ ГКНБ попытался взять штурмом резиденцию А. Атамбаева в селе Кой-Таш, однако штурм закончился пленением шести спецназовцев и гибелью заместителя командира «Альфы», лишь на следующий день А. Атамбаев сдался.

В период правления С. Жээнбекова Киргизии не удалось решить основные задачи, связанные с улучшением социально-экономического положения в стране, а политический авторитет власти оказался крайне низок. С. Жээнбеков пытался консолидировать власть посредством концентрации ключевых постов в разных сферах в руках своих родственников: начиная от должностей в силовых структурах, Жогорку Кенеше и заканчивая Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК). Однако к реальному укреплению власти это не привело: попытки ответить на общественный запрос на социальную справедливость такими инициативами, как цифровизация, провалились, а на скандал вокруг отмыывания нетрудовых доходов клана Матраимовых после публикации документов А. Саймайти власть адекватно отреагировать не смогла¹.

Современный этап (2020 – настоящее время)

Действия правительства С. Жээнбекова в 2020 г. сложно назвать успешными: в период распространения в стране коронавирусной инфекции со стороны государства не была оказана необходимая помощь наиболее уязвимым группам населения, власти во многом самоустранились от решения насущных проблем, и именно в неудачных действиях правительства в этот период многие видят причину его свержения. Хотя сама по себе сложная социально-экономическая ситуация в целом является для Киргизии нормой, однако именно в октябре совпали условия для всплеска возмущения. Первое условие – это попытка С. Жээнбекова перейти к

1 История Айгеркена Саймайти, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан // Настоящее время. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.currenttime.tv/a/kyrgyzstan-money-laundering-investigation/30287045.html> (дата обращения: 20.07.2021).

управляемой модели демократии, когда посредством формально демократических процедур принимается заранее проработанное решение, второе – массовое распространение смартфонов и Интернета в республике: если летом 2015 г. лишь 20% жителей получало информацию о политических процессах из Интернета, то в ноябре 2018 г. – 55%, а к моменту выборов этот показатель, вероятно, вырос еще сильнее. К декабрю 2018 г. лишь 27% населения не использовали Интернет¹. При этом широкое распространение смартфонов позволило заснять значительное число нарушений на выборах. Так, киргизский политик И. Карамушкина заявила на митинге: «Вы же сами всё видели своими глазами, сколько было подвозов, сколько было подкупов. Как после этого можно признать итоги этих выборов?»². Именно на выборах 2020 г. избиратели впервые массово увидели подтасовки, и именно в этом технологическом сдвиге кроется главная причина волнений в октябре 2020 г.

В результате волнений из СИЗО сторонниками были освобождены несколько политических деятелей, включая бывшего президента А. Атамбаева и осужденного в его президентство С. Жапарова, который в результате череды крайне неоднозначных событий смог стать сначала премьер-министром Киргизии, а потом и президентом. С. Жээнбеков подал в отставку.

Уже в ноябре появился проект новой конституции, который вызвал скандал: в метаданных документа автором значился Б. Зулпиев, которого ряд политиков обозначает как «юриста Бакиевых»³. Документ сильно сокращал полномочия Жогорку Кенеша и вводил новый орган с крайне неопределенными полномочиями – Народный Курултай, напоминавший об инициативах времен К. Бакиева, что вызвало слухи о связях С. Жапарова и клана Бакиевых. Дальнейшая кадровая политика лишь подтвердила подобные предположения.

В день проведения президентских выборов в январе 2021 г., на которых президентом был избран С. Жапаров, также был проведен референдум, где форма правления была определена как президентская республика, а на референдуме в апреле был принят уже непосредственно текст новой конституции.

При С. Жапарове, приобретшем поддержку как народный политик среди широких слоев населения посредством прямого контакта в чатах в мессенджерах, которыми он пользовался в тюрьме, тренд на консолидацию власти принял форму борьбы с кланами. Значительное число оппонентов С. Жапарова попали в заключение по делам о коррупции, беспорядках 9 октября 2021 г., когда в центре Бишкека произошли столкновения сторонников С. Жапарова и сторонников А. Атамбаева и О. Бабанова, а также по делу о Кумторе. На данный момент в СИЗО находятся О. Бабанов, вновь задержанный А. Атамбаев, И. Пирманов, А. Сурактамов и ряд других крупных политиков, при этом, например, задержанный Р. Матраимов после уплаты 2 млрд сомов в казну оказался на свободе, как и еще целый ряд политиков и бизнесменов, которые после опроса или допроса в ГКНБ добровольно передали в казну внушительные средства.

1 "New Kyrgyzstan Poll: February 2019," IRI, May 19, 2020, accessed July 20, 2021, https://www.iri.org/sites/default/files/february_2019_kyrgyzstan_poll.pdf.

2 Наблюдатели не увидели причин для массовых волнений после выборов в Киргизии // Взгляд. [Электронный ресурс]. URL: <https://vz.ru/news/2020/10/5/1063656.html> (дата обращения: 20.07.2021).

3 Новый проект Конституции написал юрист Бакиевых Бектур Зулпиев? // Kloop.kg. [Электронный ресурс]. URL: <https://kloop.kg/blog/2020/11/18/novyyj-proekt-konstitutsii-napisal-yurist-bakievyyh-bektur-zulpiev/> (дата обращения: 20.07.2021).

Пока сложно оценить, насколько подобная политика окажется успешной в вопросах консолидации власти и улучшения макропоказателей киргизской экономики. Действия С. Жапарова, направленные на фактическую национализацию Кумтора, а также активность силовых структур по борьбе с конкурентами президента на данный момент привели лишь к значительному снижению прямых инвестиций и к росту оттока капитала¹. Однако пока С. Жапаров обладает достаточно широкой поддержкой, сохранение которой будет зависеть от того, удастся ли повысить уровень жизни в стране.

Заключение

На протяжении всей постсоветской истории Киргизия практически всегда находилась в крайне неустойчивом положении, и если в 2010-е гг. ее внешнеполитическая ориентация стала достаточно определенной, то о векторе ее внутривнутриполитических процессов подобное сказать затруднительно. Несмотря на активные попытки нынешнего президента С. Жапарова консолидировать власть, в связи с крайне тяжелым социально-экономическим положением в стране, ростом радикального ислама и крайне тяжелой проблемой наркотрафика вместе со слабостью государства и демографической победой юга, явно превосходящего север по численности рождаемости, в любой момент можно ожидать дестабилизацию ситуации в стране.

По формальным признакам Россия за последние 10 лет на уровне государственных институтов укрепила свое положение в качестве главного союзника Киргизии, добившись вхождения страны в ЕАЭС и свертывания сети западных НКО, что отразилось и в социологических опросах – 94% респондентов характеризовали Россию как партнера, и лишь 2%² – как угрозу; но несмотря на такое позитивное восприятие со стороны граждан Киргизии, Россия максимально неэффективным образом конвертирует свои громадные инвестиции во влияние в общественной сфере, не занимаясь выстраиванием устойчивых пророссийских горизонтальных структур, работая лишь с представителями кланов, а не с гражданским обществом. Важно отметить, что на данный момент существует глубокий разрыв в понимании самой сути ЕАЭС со стороны российских элит и элит иных постсоветских государств, к которым относится и киргизская политическая элита: если из Москвы ЕАЭС видится как ступень, предваряющая политическую интеграцию, то многие представители органов государственной власти иных стран, входящих в ЕАЭС, открытым текстом заявляют, что их интересует лишь экономическая составляющая. Не очень понятно, на какой ценностной и идеологической платформе может проходить политическая интеграция: существующие в России идеологические комплексы актуальны в первую очередь для внутреннего потребления и слабо подходят для репликации, например, в среде киргизской молодежи, не прошедшей социализацию в рамках советской школы.

1 В КР отток иностранных инвестиций превысил уровень притока на \$367 млн // Акчабар. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kr-ottok-inostrannyh-investicij-prevysil-uroven-pritoka-367-mln/> (дата обращения: 20.07.2021).

2 "New Kyrgyzstan Poll: February 2019," IRI, May 19, 2020, accessed July 20, 2021, https://www.iri.org/sites/default/files/february_2019_kyrgyzstan_poll.pdf.

Внутрироссийский политический и ценностный дискурс практически невозможно противопоставить, к примеру, растущей религиозной радикализации страны и архаизации общественных отношений, которые грозят и самой России посредством роста радикальности мигрантов, прибывающих с территории Киргизии. Общий для ЕАЭС дискурсивно-идеологический контекст до сих пор не разработан и вряд ли будет предложен в обозримый период. Если западные структуры предлагают киргизскому обществу в качестве желаемого образа демократическую систему с соблюдением прав человека, Турция – построение успешного пантюркского государства с мощными элементами социального государства, то Россия в подобном разрезе может предложить лишь экономические преференции гражданам ЕАЭС.

Вместе с тем в ближайшие годы как в Киргизии, так и в регионе в целом, стоит ожидать роста влияния Китая и Турции: первый будет наращивать свое влияние, как показывает практика, через сформировавшиеся государственные долги Киргизии либо через совместное возведение или реконструкцию контроля над ключевыми инфраструктурными объектами, а вторая – через продвижение идей политического единства тюркского мира и исламизацию страны посредством своих развитых образовательных и гуманитарных структур. Турецкое образование в Киргизии крайне популярно, по утверждению М. Сариева, именно в турецких лицах учится подавляющее большинство детей киргизских элит¹, и именно эти люди через несколько лет будут принимать основные решения в Киргизии. К сожалению, в российских государственных институтах отсутствует понимание растущей опасности со стороны Китая и, прежде всего, Турции. При том что активность региональной инфраструктуры западных государств в последние годы снизилась.

По причине шаткого состояния киргизской экономики, бедности населения и хрупкости политических институтов Киргизия является крайне слабым международным игроком, который вынужден балансировать между крупными акторами в регионе. Киргизия зависима от переводов трудовых мигрантов, транзитной торговли, кредитов и субсидий иных государств. Это и определяет основные цели ее внешней политики: поддержание благоприятного режима въезда в иные страны трудовых мигрантов; получение финансирования извне; обеспечение интенсификации транзитной торговли.

1 Турецкую разведку обвинили в краже противника Эрдогана под боком у России // Взгляд. [Электронный ресурс]. URL: <https://vz.ru/world/2021/6/9/1103229.html> (Дата обращения: 20.07.2021).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Абашин, С.Н. Советская власть и узбекская махалля // Неприкосновенный запас. – 2011. – № 4 (78). – С. 95–110.

Abashin, S.N. "Sovetskaya vlast' i uzbekskaya makhallya." *Neprikosnovennyi zapas*, no. 4 (78) (2011): 95–110 [In Russian].

Абашин, С.Н. Советский кишлак: Между колониализмом и модернизацией. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 848 с.

Abashin, S.N. *Sovetskii kishlak: Mezhd kolonializmom i modernizatsiei*. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2015 [In Russian].

Абрамзон, С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Фрунзе: Кыргызстан, 1990. – 480 с.

Abramzon, S.M. *Kirgizy i ikh ehtnogeneticheskie i istoriko-kul'turnye svyazi*. Frunze: Kyrgyzstan, 1990 [In Russian].

Аламанов, С.К. Анклавы в Центральной Азии: история вопроса и современные проблемы // Постсоветские исследования. – 2018. – № 5. – С. 451–459.

Alamanov, S.K. "Enclaves in Central Asia: Background and Actual Problems." *Post-Soviet Studies*, no. 5 (2018): 451–459 [In Russian].

Базарбаев, К., Жумагулов, Б. Политические партии Кыргызстана: теория и практика. – Бишкек, 2012. – 140 с.

Bazarbaev, K., and B. Zhumagulov. *Politicheskie partii Kyrgyzstana: teoriya i praktika*. Bishkek, 2012 [In Russian].

Богатырев, В. Политические аспекты кыргызско-турецких отношений // Роль и восприятие Турции в Кыргызстане. – Бишкек: Фонд им. Фридриха Эберта, 2012.

Bogatyrev, V. "Politicheskie aspekty kyrgyzsko-turetskikh otnoshenii." In *The Role and Perception of Turkey in Kyrgyzstan*. Bishkek: Fond im. Fridriha Eberta, 2012 [In Russian].

Вишнеvский, А.Г. Демографическая революция. М.: Наука, 2005.

Vishnevskii, A.G. *Demograficheskaya revolyutsiya*. Moscow: Nauka, 2005 [In Russian].

Задорин, И.В., Подобед, И.В. Русский язык в Северной Евразии: политические и демографические факторы распространенности и использования // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). – 2020. – № 3 (98). – С. 136–164. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2020-98-3-136-164>.

Zadorin, I.V., and I.V. Podobed. "Russian Language in Northern Eurasia: Political and Demographic Factors of its Distribution and Usage." *Politeia*, no. 3 (98) (2020): 136–164 [In Russian].

Казанцев, А.А. Политика стран Запада в Центральной Азии: проекты, дилеммы, противоречия. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 193 с.

Kazantsev, A.A. *Politika stran Zapada v Tsentral'noi Azii: proekty, dilemmy, protivorechiya*. Moscow: Moscow University, 2009 [In Russian].

Касымова, В.М. Энергетическая политика, энерго-безопасность и энергоэффективность Кыргызской Республики. – Бишкек: Барак Элде, 2014.

Kasymova, V.M. *Ehnergeticheskaya politika, ehnergobezopasnost' i ehnergoeffektivnost' Kyrgyzskoi Respubliki*. Bishkek: Barak Elde, 2014 [In Russian].

Князев, А.А. К истории и современному состоянию производства наркотиков в Афганистане и их распространения в Центральной Азии. – Бишкек: Илим, 2003.

Knyazev, A.A. *K istorii i sovremennomu sostoyaniyu proizvodstva narkotikov v Afganistane i ikh rasprostraneniya v Tsentral'noi Azii*. Bishkek: Ilim, 2003 [In Russian].

Медушевский, А.Н. Тенденции постсоветских политических режимов в свете новейшей волны конституционных поправок // Общественные науки и современность. – 2018. – № 2. – С. 49–66.

Medushevskii, A.N. "Post-soviet political regimes: developing trends in the light of current amendments wave." *Social Sciences and Contemporary World*, no. 2 (2018): 49–66 [In Russian].

Международные отношения в Центральной Азии: события и документы // Под ред. А.Д. Богатурова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 549 с.

Bogaturov, A.D., ed. *Mezhdunarodnye otnosheniya v Tsentral'noi Azii: sobytiya i dokumenty*. Moscow: Aspekt Press, 2011 [In Russian].

Ситнянский, Г.Ю. Отношения Севера и Юга Киргизии: история и современность // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. – 2007. – № 198. – С. 3–21.

Sitnyansky, G.Y. "The Relations of the South and North of Kirghizia: a History and Present." *Issledovaniya po prikladnoi i neotlozhnoi ehtnologii*, no. 198 (2007): 3–21 [In Russian].

Abrahams, R. *Vigilant Citizens: Vigilantism and the State*. Cambridge, UK: Polity Press, 1998.

Martin, T. *An Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939*. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

Pye, Lucian W. "The Non-Western Political Process." *The Journal of Politics* 20, no. 3 (1958): 468–486. <https://doi.org/10.2307/2127224>.

Shugart, M.S., and J.M. Carey. *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139173988>.

Simmel, G. "The Metropolis and Mental Life." In *The Urban Sociology Reader*, edited by Jan Lin, and Christopher Mele, 23–31. Routledge, 2012.

Wallerstein, I. *Unthinking Social Science: the Limits of Nineteenth-century Paradigms*. Temple University Press, 2001.

Wittfogel, Karl A. *Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power*. Vintage, 1981.

Сведения об авторе

Илья Владимирович Подобед,

магистр Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
Покровский бульвар, 11, Москва, 109028.

e-mail: iliapodobed@yahoo.com

Дополнительная информация

Поступила в редакцию: 21 апреля 2021.

Переработана: 20 июля 2021.

Принята к публикации: 2 августа 2021.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Цитирование

Подобед, И.В. Эволюция и внутренняя логика международных отношений Киргизии периода независимости // *Международная аналитика*. – 2021. – Том 12 (2). – С. 182–202.

<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-182-202>

Evolution and Internal Logic of Kyrgyzstan's International Relations during the Period of Independence

ABSTRACT

This article examines the position of Kyrgyzstan in the international system and its foreign policy in the context of the social fabric established after the collapse of the USSR, the dynamics of socio-economic development, as well as electoral processes and delimitation. The evolution of international relations in Kyrgyzstan is seen as a derivative of the socio-economic macro process that has been developing over the past three decades. In this article, the author attempts to combine the most common research optics that rarely intersect in one work: the study of the domestic political process and its role in setting foreign policy priorities. Due to the existence of an extensive clan system and the fragility of the central government, it is impossible to conduct internally consistent foreign policy. The foreign policy activity of Kyrgyzstan is aimed at maintaining a certain balance in relations with major actors in the region to create the most favourable conditions for labour migration, obtaining financial assistance and transit trade.

KEYWORDS

Kyrgyzstan, Central Asia, post-Soviet space, domestic policy of Kyrgyzstan, socio-economic conditions in Kyrgyzstan

Author

Ilya V. Podobed,

Master of HSE University, 11 Pokrovsky Bulvar, Moscow, 109028, Russian Federation.

e-mail: iliapodobed@yahoo.com

Additional information

Received: April 21, 2021. Revised: July 20, 2021. Accepted: August 2, 2021.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author.

For citation

Podobed, Ilya V. "Evolution and Internal Logic of Kyrgyzstan's International Relations during the Period of Independence." *Journal of International Analytics* 12, no. 2 (2021): 182–202.
<https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-2-182-202>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Представление рукописей на рассмотрение редакционной коллегией осуществляется через сайт журнала www.interanalytics.org в разделе «Отправить статью» или по электронной почте: submissions@interanalytics.org

Подача статьи осуществляется в формате двух файлов: текст статьи без указания сведений об авторе и текст с информацией об авторе. Такое разделение мотивировано правилами двойного слепого рецензирования. Во втором файле мы приветствуем указание идентификатора автора: ORCID, SPIN-код, Researcher ID, Scopus Author ID, РИНЦ Author ID.

Журнал выпускает аналитические материалы по трём направлениям: исследовательская статья, обзорная статья, рецензия.

Исследовательская статья содержит результаты самостоятельных исследований автора и несет добавочное научное знание. Обзорная статья даёт другим исследователям представление о текущем состоянии и направлении развития некоторой области знаний, теории или методов. Рецензия является критическим очерком о прочитанном научном исследовании.

Объем научной литературы, рассматриваемый автором, должен содержать как минимум 20 работ, в том числе и наиболее свежие по теме исследования. В список литературы не включаются ссылки на авторефераты, диссертации, учебники, учебные пособия, ГОСТы, распоряжения.

К публикации принимаются статьи объемом от 35 000 до 45 000 знаков с пробелами без метаданных. Материалы для рецензий принимаются в виде краткой (до 25 000 знаков с пробелами) аналитической рецензии на недавно вышедшую книгу по тематике журнала. Работа должна быть оригинальной. Неоригинальные материалы не принимаются к рассмотрению.

Аннотация объемом 250–300 слов должна содержать характеристику темы исследования и основные выводы. Аннотация должна быть представлена на русском и английском языках. После аннотации следуют ключевые слова (до 7 слов) также на двух языках.

При оформлении списка литературы, полные требования по которому указаны на сайте журнала www.interanalytics.org в разделе «Правила для авторов», не забудьте указать имеющийся DOI всех цитируемых работ. Указание DOI осуществляется путем добавления рабочей гиперссылки в конце библиографического описания работы. Проверить наличие DOI можно на сайте www.crossref.org, в разделе Simple Text Query.

За разрешением на перепечатку или перевод опубликованных в нашем журнале материалов обращаться в Редакцию.

Содержание статей не обязательно отражает точку зрения Учредителя и Редакции.

Адрес редакции:

Проспект Вернадского, 76Б, Москва, 119454.

Оформить подписку на журнал

«Международная аналитика» можно:

в почтовом отделении по каталогу «Пресса России», подписной индекс 38777; по интернет-каталогу ООО «Агентство «Книга-Сервис», а также по каталогам стран СНГ www.aks.ru

Международная аналитика. – 2021. – 12(2). – С. 1-202.

Подписано к печати: 15.07.21.

Формат: 108х70/16. Печать офсетная. Цена свободная.

Уч.-изд. л. 12,65. Тираж 200 экземпляров. Заказ

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии и множительной техники МГИМО МИД России.

119454, Москва, просп. Вернадского, 76.